

Генерал Петр КРАСНОВ

ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ

РОМАН - ФЭНТЕЗИ

Биографическое предисловие Бориса Галенина

МОСКВА 2002

Оформление — С Мжельский

России больше нет. На ее месте на картах мира — гигантское черное пятно с багровыми буквами — «ЧУМА». Страна погибла в страшной катастрофе начала 30-х годов при отчаянной попытке Красной армии завоевать «весь мир насилья». Границы заросли гигантским чертополохом. Само приближение к ним вызывает мор и безумие. И вот, спустя почти полвека, несколько потомков русских эмигрантов, вместе с немецким другом, решают прорубиться за чудовищные заросли и выяснить, что случилось на месте их Родины. Что ожидает их там? Об этом — один из лучших и почти неизвестный у нас роман в столь популярном ныне жанре «альтернативной истории» знаменитого военачальника и писателя, потомственного царского генерала, донского атамана Петра Николаевича Краснова.

В качестве предисловия к нему помещен наиболее полный в отечественной литературе очерк жизни и творчества генерала Краснова.

ISBN 5-264-00795-0

© Издательский дом «ФАВОР-XXI», 2002



*Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани
жизнь мою от страха врага;*

*Укрой меня от замысла коварных, от мятежа зло-
деев,*

*Которые изострили язык свой, как меч; напрягли
лук свой — язвительное слово,*

*Чтобы втайне стрелять в непорочного; они внезап-
но стреляют в него и не боятся.*

*Они утвердились в злом намерении, совещались
скрыть сеть, говорили: кто их увидит?*

*Изыскивают неправду, делают расследование за
расследованием даже до внутренней жизни человека
и до глубины сердца.*

*Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они
уязвлены;*

*Языком своим они поразят самих себя; все, видящие
их, удалятся от них.*

*И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие,
и уразумеют, что этот Его дело.*

*А праведник возвеселится о Господе и будет упо-
вать на него; и похвалятся все правые сердцем.*

Псалом 63

ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ

Генерал Петр Николаевич Краснов
(10.09.1869—16.01.1947)

*Но бояться этой страны
Мы не станем и в смертный час.
Беспощадный гнев сатаны
Несклоненными встретит нас.*

Л. Н. Гумилев

«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем... В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах; нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас казнят, но мы не умираем».

Эти слова апостола Павла из 2-го Послания к коринфянам удивительным образом выражают самое существо доблестной жизни, мученической смерти и посмертной судьбы генерала Императорской Российской армии, Атамана Всевеликого Войска Донского, классика русской военной прозы, крупного русского военного мыслителя и ученого, создателя и основоположника новой в истории русской военной школы науки — военной психологии — Петра Николаевича

Краснова. Талантливый полководец, он сражался за любимую Россию на поле брани; талантливый писатель, он сражался с ее врагами пером. Православный русский воин, он всю жизнь служил Богу, Царю и Отечеству, а через это — всему миру и человечеству.

За эту службу он ненавидим всеми, кто вел и продолжает вести Россию (и через нее и все человечество) к окончательной гибели. Для колеблющегося, двоедушного, неверного в мыслях и чувствах XX века он остался образцом чистоты, цельности и негибкости. А в своей борьбе с большевизмом, которой он придавал сакральный характер и значение, казачий генерал Краснов был врагом если и не самым сильным и известным, то уж самым непримиримым и последовательным:

— от 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда отчаянным натиском остатков III Конного корпуса на Петроград он пытался задушить «великую пролетарскую революцию» в ее колыбели; через Гражданскую войну, в которой Донской атаман Краснов разработал и предложил, на наш взгляд, единственно возможную стратегию победы в этой войне; двадцатилетний напряженный общественно-политический и военно-литературный труд в эмиграции, где перо было приравнено к мечу; через крестный путь Второй мировой войны к Лиенцу;

— до 16 января 1947 года, когда Военная коллегия Верховного суда СССР после однодневного закрытого процесса, венчавшего полтора года допросов, издевательств, болезней, приговорила Краснова П.Н. вместе с другими «главарями вооруженных белогвардейских частей»: генералами А.Г. Шкуро, С.Н. Красновым, Султан-Гиреем Клычем и Гельмутом фон Паннвицем к смертной казни через повешение. И немедленно приговор был исполнен во дворе тюрьмы Лефортово.

1

Будущий генерал и писатель родился 10 (22) сентября 1869 года в Санкт-Петербурге в генеральской казачьей семье, поколениями связанной с русской культурой и наукой. Отец Петра Николаевича — генерал-лейтенант Николай Иванович Краснов (1833—1900) — служил в Главном Управлении иррегулярных (т.е. казачьих) войск и был известен как писатель и историк казачества. Его труд «Терские казаки» был отмечен золотой медалью Академии наук.

Сам генерал Краснов так вспоминал о своих предках в автобиографической повести «Павлоны»: «Я коренной донской казак... Мой отец был офицером лейб-гвардии 6-й Донской Его Величества батареи, мой дед служил и был командиром лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, мой прадед служил в Войске Донского Атаманском полку, прапрадед, сотрудник Суворова, служил в Турции, Польше и на Кавказе и был убит под Колоцким монастырем накануне Бородинского сражения».

Знамениты были и старшие братья нашего героя: Андрей Николаевич (1862—1914) — крупный ученый, ботаник и географ, основатель знаменитого Батумского ботанического сада (1912); Платон Николаевич (1866—1924) — математик, переводчик, литературный критик и публицист.

Таким образом, казачий род Красновых веками служил Отечеству «пером и шашкой». Не стал исключением в этой среде и Петр Николаевич. Шестилетним мальчиком он знал воинские поучения Суворова, а к двенадцати годам стал «издавать» домашний журнал, совмещающий автора, редактора, художника и издателя в одном лице. Эта литературная игра, длившаяся несколько лет, стала для него первыми шагами в литературе.

Получив, как большинство детей его круга, начальное образование дома, юный Краснов поступил в 1-ю Петербургскую классическую гимназию. Через пять лет по собственному горячему желанию сменил пятый класс этой гимназии на пятый класс Александровского кадетского корпуса.

Окончив корпус вторым в выпуске, был выпущен из него вице-унтер-офицером и вместе с другими лучшими учениками Александровского корпуса поступил в славившееся суровой дисциплиной Павловское военное училище. Это училище вело начало своей истории от Сиротского дома императора Павла I с 1798 года, и поступавшие в него сразу зачислялись на действительную военную службу нижними чинами на казенный кошт, что было немаловажно для многодетной семьи Красновых. Блестяще закончив курс первым в выпуске — фельдфебелем 1-й Государевой роты с занесением имени золотыми буквами на мраморную доску, Петр Николаевич по Высочайшему повелению был произведен в хорунжие с прикомандированием к лейб-гвардии Атаманскому Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полку.

С производством в офицеры поздравлял сам Государь Император Александр III. ...Громко и отчетливо сказал нам Государь. Каждое его слово запоминалось нами на всю нашу воинскую службу:

— Поздравляю вас, господа офицеры! Служите России и Мне, как служили ваши отцы и деды. Заботьтесь о солдате и любите его! Будьте ему как старшие братья! Будьте хорошими наставниками. Учите солдат добру, смелости и воинскому искусству. Кому доведется служить на далекой глухой окраине, не скучайте, не тоскуйте, помните, что вы охраняете Российскую Империю. На вас, юнкера Павловского училища, я всегда надеюсь и верю, что, как вы были прекрасными юнкерами, так будете и образцовыми офицерами Моей славной Армии...

Мы закричали «ура»... Флигель-адъютанты передавали каждому из нас Высочайшие приказы о производстве в офицеры.

Это были толстые тетради сероватой «казенной» бумаги. Наверху крупными, какими-то «казенными» буквами было напечатано:

«Высочайший приказ. По военному ведомству. 10 августа 1889 года. В Красном Селе».

Ниже мелкими обыкновенными буквами шло перечисление училищ и произведенных из них юнкеров... Каждый из нас листал тетрадь приказа, ища свою фамилию в длинном списке произведенных...

Моей фамилии долго нет. Прошли произведенные из нашего училища в артиллерию, в саперные батальоны и, наконец:

— По казачьим войскам:

— В хорунжие: — из фельдфебелей Краснов в комплект Донских казачьих полков, с прикомандированием по Высочайшему повелению Лейб-Гвардии к Атаманскому Е.И.В.Г.Н.Ц. полку.

Дальше я не смотрел. У меня от волнения и усталости темнело в глазах. Я свернул приказ трубкой и положил его под погон...» (4, гл. 11).

В 1890 году хорунжий Краснов был зачислен в лейб-гвардии Атаманский полк.

II

Всей душой отдавшись службе, Петр Николаевич скоро стал выдающимся строевым офицером и спортсменом-конником. Посетители конных соревнований в Михайловском манеже и скачек в Красном Селе часто видели среди участников молодого красивого атаманца Краснова.

Плотная загрузка в полку, не оставлявшая, казалось, крупицы свободного времени, не помешала раннему проявлению фамильной литературной одаренности у молодого офицера. 17 (29) марта 1891

года в газете «Русский инвалид»* появилась статья «Казачий шатер полковника Чеботарева». Этот день знаменует начало литературно-публицистической деятельности генерала Краснова. С этого времени его статьи и очерки под общим для тех лет названием «фельетоны» регулярно помещаются на страницах этого издания. Как журналист и военный обозреватель Петр Николаевич привлекается так же сотрудничать в журналы «Разведчик», «Вестник русской конницы» и другие.

В 1893 году выходит первый его сборник «На озере», вслед за которым практически ежегодно появляются книги, часто весьма объемные. Скажем сразу, что работоспособность генерала до конца его дней была огромная, а умение быстро, в отсутствие необходимых условий для творчества (досуг, кабинет, библиотека) создавать разноплановые, разножанровые произведения вызывает просто изумление. Естественно, при этом иногда страдали проработка деталей и стиль некоторых произведений, с чем всегда самокритично соглашался автор, бывший вообще чрезмерно скромным в оценке собственного творчества.

В 1894 году Петр Николаевич поступил учиться в Николаевскую Академию Генерального штаба, но через год уходит по собственному желанию снова в полк. Всесильный тогда генерал Сухотин позволил себе задеть самолюбие молодого офицера, и Краснов покинул Академию (45, с. 10).

Этот эпизод из жизни Петра Николаевича, вероятно, не заслуживал бы упоминания, если бы за ним не стоял гораздо более важный и печальный для судьбы Российской Империи факт. Дело в том, что, по мнению ряда известных русских генералов, в частности Н. Головина (27) и Ф. Винберга (23), мнению, мало известному широкой публике, стиль преподавания в Академии Генерального штаба стал резко портиться с конца 80-х годов XIX века. Столь необходимое для армии широкое военное образование и просвещение стало заменяться тупой зубрежкой. Талантливые офицеры часто срезались на не имеющих значения мелочах. Как пишет в своей книге «Крестный путь» генерал Ф. Винберг: «Академия стала походить на дореформенную бурсу. Сильно развивавшаяся конкуренция между учащимися развращала нравы как обучаемых, так и обучающихся. Качественный уровень профессорского персонала стал сильно понижаться. Во взаимных отношениях стали все чаще наблюдаться недостойные военной

* Слово «инвалид» имело в то время совершенно иное, чем сейчас, значение и наиболее соответствовало слову «ветеран»

среды заискивание, искательство, интриги, карьеристические происки» (23, с. 123).

Репутация Академии падала, снижался и уровень подготовки офицеров, пополнявших кадры Генерального штаба.

«Создавался тип выскочки-честолюбца... Создалась среда, в которую легко могли проникнуть масонские влияния — гораздо легче, чем в строевой состав армии, огражденный корпоративным духом полковых традиций» (23, с. 124).

С начала 1900-х годов, когда резко усилились влияния Генерального штаба на войсковую жизнь и проникновение выпускников Академии на командные должности, в обход строевых офицеров, выпускники этой Академии заслужили в русском офицерском корпусе малопочтенную кличку «моментов». К 1917 году три четверти полковых командиров (кроме кавалерии!) и большинство начальников дивизий принадлежало к «Черному Войску», как в армии и стали называть кадры Генерального штаба (23, с. 122). На совести Генерального штаба было много неудач Русской Армии в Великой войне, коих могло бы не быть. В частности, не оправданное военной необходимостью уничтожение кадров доблестной Императорской гвардии во второстепенных операциях и многое другое* (23, 42, 44, 46).

Пороки и недостатки своего Генерального штаба незадолго до февраля 1917 года отлично понял и Верховный Главнокомандующий — Государь Император Николай Александрович, в частной беседе сказавший, что после войны Генеральный штаб ответит ему за все. Возможно, эти слова послужили детонатором Февральского переворота. Чтобы не попасть на суд пред «очи государевы», «моменты» предпочли участвовать в заговоре против Государя, содействовать государственному перевороту и отречению Государя. Переворот 1 марта 1917 года стал возможным только благодаря масонскому ядру в центре и толще нашего Генерального штаба. После «октябрьской революции» многие «моменты» в высоких чинах поспешили перейти на службу большевикам (23, с. 128).

Разумеется, среди многочисленных выпускников Генштаба до последних дней был немалый процент верных, порядочных, честных и храбрых офицеров и даровитых военачальников. Не о них здесь речь. Они не составили, к несчастью, большинства в руководстве

* По единодушному мнению друзей и врагов Российской Империи, присутствие хотя бы части старой Императорской гвардии в Петрограде в 1917 г. сделало бы в принципе невозможным успех любого мятежа, не говоря уж о революции. «Где является гвардия — там нет места демократии», — очень точно заметил по сходному поводу кайзер Вильгельм II.

организации, которая смыслом своего существования должна была иметь спасение Родины и Государя, а вместо этого способствовала гибели их. Высшие военные начальники страны в феврале 1917 года — впервые в русской истории — нарушили присягу и крестное целование, ввергнув себя и Отечество в пучину бедствий, конца которым не видно и по сей день.

Что касается судьбы Петра Николаевича Краснова, то неудача с Академией окончательно определила его путь — строевого кавалерийского офицера и военного писателя и публициста.

В 1896 году Петр Николаевич женится на Лидии Федоровне Грюнгейзен (1870—1949) — известной камерной певице. Она станет верной спутницей и другом Петра Николаевича во всех тяготах, походах и скитаниях его вплоть до трагического дня 28 мая 1945 года в Лиенце, к вечеру которого она почувствует и поймет, что больше никогда не увидит своего генерала. Четыре года проживет она в одиночестве, пережив казнь мужа на два года, и угаснет 23 июля 1949 года в местечке Вальдензее близ Мюнхена.

...А пока 1896 год, П. Н. Краснов — блестящий офицер Атаманского полка в благополучнейшей и могущественнейшей стране мира — Российской Империи — и вся жизнь впереди.

Скитания, правда, начались уже в следующем, 1897 году, когда по Высочайшему Повелению сотник Краснов в качестве начальника казачьего конвоя Русской императорской миссии полковника Артамонова послан в далекую полусказочную Абиссинию.

Эта командировка — первое серьезное испытание энергии, воли и бесстрашия. Опасности пути, ежедневные лишения, тяжелые переходы по безводным пустыням Абиссинии и ее непроходимым песам закаляли богато одаренную натуру будущего атамана.

«Дневник начальника конвоя Российской императорской миссии в Абиссинии» был напечатан в 1898 году в «Военном сборнике» и обратил на себя всеобщее внимание. П. Н. Краснов приглашен в «Русский инвалид» постоянным сотрудником. На страницах этой газеты, ставшей при редакторе полковнике Поливанове крупным военным литературным органом, реалистично рисуящим быт армии, ежедневно появляются фельетоны подписанные Гр. А. Д. (Град — имя любимой строевой лошади П. Н.).

Статьи П. Н., его художественные и исторические произведения живо интересуют офицерство, оценившее его понимание души военного человека, профессиональное описание военного быта, походов, сражений и их участников от рядовых бойцов до высших офицеров, и читаются на всем необъятном пространстве Российской Империи.

В 1901 году, в период занятия русской армией Маньчжурии — стратегически важной для России территории на Дальнем Востоке, цикл статей П. Н. Краснова о маневрах войск в Красном Селе, под общим названием «Трое в одной палатке» — (явная реминисценция Джерома), привлек к себе Высочайшее внимание Государя Императора. В разговоре с военным министром генералом Куропаткиным Государь выразил желание познакомиться сам и познакомить армию с жизнью наших войск в Маньчжурии, причем сказал, что хотел бы прочесть это так, «как описывает Гр. А. Д. в фельетоне «Трое в одной палатке».

Результатом этого разговора была полугодовая командировка подьесаула Краснова на Дальний Восток в качестве специального корреспондента газеты «Русский инвалид». За эти полгода П. Н., в сопровождении Лидии Федоровны, проехал верхом вдоль и поперек Маньчжурию, Уссурийский край, побывал во Владивостоке и Порт-Артуре, посетил Японию и Индию. Во время боксерского восстания в Китае кипучая натура П. Н. не позволяет остаться сторонним наблюдателем, только корреспондентом, но кидает его в ряды передовых бойцов. Вместе с боевым крещением приходит опыт боевой работы конницы, возможность оценить плюсы и минусы военной науки, примененной на практике. Результат — ряд научных статей и очерков (6, 7).

В 1902 году последовала аналогичная командировка в Закавказье. С поста на посту, верхом, П. Н. объездил всю турецкую и персидскую границы. Об этом нигде не говорится, но думается, что Петр Николаевич был еще и очень неплохим полевым разведчиком.

Стратегические маневры армии под Курском в 1903 году опять привлекают внимание военного обозревателя П. Н. Краснова. Популярность, его растет, и материалы его просят для публикации такие массовые издания, как «Нива», «Биржевые ведомости» и «Петербургская газета».

В 1904 году — в начале Японской войны — П. Н. немедленно командировается в штаб Маньчжурской армии фронтовым корреспондентом. Но, видно, не раз пришлось лейбгвардейцу менять перо на шашку: боевые ордена, включая Анну 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Равноап. Кн. Владимира 4-й степени с мечами и бантами и мечи к Станиславу 3-й степени отметили его боевой путь*. А после войны в Санкт-Петербурге был прекрасно издан большой труд военного журналиста П. Н. Краснова «Год войны» — талантливое описание войны с Японией, охватывающее период с февраля

1904 по апрель 1905 года с глубокими выводами о том, как не быть побежденными, сохранившее актуальность и в наши дни (9).

В промежутках между командировками шла напряженная строевая служба. С 1902-го по 1907 год Краснов состоит в лейб-гвардии Атаманском полку полковым адъютантом, а затем командиром 3-й (штандартной) сотни.

К этому времени относится следующее событие, оставившее глубокий след в душе будущего генерала Краснова, о котором он всегда вспоминал с волнением. В январе 1906 года, когда Наследнику Цесаревичу Алексею было всего полтора года, Государь решил показать Его, как шефа, лейб-гвардии Атаманскому полку: «Государь взял на руки Наследника и медленно пошел с ним вдоль фронта казаков. Я стоял, — говорит генерал Краснов, — во фланге своей 3-й сотни и оттуда заметил, что шашки в руках казаков 1-й и 2-й сотен качались. Досада сжала сердце: «Неужели устали? Этикие бабы! Разморились!» Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошел за Государем и смотрел в глаза казакам, наблюдая, чтобы у меня-то, в моей штандартной вымуштрованной сотне не было шатанья шашек. Нагнулся наш серебряный штандарт с черным двуглавым орлом, и по лицу бородача красавца вахмистра потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как Государь шел с Наследником вдоль фронта, плакали казаки и качались шашки в грубых мозолистых руках, и остановить это качание я не мог и не хотел» (39, с. 7).

В 1907 году П. Н. Краснов решает продолжить свое образование. Жизнь профессионального военного в России Императорской представляла обязательную череду службы и учебы, и интеллектуальная подготовка русского офицера не уступала строевой. В этот раз он выбрал Офицерскую кавалерийскую школу — лучшее в Империи заведение для офицеров-конников. И вновь он — первый выпускник школы. После обязательного двухлетнего курса П. Н. оставлен при Школе начальником Казачьего отдела.

Тяжелая и ответственная работа по подготовке кадров наилучших конников из казачьих офицеров не освобождает П. Н. Краснова от других не менее важных командировок. Так, в мае 1909 года вместе со своим бывшим командиром Атаманского полка генералом Ширма он отправляется для проверки качества подготовки на учебных сборах с льготными казаками в Донском и Оренбургском войске. В июле с той же целью командировается в Тверское и Уральское войско (45, с. 5).

В 1910 году Краснов получает новое звание и назначение: «За отличие по службе производится в полковники с зачислением по Донскому казачьему войску и назначается командиром 1-го Сибир-

* Такие награды давались только за личную доблесть в бою.

ского Ермака Тимофеевича полка, оставаясь в прикомандировании к Офицерской школе». Командуя полком, временно командует бригадой, временно исполняет должность начальника гарнизона города Джаркента (с 1942 года — город Панфилов Талды-Курганской области Казахстана).

Под командованием П.Н. Краснова этот полк, расположенный на границе с Китаем в Степном генерал-губернаторстве, в 1000 верст от ближайшей железнодорожной станции, становится одним из лучших полков в Императорской армии. Полковник Краснов честно нес службу по охране Российской Империи. Император Александр III был бы доволен своим Павловским юнкером. Свои воспоминания об этом счастливым времени — «На рубеже Китая» — генерал издал спустя много лет в Париже, перед Второй мировой войной. В чем-то эти воспоминания и сейчас кажутся «воспоминаниями о будущем»: белые поезда, пересекающие пески Средней Азии, а «в вагонах — полный русский комфорт, который не знает граница»; залитый уже тогда электрическим светом Ташкент, напоминавший чем-то Одессу и Севастополь, только без запаха моря и биения волн; невероятное богатство базаров наших среднеазиатских городов, пришедшее вместе с Российской Империей. «Как гордился я этим базаром. Гордился быть русским. Толчок этому всему дала Россия» (10).

В Ермаковском полку под началом П. Н. служили многие прославленные впоследствии офицеры: сотник Б. В. Анненков, бесшабашный атаман времен Гражданской войны; командир 4-й сотни В. И. Волков — герой Великой и Гражданской войн, способствовавший приходу к власти Колчака и трагически погибший во время Сибирского Ледяного похода. Его дочь Мария стала выдающейся поэтессой Русского Зарубежья и одним из последних певцов Русского казачества.

Поздней осенью 1913 года полковника Краснова перемещают с китайской на австрийскую границу в город Замостье (ныне — Замосць — центр Замосьцкого воеводства на юго-востоке Польши) командиром 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка. До начала 1-й мировой войны оставалось меньше года. 10-й полк был полком прикрытия границы и подлежал шестичасовой мобилизации в случае угрозы войны. В своей чрезвычайно интересной книге «Накануне войны» Петр Николаевич подробно описал подготовку полка к войне и участие в боевых действиях на начальных этапах (11).

Он отмечает гигантскую работу, проведенную командованием Русской армии после Японской войны по устранению упущений в боевой подготовке и материальном снабжении войск. По всем параметрам наша армия 1914 года стояла выше возможного противника (во

всяком случае — австро-венгров), что и показала блестящая Галицийская операция 1914 года*.

Генерал Краснов говорит о прекрасном офицерском составе, об урядниках и казаках полка, об укомплектовании его сверх штата (имея в виду шестичасовую мобилизацию) людьми, конским составом и всевозможным воинским довольствием. Сотни насчитывали 16 рядов во взводах вместо штатных 14—15.

Один из лучших инструкторов кавалерии в Императорской армии полковник Краснов за отпущенное ему время сумел отшлифовать вверенную ему часть до гвардейского уровня по выездке и боевой подготовке, что всегда отмечалось высоким начальством, в частности, генералом А.А. Брусиловым, который сам был великолепным конником.

«Да, все было готово в полку к войне. Но хотели ли мы ее? — вспоминал генерал Краснов свои тогдашние мысли и чувства. — Военных часто обвиняют, что это они главная причина возникновения войны. Их честолюбие, их славолубие, даже будто корысть увлекают их на войну. Хотели ли мы войны?..»

Петр Николаевич убедительно показывает, что строевой русский офицер, строевой начальник, как хранитель покоя и безопасности Российской Империи, не мог хотеть войны и не хотел ее.

«Но было, — далее пишет он, — у нас, кадровых офицеров, людей военной касты, отдавших всю жизнь военному делу, одно совсем особенное чувство. Мы сознавали, что теперь мы готовы к войне и мы знаем, что такое война и как в ней нужно поступать. У нас не повторяются ошибки Русско-Японской войны, и потому было сознание, что теперь — мы победим**, хотя бы и самих немцев, о непобедимости которых мы были слышаны со школьной скамьи. И было это чувство подобно чувству школьника перед экзаменом из какого-нибудь особенно трудного предмета. И страшно... и хочется быть вызванным, потому что знаешь, что ответишь хорошо.

Мы знали, что на новой войне мы ответим хорошо... на двенадцать баллов!

Как переменилась Русская армия после Японской войны! Нельзя и сравнивать того, что было, с тем, что есть... У нас было все новое и по-новому. Мы знали между тем, что соседей наших (авст-

* Неудача армии Самсонова в Восточной Пруссии является не столько военной, сколько политической. Только Россия империя, не довершив мобилизацию и не развернув войска, могла кинуться спасать Париж для драгоценных «союзников».

** Выделено П.Н. Красновым.

ро-германцев) это новое почти не коснулось. И потому — в общем нежелании войны — было и некоторое хотение помериться силами, держать экзамен, ибо знали мы, что на этот раз выдержим и победим.

В Японскую войну кавалерия выступала без биноклей, даже и у офицеров. Теперь И.Н. Фарафонов* в полковом цейхгаузе с гордостью подвел меня к стене, увешанной длинными рядами биноклей в футлярах.

— Эти, в желтой кожи футлярах, цейссовские, на всех офицеров полка, — сказал он мне. — А те, в черных, очень хорошие призматические — на урядников полка.

И вот в душе боролись сложнейшие чувства: с такими людьми и лошадьми и с таким богато снаряженным полком мы, несомненно, победим.... И нам хотелось победы. Но, победив, мы потеряем и людей, и лошадей, и все это снаряжение и имущество... Болью сжимало сердце, ибо с чем останешься?

— Так вы думаете, Иван Николаевич, — выходя из цейхгауза, сказал я, — войны не будет?

— Кто это знает, кроме Бога? Но верю — Государь не допустит войны. Ну, а когда все это в войне потеряем? Что останется? Вы знаете, что «дома» делается? Пропаганда и брожение придавлены, но они идут, а если мы все это потеряем, — Фарафонов широким жестом показал на цейхгауз, у которого полковой каптенармус с разводными навешивали замки и накладывали печати, — с чем и с кем мы пойдем бороться с подлинными врагами России?..» (11, с. 16—18).

Мыслящие офицеры Русской Императорской армии в 1914 году понимали, КТО является подлинным врагом России.

К несчастью, худшее из того, что могло случиться, случилось. В 1914 году, говоря словами самого П.Н. из книги «За чертополохом»: «Тем, кому нужно было погубить Россию, мировому масонству, удалось втравить ее в войну. И стали гибнуть лучшие люди. И когда они погибли, подняла голову... пьяная, паршивая Русь, все отрицающая, над всем смеющаяся, и сорвала в несколько часов

* Фарафонов Иван Николаевич — войсковой старшина, помощник по хозяйственной части командира полка и прекрасный боевой офицер, принявший у П.Н. Краснова 10-й полк в мае 1915 г. Человек «кристаллической» честности, аскет, бесребреник и фанатик военного дела. Довел до совершенства материальную часть полка: «хоть завтра в поход». Вплоть до постоянно обновляемых карт противостоящих австрийских частей, доведенных до каждого офицера. Убит зимой 1917 г. в станице Каменской казаками-большевиками.

остатки красоты былой Руси, Руси Царской, Руси Императорской... И стала советская республика» (3, кн. 1, с. 37).

А насчет якобы несуществующих, чудаковатых масонов: в интервью «Комсомольской правде» 24-миллионным тиражом (№ 132 от 24 июля 2001 г.) председатель Российского Дворянского собрания Америки князь Алексей Щербатов, один из последних друзей А.Ф. Керенского, откровенно сообщает, что Государя Императора Николая II арестовали по приказу масонов, что республику в России 1 сентября 1917 года (до решения Учредительного собрания) масон 33-й степени Александр Федорович Керенский объявил по приказу масонов и т.д. и т.п. Во всем этом нет ничего нового для людей, знакомых с вопросом, кроме одного, но очень значительного.

За гораздо более скромные сообщения о роли масонов в Февральской революции 1917 года был подвергнут ostracismu очень неплохой и вполне прокоммунистический историк Н. Н. Яковлев за свою книгу «1 августа 1914 года», выпущенную в 1974 году при поддержке Ю. В. Андропова и с трудом переизданную в 1993 году. Но это спокойное и откровенное сообщение «Комсомолки» на весь «бывший Союз» говорит о том, что с этого момента власть «вольных каменщиков» на территории бывшей Российской Империи столь сильна, что они уже правды не боятся.

III

В конце июля 1914 года полковник П. Н. Краснов, отправив жену с остальными полковыми дамами на автобусе в Варшаву и навсегда оставив за спиной созданный за 18 лет семейной жизни домашний уют, имел «высокое счастье» выступить со своим любимым 10-м Донским полком на I Мировую, или, как до конца своих дней говорили ее участники, — Великую Войну. Настало время дать отчет за все годы службы, применить в бою накопленные знания и умения. Петр Николаевич Краснов мало сказать хорошо — блестяще* справляется с этой очень трудной задачей, утвердив за собой славу не только талантливой, но и удачливой, «счастливого» командира Русской Императорской конницы. В мясорубке величайшей из войн, которые до 1914 года вело человечество, генерал Краснов прославился тем, что с минимальными потерями победно выходил из безнадежных

* Так, Георгиевское оружие он получил за совершенные подвиги в первый день боевых действий на Юго-Западном фронте 1 (14) августа 1914 г.

ситуаций, возбуждая и поддерживая в своих подчиненных почти суеверную веру в свое воинское счастье. Всегда берег солдата и казака, почитая (и справедливо) их «золотым фондом», лучшими людьми страны. Радовался их воинским достижениям и всем сердцем любил мужика и казака, одетых в форму Российской Императорской армии.

В ноябре 1914 года П. Н. Краснов — генерал-майор и командир бригады в 1-й Донской казачьей дивизии III Кавалерийского корпуса. В составе этого корпуса генерал Краснов вступит в Первую мировую войну и командиром его закончит эту войну, демобилизовав и распустив его по домам в январе 1918 года.

Вскоре из командиров бригады первой Донской дивизии генерала назначают командиром 3-й бригады т.н. Туземной (Дикой) дивизии — одной из лучших кавалерийских частей русской Императорской конницы, которой командовал невероятной смелости командир — брат Царя — Великий Князь Михаил Александрович (22, 23). После шести месяцев боев и походов во главе 3-й бригады Туземной дивизии генерал Краснов летом 1915 года получает под начало 2-ю Сводную казачью дивизию, командуя которой до лета 1917 года, получает многие боевые награды, включая Золотое оружие. 10 июня 1917 года он переводится начальником 1-й Кубанской Казачьей дивизии до 26 августа, когда он, вызванный в Ставку Главкомом Корниловым, принимает командование движущимся в эшелонах на Петроград III конным корпусом. На высокой строевой должности командира этого знаменитого корпуса закончилось личное участие Петра Николаевича в Великой войне.

Расскажем об этом славном времени в жизни генерала Краснова чуть подробнее.

1914—1916 годы были для генерала Краснова временем непрерывных походов, стычек и боев, то авангардных — при наступлении наших армий в 1914 году, то арьергардных — при отходе 15-го года во время «тарана Макензена», когда благодаря изменнической деятельности Думы и других врагов Российской государственности на фронте почти не было снарядов и патронов (46). Именно в это трагическое время казачьи части под командованием генерала Краснова выполняли ответственные задания по прикрытию отходящих пехотных и артиллерийских частей.

В 1916 году вновь начались наступательные действия. Дивизия генерала Краснова сыграла выдающуюся роль в знаменитом Луцком прорыве генерала Каледина — составной части Брусиловского прорыва.

В мае 1915 года, возглавляя 3-ю бригаду Кавказской Туземной дивизии, генерал-майор П. Н. Краснов был награжден высшей из возможных боевых наград — орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: «За то, что, командуя 29 мая 1915 года в арьергардном бою у города Залещики, отрядом из 214-й и 215-й ополченских дружин, одной роты 211-й дружины, Черкасским, Ингушским, Дагестанским и Кабардинским конными полками, одной сотней Татарского конного полка, 3-м и 4-м Заамурскими конными полками, 1-м Уральским полком, при 7 конных и 4 конногорных орудиях, весь день удерживал натиск превосходных сил неприятеля, а когда вечером неприятель прорвал расположение наше, атаковал прорвавшиеся части в конном строю четырьмя сотнями Заамурцев, смял и опрокинул их и прогнал за Днестр, причем около 100 человек взял в плен» (19, № 177, с. 34 и 119). Эта атака спасла положение II конного корпуса.

Свою победу и эту награду сам П. Н. Краснов приписывал высокому боевому духу руководимых им войск и глубокой вере солдат — христиан и мусульман, всегда готовых положить свои души за Бога, Царя и Отечество.

В своем труде по военной психологии «Душа армии» П. Н. Краснов пишет: «В 1915 году я командовал 3-й бригадой Кавказской Туземной дивизии, состоявшей из магометан: черкесов и ингушей.

В мае мы перешли через реку Днестр у Залещиков и направились к р. Прут. Утром мы вошли в селение Серафинце. Впереди неприятель. Дальше движение с огнем и боем. Я вызвал командиров и дал им боевую задачу. Старший из них, командир Ингушского конного полка полковник Мерчуле, мой товарищ по Офицерской Кавалерийской школе, сказал мне:

— Разрешите людям помолиться перед боем.

— Непременно.

На сельской площади полки стали в резервных колоннах. Перед строем выехали полковые муллы. Они были одеты так же, как всадники: в черкесах и папахах.

Стали «смирно». Наступила благоговейная тишина. Сидели на конях в шапках с молитвенно сложенными руками. Заключительное слово муллы. Еще мгновение тишины.

Муллы подъехали ко мне.

— Можно вести! Люди готовы...

Люди были готовы на смерть и раны. Готовы на воинский подвиг.

Они его совершили, проведя две недели в непрерывных боях до Прута и за Прут и обратно, в грозном отходе за Днестр, к Залещикам, Дзвинячу и Жезаве.

Сколько раз приходилось мне наблюдать, как русские солдаты и казаки, получив приказание идти в бой, особенно в последний его эпизод — атаку, снимали фуражку и крестились.

...В старой, православной великой России вера отцов трогательно говорила нам о бессмертии души, о ее жизни бесконечной у Бога, там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания...

...Государство, которое отказывается от религии и от воспитания своей молодежи в вере в Бога, готовит себе гибель в материализме и эгоизме.

Оно будет иметь трусливых солдат и нерешительных начальников. В день великой борьбы за свое существование оно будет побеждено людьми, сознательно идущими на смерть, верующими в Бога и бессмертие своей души» (14).

Участие в боевых действиях Великой войны, называемой ее современниками 2-й Отечественной, да еще командиром высокого ранга, непрерывно находившимся в войсках первого эшелона на передовой, отнимало все время и силы генерала. Но и в таких условиях не оставляет он литературной работы. В «Русском инвалиде» он публикует описания боевых действий, а в 1915 году вышли в свет романы «Погром» о Японской войне и «В житейском море».

Работа П.Н. в «Русском инвалиде» продолжалась до его закрытия Временным правительством.

О своем участии в событиях 1917 года, во время гибели Армии и Державы, Петр Николаевич рассказал в своих воспоминаниях «На внутреннем фронте», опубликованных в первом томе «Архива Русской революции» Гессена (Берлин, 1922, Москва, «Терра», 1991, с. 97—190). Расскажем об этом периоде, опираясь на слова генерала.

Февраль 1917 года 2-я Сводная казачья дивизия встретила на фронте, на боевых позициях в непосредственной близости к неприятелю. До апреля 1917 года, когда ее сменили и отвели в тыл для отдыха, дивизия держалась, почти как при старом режиме.

Сам начальник дивизии и его офицеры верили, хотели верить, что «Великая бескровная революция» (при всем их отвращении к ней) прошла, что Временное правительство идет быстрыми шагами к Учредительному собранию, а Учредительное собрание — к конституционной монархии с Великим Князем Михаилом Александровичем во главе страны. На Совет солдатских и рабочих депутатов смотрели как на что-то вроде нижней палаты будущего парламента.

Но такое относительное благополучие продолжалось только до апреля 1917 года. Сразу после отвода в тыл боевая дивизия стала немедленно разлагаться под влиянием агитаторов, превращаясь в о-

оруженную банду. Не видя смысла пребывания в рядах такой армии, Петр Николаевич подает в отставку, но командующий Особой армией генерал Балугевич его отставку не принял, опираясь на приказ Керенского — отставок старших офицеров не принимать, и предложил возглавить 1-ю Кубанскую дивизию.

10 июня генерал Краснов прибыл в свою новую дивизию, расположенную в окрестностях Мозыря. До августа он пытается привести в божий вид эту второочередную, состоящую в основном из казаков старших сроков службы, дивизию. С начала дело, казалось, пошло на лад. Страдавшая от бескормицы и плохого снабжения дивизия стараниями ее начальника принимала сытый и довольный вид. Удалось даже начать занятия с казаками. Но, пишет далее генерал Краснов, «несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было смутно...».

Внешне полки были подтянуты, но внутренне они ничего не стоили. Не было над ними «палки капрала», которой они боялись бы больше, чем пули неприятеля*, и пуля неприятеля приобретала для них особое страшное значение.

«Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение пятидесяти лет, — погибла армия.

И все-таки надеялся... Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется и бывшая удаль, и мы еще сделаем дела и спасем Россию...» (1, с. 101, 102).

Между тем в армии неуклонно росла рознь между солдатами и офицерами, начало которой положил пресловутый Приказ № 1, составленный в недрах Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов при до сих пор не вполне ясных обстоятельствах и формально адресованный только Петроградскому гарнизону. Этот приказ состоял из семи пунктов. Солдатам предписывалось:

1. Избирать полковые, батальонные и ротные комитеты, а также комитеты в военных учреждениях и на судах военного флота.
2. Посылать депутатов в Петроградский Совет — по одному от роты.
3. Политически гарнизон подчиняется Совету и комитетам.
4. Решения Совета преобладают над параллельными приказами военной комиссии Думы.
5. Держать оружие в распоряжении комитетов и «ни в коем случае не выдавать его офицерам даже по их требованию».

* Слова Фридриха Великого.

6. Солдаты могут пользоваться всеми гражданскими свободами, предоставляемыми русским гражданам революцией, и не должны отдавать честь командирам вне службы.

7. Солдаты не должны терпеть грубого обращения командного состава, не должны титуловать командиров, запрещается обращаться к солдатам на «ты», а надо обращаться на «вы» (33, с. 9; 29, с. 366).

Приказ № 1 был немедленно принят к исполнению в Петроградском гарнизоне.

В тысячах копий он сразу разошелся по стране и, как злокачественная опухоль, мгновенно разъел живую ткань действующей армии.

Правда, по словам адмирала А. В. Колчака, уже в апреле 1917 года генерал Л. Г. Корнилов — командующий войсками Петроградского военного округа — резко изменил свое терпимое отношение к революционным «свободам» и предлагал Временному правительству навести порядок в столице и армии любой ценой, пока еще возможно. Не дали. Однако неудивительно, что имя Корнилова, ставшего к этому времени Главнокомандующим, летом 1917 года становится популярным в офицерской среде. «Офицеры ждали от него чуда — спасения армии, наступления, победы и мира, потому что понимали, что продолжать войну уже больше нельзя, но и мир получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова, наоборот, стало равнозначимым смертной казни и всяким наказаниям. Корнилов хочет войны, говорили они, а мы желаем мира» (1, с. 104).

Но ни солдаты, ни офицеры, ни сам генерал Краснов ведать не ведали в своей глуши, что Корнилов для спасения России хочет захватить власть в свои руки — стать диктатором, и уже начал переброску считавшихся верными частей к Петрограду.

Сведений об июльских днях в Петрограде и попытке большевиков захватить власть практически не было, и понять и оценить роковое значение начавшейся в верховном руководстве страны борьбы за власть в Действующей армии было трудно.

Поэтому полученная 24 августа телеграмма из Ставки от генерала Д. П. Сазонова, бывшего помощника Походного атамана Великого князя Бориса Владимировича — «23 августа, 16 часов 57 минут. Наштаверх приказал представить вас назначению коман. — кор. третьего конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать в ставку. Штаб-атаман 10777 Генерал Сазонов» — вызвала у Петра Николаевича только удивление.

По имеющимся у него данным, III конный корпус находился где-то на юге, и добираться к нему через Ставку, делая огромный крюк, было по меньшей мере странно.

О том, что III конный корпус находится вдвигающихся на Петроград эшелонах, никто в окружении Краснова не подозревал.

Будь это назначение в старое дореволюционное время, генерал был бы счастлив. III конный корпус до апреля 1917 года был под командой лучшего и храбрейшего кавалерийского командира Императорской армии генерала от кавалерии графа Федора Артуровича Келлера (1857—1918) и пользовался необыкновенно громкой боевой репутацией (24, 28, 30, 43).

Граф Келлер был едва ли не единственный из крупных военачальников, который, узнав об отречении Государя Императора Николая II, не поверил в добровольность этого отречения и предложил в телеграмме Царю все свои лучшие в русской кавалерии многие тысячи клинков для подавления бунта в Петрограде. И весь корпус как один человек готов был идти за обожаемым командиром на выручку плененного, как казалось (и правильно казалось!) Государя. Не скрой предатель генерал Алексеев эту телеграмму от Государя, неизвестно, как повернулась бы Российская история. Когда был получен текст присяги Временному правительству, граф Келлер отказался присягнуть этому правительству, сказав: «Я христианин. И думаю, что грешно менять присягу». Если бы так считали остальные генералы, офицеры и солдаты Российской Императорской армии, то Февральская революция окончилась бы, не начавшись, и жили бы мы в какой-то другой стране. Видно, мало было уже в ту пору христиан, а тем более христианских рыцарей в русской армии, почему и отвернулся от нас Господь Бог. Генерала Келлера под угрозой обвинения в бунте отрешили от командования III конным корпусом, и в апреле 17-го корпус принял генерал А. М. Крымов, популярный в войсках командир, человек большой личной храбрости, но не обладавший моральными устоями графа Келлера. Существуют данные, что А. М. Крымов наряду с М. В. Алексеевым и Н. В. Рузским входил в масонскую военную ложу, имел тесные сношения с ненавистником Государя А. И. Гучковым, и его роль в отречении Государя до сих пор окончательно не выяснена (21; 30, с. 220, 424).

Будучи при этом патриотом, как он это понимал, после провала Корниловского мятежа, где он играл решающую роль, и резкого разговора с Керенским, понимая, что с армией, а значит, и с Россией покончено, генерал Крымов застрелился на своей квартире в Петрограде 31 августа 1917 года. Но это будет позже, а пока вернемся к моменту получения генералом Красновым упомянутой телеграммы.

«Я имел счастье, — пишет генерал, — в рядах этого корпуса командовать 10-м Донским казачьим полком и принять участие

в громкой победе корпуса над австрийцами у селений Баламутовка, Малинцы, Ржавенцы и Топороуц, где мы захватили более 6000 плен-ных и большую добычу.

1-я Донская дивизия, входившая в состав этого корпуса, была для меня родною дивизией. Я в ней командовал полком в мирное время в Замостье и с нею проделал весь поход с 1914 года и до конца апреля 1915 года. Все офицеры и даже казаки были моими друзьями. Иметь ее в своем корпусе — по-настоящему это было бы величай-шим счастьем» (1, с. 104).

Но в августе 1917 года — при общем крушении армии и всех идеалов — это сулило новые горькие разочарования. За два дня, с 24 по 26 августа 1917 года, прошедшие между первой телеграммой, сообщавшей Краснову о планируемом назначении, и второй, под-писанной лично Корниловым, о немедленном прибытии в Ставку, в соседних частях произошло два «эксцесса»: были убиты комиссар фронта Линде, начальник пехотной дивизии генерал-лейтенант Гирш-фельд и с ним командир одного из полков и несколько офицеров. Генерал Краснов пытался, но не смог предотвратить этих смертей с помощью своих казаков, поскольку те в серьезной ситуации сразу выходили из повиновения.

Во время прощания с командиром своего корпуса генералом Яковом Федоровичем Гилленшмидтом, очень полюбившим Петра Николаевича после двух лет сражений плечом к плечу, генералы заговорили о том, что все время висело тогда над каждым русским офицером: смерти от руки своих солдат. — Лишь бы не мучили, — сказал мне Гилленшмидт.

— Я не признаю мучений, — отвечал я ему. — Страшен первый удар. Но он, несомненно, вызывает притупление чувствительности, полубессознательное состояние, и дальнейшие удары уже не дают ни болевого, ни морального ощущения» (1, с. 112).

Не правда ли — милые разговоры между генералами Русской Армии летом 1917 года? Еще задолго до большевистского переворо-та!

28 августа 1917 года генерал Краснов прибыл в Могилев. Всю войну он провел «на позиции», по-теперешнему — на передовой и в Ставке был первый раз. Здесь он узнал, что Корнилов объявил Керенского изменником, а Керенский сделал то же по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками. Тогда можно будет продолжить войну и победить немцев. С этой целью Корнилов двинул на Петроград III Конный корпус, который с придан-

ной ему Кавказской Туземной дивизией разворачивается в армию, командовать которой назначили генерала Крымова.

Туземная дивизия, в свою очередь, разворачивается в Туземный корпус приданием ей 1-го Осетинского и 1-го Дагестанского полков. Генерал же Краснов должен принять у Крымова III конный корпус, чтобы освободить его для командования армией.

Генерал Краснов сразу отметил, что все эти развертывания идут на ходу, и при этом не в настоящем боевом походе, а в эшелонах, представляющих идеальную питательную среду для разного рода заразных революционных бактерий.

Краснова удивило, что Корнилов, к несчастью, не предпринял даже попытку выгрузить войска из эшелонов, устроить им смотр, провести по Могилеву церемониальным маршем, сказать войскам несколько зажигательных слов (не речь, Боже сохрани, не речь!), обещать награды. Словом, придать творимому государственному перевороту столь необходимый элемент театральности с вождем на белом коне и столь нужное русскому человеку ощущение Высшей санкции. Как все это отличалось от того, как вел в атаки свой корпус граф Келлер!

«Я помню, — говорит далее генерал Краснов, — как граф Келлер повел нас на штурм Ржавенцов и Топороуца. Молчаливо весенним утром на черном пахотном поле выстроились 48 эскадронов и сотен и 4 конные батареи. Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал солдатам и казакам. Никто ничего не слышал, но заревела солдатская масса «ура», заглушая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И когда был бой, казалось, что граф тут же и вот-вот появится со своим значком. И он был тут, он был в поле, и его видели даже там, где его не было. И шли на штурм весело и смело» (1, с. 115).

Ничего подобного при так называемом Корниловском мятеже сделано не было. Медленно ползли по ниткам железных дорог эшелоны, часами стояли на узловых и иных станциях, где личный состав частей, еще вчера бывших цветом, гордостью Русской армии, подвергаясь воздействию многочисленных агитаторов, превращался в навоз для русской и мировой революций.

По прибытии согласно приказу Главковерха во Псков вновь назна-ченный командир III Конного корпуса П. Н. Краснов был арестован комиссаром Северного фронта сразу после известия о том, что генерал Крымов застрелился в Петрограде. Мятеж Корнилова закон-чился, не начавшись, подавленный ничтожным Керенским. И храбрые

русские генералы, которые еще в феврале самоуверенно советовали Государю уйти, прикладывали к виску холодные стволы или покорно шли в Быховскую тюрьму.

Генерала Краснова, однако, миновала тогда их участь — слишком очевидно было, что «присоединили» его к мятежу в последний момент, не введя в курс дела и так и не дав вступить в командование III конным корпусом. Он был освобожден из-под ареста и вновь утвержден командиром III Конного корпуса, уже генералом Алексеевым — временным начальником штаба Верховного Главнокомандующего, но уже не Корнилова, а Керенского. Как бы то ни было, III Конный корпус на этот момент был единственной реальной силой, помешавшей большевикам захватить власть в столице и в стране еще в августе, и генерал Краснов принимает назначение, считая Керенского все же меньшим злом, чем Троцкий и Ленин.

Штаб корпуса находился в это время в Царском Селе, а части корпуса — в близлежащих городах. Это вызывало нервную дрожь у будущих «вождей Октября», непрерывно требующих через Совет солдатских и рабочих депутатов увода страшного корпуса подальше от Петрограда.

В противовес этим требованиям генерал Краснов подал Керенскому проработанный проект создания мощной конной группы из верных Временному правительству кавалерийских и казачьих частей с сильной артиллерией и бронеавтомобилями. Часть группы по этому проекту должна была постоянно находиться в самой столице, а другая — рядом в боевой готовности.

Проект был вручен генералом Красновым командующему войсками Петроградского военного округа, который принял у него этот проект и передал Керенскому. Трудно сказать, в каком из этих двух звеньев произошла утечка информации, а говоря проще — очередное предательство, но на другой день текст проекта появился в пробольшевистских газетах с соответствующей критикой и требованием немедленно убрать корпус подальше от Петрограда.

Керенский, неумоимо рубивший последний сук, на котором сидел, пошел на поводу этих наглых требований, и корпус в сентябре 1917 года был переброшен в район городов Псков—Остров в распоряжение Главкома Северного фронта генерала Черемисова — сторонника большевиков, в дальнейшем откровенно перешедшего на сторону победителей. Части корпуса были немедленно разбросаны на пространстве в сотни верст от Витебска до Ревеля. Начинаясь последний этап агонии Временного правительства, а с ним и прежней России.

25 октября (7 ноября) 1917 года генерал Краснов получил паническую телеграмму от Керенского с приказом спешно перебросить III Конный корпус под Петроград. На следующий день в Псков прибыл и сам бежавший из Петрограда Керенский. Он приказал Краснову вести наличный состав корпуса (6 сотен 9-го Донского полка и 4 сотни 10-го Донского полка — всего 700 казаков, — все, что осталось от доблестного III Конного корпуса графа Келлера) на Петроград. Генерал Краснов испытывал к Керенскому презрительную брезгливость — за глупость, трусость и всю его мерзопакостную деятельность по развалу армии и России, но тут перед ними стоял общий враг. Точнее сказать, большевиков генерал Краснов до последнего часа своей жизни не считал за врагов в обычном смысле. Они были для него бесами, вылезшими из Преисподней, загнать их обратно в которую в союзе с кем угодно он считал своим долгом перед Господом. Компромисса здесь быть не могло.

Есть данные, важные для будущей судьбы генерала, а может быть, и России в целом, что при решающем столкновении у Пулковских высот (3 убитых и 28 раненых у казаков, более 400 убитых у большевиков) присутствовал по поручению Ленина будущий генсек Сталин, который был так напуган натиском казачьих сотен, пусть малочисленных и смертельно уставших от 3 лет оказавшейся бессмысленной войны, что этого своего испуга не простил ни казакам, ни лично генералу Краснову и 30 лет спустя. Память у будущего генералиссимуса была отменная, и одно это может объяснить его повышенный интерес к личности и творчеству казачьего генерала (35, с. 297).

Все же что-то символическое есть в том, что именно III Конный корпус, которому не дали спасти Россию в феврале, сделал последнюю отчаянную попытку спасти ее в октябре 1917 года.

Но силы были слишком не равны и бои III корпуса под Петроградом кончились, как и следовало ожидать, разложением остатков казачьих сотен: мирными переговорами большевиков с «солдатскими комитетами», минуя «генералов», и увозом самого генерала в Смольный на большевистскую расправу.

Вмешательство казаков 1-й Донской казачьей дивизии помешало «вождям» революции немедленно расправиться с командиром ненавистного корпуса. Он был отправлен под домашний арест. Матросы гвардейского экипажа помогли генералу и его людям выбраться из Смольного и отвезли их домой в санитарном автомобиле. 6 (19) ноября Донской казачий комитет достал генералу пропуск на выезд из Петрограда.

7 (20) ноября вечером генерал с женой, начальником штаба корпуса полковником С. П. Поповым и подхорунжим Кравцовым на машине штаба корпуса, в форме, в погонах и при оружии, вырвались за заставу и в 10 вечера были в Новгороде, где и остановились взять бензин. В это время на петроградскую квартиру генерала явился по приказу Троцкого отряд Красной гвардии, чтобы окончательно арестовать его.

Уже на поезде генерал Краснов прибыл в Великие Луки, где расформировал и отправил по домам части своего корпуса.

В Великих Луках генералом Красновым было составлено также официальное «Описание действий III Конного корпуса под Петроградом против советских войск с 25 октября по 8 ноября». В описании этом он воспроизвел все приказы свои и Керенского, все телеграммы и юзограммы, относящиеся к походу. Описание было напечатано в 100 экземплярах в типографии штаба корпуса. При разгроме штабного эшелона в Царицыне в январе 1918 года большевики с особым усердием, помимо самого Краснова, заочно приговоренного к смертной казни, искали и уничтожали эти книжки. Единственный экземпляр, оставшийся у генерала, был передан им Павлу Николаевичу Милюкову и у него пропал в Киеве. «На внутреннем фронте» составлено П.Н. по дневникам и по памяти в июле 1920 года.

Последний долг был выполнен, и дальнейший путь генерала также лежал на Дон — единственное место, где он рассчитывал получить убежище от цепких рук вождей мирового пролетариата.

IV

Краснов прибыл в Новочеркасск 2 (15) февраля 1918 года, на другой день после похорон застрелившегося от общей безнадёги благородного Атамана А. М. Каледина. Атаман А. М. Назаров 11 (24) февраля отправил Петра Николаевича с несколькими офицерами в станицу Константиновскую для организации антибольшевистских отрядов. Но когда генерал вечером 12 (25) февраля прибыл в Константиновскую, там уже была Советская власть. Вскоре стало известно и о расстреле Атамана Назарова большевиками после взятия ими Новочеркаска. П. Н. и офицерам, бывшим с ним, пришлось скрыться и прожить до середины апреля в постоянном ожидании ареста и расстрела.

События весны 1918 года на Юге России описывает неизвестный офицер 1-го Офицерского генерала Маркова полка (предположительно — командир роты или батальона), чей очерк о 2-м Кубанском

походе помещен в 3-м номере альманаха «Белая гвардия» (20, с. 23—36).

Этот очерк ценен прежде всего тем, что составлен скорее всего на основании дневника боевых действий или полевой книжки и является отражением именно тогдашнего понимания и чувствования боевой обстановки и ситуации. Некоторые выдержки из него приводятся ниже почти дословно:

8-го февраля (ст. ст.) 1918 года был заключен мир между Центральными державами и Советской Украиной, по которому она обязалась снабжать эти страны продовольствием, а 3 (16) марта аналогичный мир был заключен с Советской Россией, от которой помимо Украины были отрезаны все западные и северо-западные части, образующие ряд самостоятельных «буферных» государств под протекторатом Германии.

Но подписать мир было легче, чем выполнить. Вся территория бывшей Империи пылает революционным пожаром, и Украина не исключение. Чтобы вывести из нее столь необходимые для выживания Австро-Венгрии и Германии продукты, следует восстановить в этой житнице России элементарный порядок.

И вот несколько австро-германских корпусов, разбросанных на огромном Восточном фронте, стремительно и смело двигаются по железным дорогам Украины на восток, наводя ужас на большевиков, бегущих перед ними, и порядок в занятых местностях.

Словно по мановению волшебной палочки возникает старый буржуазный порядок...

Очищение Украины от большевиков закончено. Почти одновременно с этим на Украине, при явном попустительстве немцев, происходит государственный переворот, и вместо социалистического правительства во главе Украины видим Гетмана Всея Украины Павло Скоропадского. Примерно в это же время в Крыму укрепляется независимое от Украины правительство генерала Сулькевича*.

В конце марта восстал Дон, в начале распропагандированный большевиками, но недолго терпевший грабежи, реквизиции, расстрелы, раздел казачьих наделов крестьянами и прочие прелести новой власти.

25 апреля (8 мая) 1918 года одновременным натиском казаков с востока и немцев с запада взят Ростов. В Ростове немцы установились, отвлекая на себя силы красных на Кубани.

* Даже после Брестского мира, во время Гражданской войны Крым ни на момент не входил в состав «независимой Украины».

К Ростову же на соединение с добровольцами, отступающими после неудачного штурма Екатеринодара (где погиб генерал Корнилов), пробивается с Румынского фронта полуторатысячный отряд полковника М. Г. Дроздовского. Этот отряд вышел из Ясс 26 февраля 1918 года и с боем прошел всю Украину, двигаясь в нескольких переходах впереди немцев. В Страстную Субботу 25 апреля (4 мая) дроздовцы неудачно штурмовали Ростов и вынуждены были отойти в Чалтырь. А 26 апреля (6 мая) они неожиданной атакой помогли Донцам полковника С. В. Денисова и походного атамана П. Х. Попова выбить большевиков из Новочеркасска — столицы Всевеликого Войска Донского и закрепить его за собой. Вместе с победоносными войсками вошел в Новочеркасск и генерал Краснов.

Добровольческая же армия вступила на Донскую землю в конце апреля, заняв 21 апреля (4 мая) станицу Егорлыкскую.

Начинался новый этап Гражданской войны. Немцы на Украине, гетман и Центральная Рада, благожелательно отнесшиеся к народному восстанию казаков, образовали на Западе железный оградительный щит против большевиков.

Восставшие на Таманском полуострове кубанские казаки также немедленно получают из Крыма помощь от немцев, которые тотчас перебросили туда два полка с артиллерией, и прочно закрепляют за собой этот богатейший полуостров, становясь твердой ногой на территории Кавказа, угрожая Анапе и Новороссийску.

Не останавливаясь сейчас на гибели половины Черноморского флота в Новороссийской бухте и уходе второй половины во главе с дредноутом «Воля» («Александр III») в Крым, отметим только, что очищение немцами Новороссийска от красного флота значительно облегчило Добровольческой армии овладение в августе 1918 года Новороссийском и вообще Черноморским побережьем.

Половина же Черноморского флота, ушедшего в Крым, попала в руки белых, что сохранило за нами до конца господство на Черном море и дало наконец возможность эвакуировать в ноябре 1920-го Армию из Крыма.

Таким образом, с юга непосредственной опасности Дону и Добровольческой армии благодаря немецкому заслону также не возникло.

В такой обстановке с 28 апреля (11 мая) по 5 (18 мая) в Новочеркасске собирается Круг спасения Дона — так называемый серый Круг — без болтливой интеллигенции и партийных склонов.

Круг составили 130 патриотов из освобожденных станиц. Единственной целью круга было спасение Дона от большевиков любой ценой. Круг принял решение о создании Донской власти, осуществля-

ющей всю полноту этой власти до созыва Большого Войскового Круга. На время прекращения работы Круга спасения Дона вся полнота власти по управлению областью Войска Донского и ведению борьбы с большевизмом принадлежит избранному Войсковому Атаману. 3 (16) мая Войсковым Атаманом был избран генерал П. Н. Краснов, известный всему Кругу своей службой, победами, любовью к Дону и казакам и, наконец, всем известным в Русской Армии воинским счастьем. Начался самый блестящий период истории Дона в Гражданской войне. Генерал Краснов не принял своего избрания Атаманом до того, как круг утвердил Основные законы, которые Атаман считал нужным ввести в Войске Донском для того, чтобы иметь возможность выполнить поставленные Кругом спасения Дона задачи.

Законы эти представляли собой почти полную копию Основных законов Российской Империи с добавлением нескольких простых и ясных законов об атаманской власти, правах и обязанностях казаков и граждан Всевеликого Войска Донского, о Донском гербе, гимне и флаге и т. п. (2).

Этими законами вся власть из рук коллектива, каковым являлся большой или малый Круг, переходила в руки одного лица — Атамана. Как писал потом сам Атаман в историческом очерке «Всевеликое Войско Донское» (Арх. Русск. Рев. Т. 5. С. 190—321, Берлин, 1922 г., М., «Терра», 1991): «Перед глазами Круга спасения Дона стояли окровавленные призраки застрелившегося Атамана Каледина и расстрелянного Атамана Назарова, Дон лежал в обломках, он был не только разрушен, но он был загрязнен большевиками. К этому привела работа Кругов, потому что и Каледин и Назаров боролись с их постановлениями, но победить не могли, потому что не имели власти. Коллектив разрушал, но не творил. Задачей же Донской власти было широкое творчество».

«Творчество, — сказал в одной из своих речей перед Большим войсковым Кругом Атаман Краснов в августе 1918 года, — никогда не было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля создал Рафаэль, а не комитет художников...»

Донскому Атаману предстояло творить, и он предпочитал остаться один вне критики Круга или Кругом назначенного правительства.

«Вы хозяева земли Донской, я ваш управляющий, — сказал Кругу Атаман. — Все дело в доверии. Если вы мне доверяете, вы принимаете предложенные мною законы, если вы их не примете, значит, вы мне не доверяете, боитесь, что я использую власть, вами данную, во вред Войску. Тут нам не о чем разговаривать. Без вашего полного доверия я править Войском не могу» (2).

Введением Основных законов отменялось все то, что громко именовалось «завоеваниями революции» и «ее углублением». И это высказали Атаману, но Атаман этого и хотел. Законы Императорской власти были привычными народу законами, народ их знал, понимал и исполнял. После революции Временное правительство спешно издало целый ряд законов, которые не были известны в народе, к которым народ не привык... А затем последовал ряд безумных декретов народных комиссаров.

Все перемешалось в мозгах несчастных российских граждан, и многие не знали, что из себя представляет закон правительства Львова или Керенского и что — декрет Ленина. Атаман считал необходимым вернуться к исходному положению — дореволюционному. В особенности это было важно для войска, да еще ввиду военного времени, чтобы окончательно аннулировать Приказ № 1, разрушивший всю великую Русскую армию.

На вопрос одного из членов Круга, не может ли Атаман что-либо изменить или переделать в предложенных им законах, Краснов ответил: «Могу. Статьи о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне другой флаг, кроме красного, любой герб, кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн, кроме интернационала».

Круг рассмеялся и принял законы, предложенные Атаманом Красновым в полном объеме. Законы эти создали Атаману уйму врагов. Прежде всего — среди вылезшей из всех щелей «демократической» интеллигенции, прятавшейся в этих щелях от большевиков. Склонная всегда разрушать, а не творить, она повела широкую кампанию травли Атамана, обвиняя его в диктаторских замашках, желании возводить феодальные порядки и т.п.

Не удовлетворили эти законы и генерала А. И. Деникина, показав ему, что Дон вступает на путь самостоятельного развития и с ним возможны только союзнические отношения. Дон не признает Деникина за своего диктатора. В результате Краснова сразу объявили самостийником, человеком «немецкой ориентации», а слова Атамана: «Здравствуй, Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону», которые говорились в эпоху смутного времени на Руси до избрания Романовых, создали Атаману в Добровольческой армии репутацию монархиста. И это было, по-видимому, большим недостатком в глазах ряда добровольческих вождей.

Что касается «немецкой ориентации», то какая еще ориентация могла в то время быть у русского патриота, а не просоюзнического чудака, в которого так успешно играл генерал Деникин, доведя дело

освобождения России от большевиков «с помощью союзников» до известного всем финала.

4 мая было последнее заседание Круга спасения Дона, и 5 мая Круг разъехался. Атаман остался один править Войском.

Все в Войске Донском лежало в обломках и запустении. Церкви поруганы, станицы разгромлены, и из 252 станиц Войска Донского только 10 были свободны от большевиков. Самый дворец атаманский в Новочеркасске был загажен так, что поселиться в нем без ремонта было нельзя.

Но все это были пустяки по сравнению с тем ужасным злом, которое насадили большевики в душах населения. Все понятия нравственности, чести, долга, честности были стерты и уничтожены. Совесть людская была опустошена. Люди отвыкли работать и не желали работать, не считали себя обязанными подчиняться законам, платить подати, исполнять приказы. Необычайно развилась спекуляция, занятие куплей и продажей, которое стало своего рода ремеслом целого ряда лиц, и даже лиц интеллигентных.

Большевистские комиссары насадили взяточничество, которое стало обыкновенным и как бы узаконенным явлением.

В стране*, заваленной хлебом, мясом, жирами и молоком, начинался голод. Не было товаров, и сельчане не хотели везти свои продукты в город. Не было денежных знаков, их заменяли разные суррогаты, вроде купонов.

В своей борьбе за спасение Дона генерал Краснов был готов опереться на любых союзников: немцев, украинских самостийников, независимую под прикрытием немецких штыков Грузию и автономные Кубань, Кавказ, Крым. Сначала главное: «Большевистский Карфаген должен быть уничтожен!» Все остальное, в том числе устройство освобожденной России, может ждать своего часа.

Атаман установил связь с императором Вильгельмом и гетманом Скоропадским, объявив им о благожелательном нейтралитете Дона, и просил, впредь до освобождения всей России от большевиков, считать Дон самостоятельной республикой, управляемой Основными законами.

Результатом этих усилий стал зеленый свет от германского командования на вооружение Донской (а через нее — и Добровольческой) армии!

Командующим Донской армией был назначен генерал С. В. Денисов, начальником штаба — полковник И. А. Поляков. Стремительно

* Имеется прежде всего земля Войска Донского.

очищается от большевиков вся территория Всевеликого Войска Донского. В июне 1918 года донские части ведут бои уже на северо-восточных границах области, а местами и переходят их.

Если события лета 1918 года на Дону заснять для потомства с высоты птичьего полета, то изумленному свидетелю показалось бы, что время замедлило ход или повернуло вспять. Как град Китеж из-под воды, на поверхность бушующей стихии на месте бывшей Российской Империи всплыла земля Всевеликого Войска Донского, в сказочно короткий срок освобожденная от большевиков. Но мало этого — земля эта принесла небывалый, невиданный урожай, и заработали стоявшие заводы, в том числе военные. Работали школы, Донской кадетский Императора Александра III корпус*. В Новочеркасском военном училище — впервые в русском военном учебном заведении — по личному приказу Атамана был введен курс военной психологии, и Краснов сам приезжал в училище читать лекции. Генерал Н. Н. Головин (по просьбе которого П. Н. Краснов возобновил чтение этого курса на военно-научных курсах генерала Головина в 30-х годах в Париже) считал, что это нововведение Атамана Краснова представляет собой факт громаднейшего значения в истории русской военной школы (27). Идеи и мысли, изложенные генералом Красновым в его капитальном труде «Душа армии», еще подлежат изучению и освоению новой Российской армией, если ей суждено принести в будущее это почетное имя. Работали также Донская Офицерская школа, аналогичного типа самолетная школа и военно-фельдшерские курсы.

Части Донской армии под командованием славного генерала С. В. Денисова были вновь скованы железной дисциплиной Императорских уставов, одеты по положению до февраля 1917 г., имели нормальный российский штат и не испытывали недостатка в вооружении и амуниции.

К августу 1918 года было почти закончено формирование постоянной Донской армии, так называемой Молодой армии из казаков 19—20-летнего возраста. Эта молодежь, не бывшая на русско-германской войне, не усталая, не развращенная большевистской и демократической пропагандой, не знавшая комитетов и комиссаров, была сведена в две пехотные бригады — пластунскую и стрелковую, три конные дивизии, саперный батальон и технические части, а также

* А Деникин и компания слов «Император», «Императорский» боялись как черт ладана. Так, захватив дредноут «Воля», называли его «Генерал Алексеев» вместо того, чтобы вернуть его начальное гордое имя «Император Александр III».

легковую, конную и тяжелую артиллерию. Части эти были нормального российского штата*, имели казенных лошадей и все казенное обмундирование и снаряжение от войска, штатный обоз, были воспитаны, вымуштрованы и обучены по старым русским уставам и составляли гордость Войска Донского. Общая численность их превышала 30000 бойцов. Именно они должны были идти с Деникиным на Москву. Их особо снаряжали, особо воспитывали и прививали им идею похода для спасения России.

По Дону ходил флот из шести вооруженных речных судов, контролировавших обстановку во всей области Войска Донского и в значительной степени в Воронежской губернии. Этот небольшой флот оказал значительную поддержку Донской армии в освобождении от большевиков казачьих станиц. Два морских парохода доставляли на Дон из портов Румынии и Севастополя Донской армии тяжелые морские орудия для бронепоездов, пулеметы, аэропланы, а также десятки тысяч снарядов и сотни тысяч ружейных патронов. Для подготовки личного состава Донского флота был устроен в Таганроге морской батальон. Ожидалось, что через полгода Дон сможет перейти на самоснабжение.

29 июля Украина признала старые границы Донского войска, нарушенные Брестским миром, и Донские власти вошли в Таганрог и Таганрогский округ. Донские войска, преодолевая слабеющий натиск большевиков, вышли за пределы земли Войска Донского и победоносно вступили в Воронежскую и Саратовскую губернии. Германские гарнизоны были поставлены в зависимость от Атамана и оставались лишь там, где Атаман Краснов считал их присутствие необходимым.

В Ростове была образована смешанная Доно-Германская экспертная комиссия — что-то вроде торговой палаты, и Дон начал получать сначала сахар с Украины, а затем просимые им товары из Германии. В Войско Донское были отправлены тяжелые орудия, в посылке которых до этого времени германцы отказывали. Наконец, германское командование предложило участие своих войск для операций по овладению Царицыным** (2, с. 213). К большому сожалению, Ата-

* Для примера: 1-я пластунская бригада — 8 тыс. штыков, 8 полевых орудий, 4 тяжелых орудия; 1-я стрелковая бригада — 8 тыс. штыков, 8 полевых орудий и 4 мортиры; 1-я Донская Казачья дивизия — 5 тыс. шашек и 12 конных орудий; 1-й саперный батальон — 1000 штыков. Технические войска включали бронепоезда, аэропланы, бронемашину и пр. технику.

** Единое мнение всех военных специалистов, анализировавших ход Гражданской войны: взятие у красных Царицына летом 1918 г. поставило бы их в практически безвыходное положение, что они, надо отдать им должное, прекрасно понимали сами (25).

ман Краснов отклонил последнее предложение, все еще надеясь, что Добровольческая армия хотя бы после овладения Екатеринодаром (населенный пункт, гораздо более важный для выигрыша войны в России, чем, скажем, Москва!) перейдет в наступление на север и вместе с донцами овладеет Царицыным, так как это было условлено в станице Манычская 15 мая 1918 года.

Эти незаурядные достижения молодой Донской власти стали возможны благодаря умелой дипломатии Донского Атамана, в частности его посланию императору Вильгельму II от 28 июня 1918 года, подтверждающему нейтралитет Дона в продолжающейся мировой войне.

Это послание было передано германскому командованию Атаманом Зимовой станицы (т.е. чрезвычайным и полномочным послом Дона) в Берлине герцогом Н.Н. Лейхтенбергским и генералом А. В. Черячукиным. Результатом их переговоров и были столь благоприятные для Дона (а через него и для Добровольческой армии) шаги германской армии в совместной борьбе с большевизмом*. Это было время последнего германского наступления на Париж, и гордые своими победами немцы возили генерала Черячукина на позиции, где он лично мог убедиться в силе и мощи германской армии и могуществе ее артиллерии.

Итак, Дон был весь свободен от большевиков и достиг процветания**. В этой обстановке 15 августа 1918 года в столице Войска Новочеркасске собрался Большой Войсковой Круг. После всего перечисленного естественно было ожидать, что Круг первым делом в ножки поклонится Атаману за все, сделанное им для Дона. Со стороны рядовых казаков, в том числе и членов Круга, отношение к Атаману было восторженное. Но совсем иным оно было со стороны руководства Круга.

Большой Войсковой Круг уже не был сплошным однородным «серым Кругом», как Круг спасения Дона. Интеллигенция и, что еще хуже, полуинтеллигенция, вошла в него и на первых порах сумела овладеть умами казаков. Круг разбился не только по округам и ста-

* См. также Эрих Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг., М. 1922—24 гг. (32) и ген. Макс Гофман: «Война упущенных возможностей». (26)

** И все — за три месяца работы атамана Краснова. Осенью того же года представитель союзников английский капитан 1-го ранга лорд Бонд сказал: «То, что мы видели на Дону и здесь (на фронте) и что сделано Атаманом в какие-нибудь полгода, сделало бы честь любому государству за десятилетнюю работу его правительства» (45, с. 76).

ницам, но и по политическим партиям. Председателем Круга вместо патриота Дона есаула Г. П. Янова был избран хитрый думец — кадет В. А. Харламов, немедленно поведший подпольную борьбу против Атамана. Борьба шла по двум главным направлениям: «прогерманская ориентация» Атамана, его монархизм.

Если с первой частью «серый казачий Круг» разобрался быстро — слишком заметны были успехи Донской власти, то со второй было сложнее. За полтора года демократическая и большевистская пропаганда сумела противопоставить понятия «Царь» и «монархия» понятию «свобода». А без «свободы» русский человек, сами понимаете, ну никак: без Бога он может, без Царя — может, без Отечества, как показывает опыт, — тоже, без работы, дома, штанов — хоть завтра, но «свобода» — это святое. Только равенства, братства и компактной гильотины на отдельно взятую семью не хватает.

Между тем Атаман Краснов отслужил торжественную панихиду по зверски убитым большевиками Царю и его семье и отдал об этом приказ. Официозная газета «Донской край» редактировалась опытным и талантливым писателем И. А. Родионовым, считавшимся ярким монархистом, и в ней помещались статьи монархического направления.

Левые партии потребовали немедленной отставки Родионова, и обстановка накалилась так, что Атаман сказал, что оставляет свой пост, и, взяв из рук есаула тяжелый золотой атаманский пернач, с такой силой бросил его на стол, что расколол верхнюю доску и ушел из зала заседаний.

Но тут уж взволновалась «серая» часть Круга — станичники и фронтовые казаки, знавшие и любившие своего славного генерала и Атамана. Немедленно в атаманский дворец была отправлена депутация от Круга во главе с председателем, которая уговорила Атамана остаться на посту до выборов. Эти выборы окончились триумфом Краснова, несмотря на все попытки левых заменить его атаманом просоюзнической ориентации — генералом А. П. Богаевским. Рядовые члены Круга пришли в полный восторг от достижений Дона под властью Атамана Краснова. Атаман Краснов вместо отставки был произведен через чин в генерала от кавалерии, и ему устроили овацию.

Не прошло и недели, как телеграф принес известие о громкой победе 1-й Пластунской бригады и 2-й Донской казачьей дивизии над большевиками в Чирском районе. Части Молодой армии наступали как на параде, не ложась, неся винтовки на ремне, противник бежал перед ними. А когда они залегли и открыли меткий огонь по врагу, то

сильные позиции красных были ими покинуты. Молодая армия получила свое крещение.

Участники Круга разъехались по домам и станицам с горящими от восторга глазами, а Атаман остался нести свой тяжкий крест по спасению Дона и России.

К сожалению, время работало против него. На достаточно бесплодные заседания Круга ушел почти месяц. Из-за скрытого и явного противодействия командования Добровольческой армии не были решены главные стратегические задачи: занятие столицы и свержение богоборческой большевистской власти. Отнюдь не по вине Донского Атамана за лето 1918 года была упущена уникальная и, на наш взгляд, единственная реальная за всю Гражданскую войну возможность покончить с Советской властью одним ударом соединенных сил Донской и Добровольческой армий и германского бронированного кулака (38).

Во Всевеликом Войске Донском генерал Краснов высказывает эту мысль ясно и определенно:

«Тогда — и это по тогдашнему настроению и состоянию Красной Армии, совершенно не желавшей драться с немцами, — несомненно, так и было бы — тогда немецкие полки освободителями вошли бы в Москву. Тогда немецкий император явился бы в роли Александра Благословенного в Москву, вся измученная интеллигенция обратила бы свои сердца к своему недавнему противнику. Весь русский народ, с которого были сняты цепи коммунистического рабства, обратился бы к Германии, и в будущем явился бы тесный союз между Россией и Германией. Это была бы такая громадная политическая победа Германии над Англией, перед которой ничтожной оказался бы прорыв линии Гинденбурга на Западном фронте и занятие Эльзаса. И державы Соглаasia приняли все меры, чтобы не допустить этого...» (2, с. 265).

Атаману было хорошо известно, что Англия к 1917 году, испугавшись могущества Российской армии, поняла, что ей придется исполнить свое обещание и отдать России Константинополь и проливы. Тогда Россия утвердилась бы в Персии, что не входило в планы Англии, и она побудила изменников генералов и сановников потребовать отречения Императора Николая II и вдохнула в умы несчастной русской интеллигенции подлую мысль: «Мир без аннексий и контрибуций». Атаман знал, какую роль приписывали во всем этом деле английскому послу Бьюкенену и английскому золоту, но он промолчал об этом... потому еще верил в благородство союзников (2, с. 219).

Создание народной Донской армии и борьба ее совместно с Добровольческой армией с большевиками за окончательное освобождение России от III Интернационала в союзе с национальными армиями самоистийной Украины, Крыма, Кавказа, Грузии имело еще тот громадный политический смысл, что превращало классовую Гражданскую войну в войну национальную различных народов России, в том числе и русского, против кремлевских узурпаторов. Тем самым Краснов, может, сам того не сознавая, переворачивал в свою пользу лозунг Ленина: «Превратим империалистическую (т.е. межнациональную) войну в гражданскую» (в которой сам Ленин чувствовал себя как рыба в воде, освобождая своих адептов от химеры, именуемой совестью, задолго до бесноватого фюрера). Краснов преобразил этот лозунг в его противоположность, выбивая тем самым из большевистских рук кнут социальной демагогии. Гражданская война превращалась в этом случае в национальную борьбу народов Российской Империи во главе с русским народом и — пусть самостийными пока — казачьими войсками с узурпаторами русской государственности и самой души русского народа, засевшими в сердце Русской Земли — Москве.

Следует подчеркнуть, что необходимость соглашения с немцами была ясна и многим добровольцам. Так, уже упомянутый выше офицер Марковского полка пишет: «Положение Добровольческой армии в этот период (май 1918 года) из безнадежного становится крайне выигрышным. Перед нею раскрываются широкие перспективы.

Нужно только правильно выбрать дальнейшее операционное направление к Москве и в связи с этим решить вопрос о своем отношении к Германии, предлагающей генералам Алексееву и Деникину через своего командира корпуса в Ростове свою помощь на условиях признания ими прекращения войны с Германией.

Реальная политика требовала от наших вождей соглашения с немцами.

Это давало сразу же Добровольческой армии блестящее исходное положение, а именно возможность перебросить Добровольческую армию на север и западные границы, Всевеликое Войско Донское — на Московское направление, на непосредственную близость к Москве. Вряд ли бы Советская власть, обладавшая тогда еще незначительной Красной армией, устояла бы под двойным нажимом: с юга — Добровольческой армии и Донской, а с востока — чехословаков и Народной армии.

В этом случае Добровольческая и Донская армии имели бы позади ближайший, обеспеченный немцами тыл — Украину и Дон. Будь это, может быть, судьбы России были иные.

Восстановив же могучую Россию, можно было бы и пересмотреть свое соглашение с Германией.

Подобное соглашение с Германией облегчалось еще и тем, что в то время настроение среднего и младшего офицерства было, безусловно, германофильское» (20).

Но генерал Деникин держался «союзнической ориентации». Его штаб сразу повел работу по дискредитации Атамана, несмотря на то что вооружение и снабжение Добровольческая армия получала от него.

Доходило до анекдота. Так, на одной из первых встреч с Атаманом Красновым в мае 1918 года в станице Манычской генерал Деникин потребовал от Атамана уничтожения (!) диспозиции по уже выигранному бою по взятию Батайска, поскольку в ней было указано, что в правой колонне действуют германский батальон и батарея, в центре донцы, а в левой колонне отряд полковника Глазенапа Добровольческой армии. А Добровольцы не могут действовать заодно с немцами!

Атаман ответил Деникину, что выигранный бой уже в прошлом и что уничтожить историю нельзя. Он предлагает Деникину совместное наступление в направлении Царицына и Воронежа, что считает единственно разумным и наш марковский офицер, а также, заметим, генерал Н.Н. Головин! (20, 25).

Но Добровольческая армия в лице своих вождей Алексеева и Деникина отворачивается от «сепаратистов» и вместо подготовки совместного наступления на Москву начинает борьбу за освобождение Кубани, чтобы иметь на юге широкую базу «обещаний ради будущих благ». Поход на север ее не интересует.

Второй Кубанский поход увенчался, как известно, большим тактическим успехом — освобождением всего Северного Кавказа и выходом Добровольческой армии... но только через целый год — на «Широкую Московскую дорогу».

Это были пирровы победы. Один за одним выбывают из строя в бесчисленных боях лучшие вожди армии*, начальники, идейные рядовые добровольцы. В ряды вливаются мобилизованные, среди которых зачастую масса враждебного элемента.

Во второй половине 1918-го — начале 1919 года Добровольческая армия крепнет численно, но слабеет морально.

Самая главная беда — потеря времени. «Потеря времени — смерти безвозвратной подобна», — говорил Петр I. Добровольческая

* Одним из первых погиб истинный рыцарь Добровольческой и Белой Идеи — генерал С. Л. Марков.

армия, поставив себе задачей достижение второстепенной цели — освобождение Кубани вместо главной — наступление через Дон с Донцами на Москву — вязнет в борьбе на Северном Кавказе и теряет целый год, теряет победу, теряет Россию.

Начав только поздней весной 1919 года наступление на Москву, Добровольческая армия встречает на своем пути уже не банды, а скованную драконовской дисциплиной Троцкого регулярную миллионную Красную армию, руководимую отнюдь не последними представителями русского Генерального штаба: Парским, Гутором, Клембовским, Зайончковским, Свечиным, Лебедевым и другими. Финал известен.

Итак, в мае 1918 года Войско Донское во главе со своим Атаманом одно стояло перед громадными задачами освободить земли Войска от большевиков и положить начало освобождению России.

С первой из этих задач Атаман Краснов справился блестяще. Большеvizму Атаман противопоставил патриотизм. Разъезжая по станицам и полкам, Атаман везде говорил одно: «Любите свою великую, полную славы Родину, Тихий Дон и мать нашу Россию! За веру и Родину — что может быть выше этого девиза» (2).

Командующий Донской армией генерал-майор С.В. Денисов требовал полного соблюдения воинской дисциплины и порядка. А дисциплина была как раз слабым местом Добровольческой армии: «Доблести много, дисциплины мало». Разлад между Доном и Добровольческой армией начался с мелочей и пустяков, но выпилс в крайние формы вследствие огромного самолюбия Деникина. Его постоянно раздражала мысль, что Войско Донское находится в хороших отношениях с немцами и что немецкие офицеры бывают у Атамана.

Деникин не думал о том, что благодаря этому Добровольческая армия получает оружие и боеприпасы и ее офицеры едут через Украину и Дон совершенно свободно, но видел в этом измену союзникам и сторонился Атамана.

Пока у Донского Атамана на фронте была шестидесятитысячная армия, а у Деникина вместе с Кубанцами — двенадцатитысячная, пока все снабжение шло через Донского Атамана, взявшегося быть посредником между Украиной и немцами, с одной стороны, и Добровольческой армией — с другой, Деникин молчал. Но его окружение готовило кампанию против генерала Денисова, Атамана и всех донских патриотов, стремясь свалить Войско Донское. И впоследствии при помощи союзников они свалили его... Но в результате погубили последний свой ресурс в борьбе. Как только война перестала быть национальной народной — она стала классовой и как таковая не могла

иметь успеха в беднейшем классе. И понимал это тогда только Донской Атаман Краснов.

Казаки и крестьяне отпали от Добровольческой армии, и она погибла. Говорят об измене казаков Деникину, но нужно посмотреть, кто изменил раньше: казаки Деникину или Деникин казакам. Если бы Деникин не изменил казакам, не оскорбил бы жестоко их молодого национального чувства, они не покинули бы его. И прав был Атаман, когда в числе своих врагов называл и генерала Деникина, который, быть может, сам того не понимая, работал на разрушение Донского Войска (2).

Подчеркнем еще раз. В мае 1918 года был упущен исторический шанс не просто выгнать большевиков из Москвы, но переиграть в последнюю минуту итоги мировой войны, заменив противоестественный англо-русско-французский союз на естественный евразийский — русско-германский*, — ибо: «Я не знаю, найдется ли в мировой истории пример большего ослепления, чем взаимное истребление русских и немцев к вящему прославлению англосаксов!» — восклицает в своих «Воспоминаниях» гросс-адмирал Тирпиц — создатель германского флота Открытого моря и большой русофил (40).

Разговоры о том, что союзники, победив Германию, придут наказывать Россию — в случае ее соглашения с Германией — несерьезны. Если бы германский император действительно въехал бы — при согласии остатков Русской армии — на белом коне в Москву — как ее освободитель от Ленина и Троцкого — свергнуть бы его с трона не смогла бы никакая земная сила — возьми даже союзники Берлин (в чем автор очень склонен усомниться). К сожалению, духа наступать на Москву без формального согласия вождей Добровольчества о нейтралитете у германского главнокомандования тоже не хватило. Слишком сильно было засилье социалистов в германском правительстве, и свой шанс Германия как великая держава тоже упустила. Теперь ей оставалось только проиграть войну. Вопрос нескольких месяцев (25, 26, 33).

Так перестановка всего нескольких акцентов в душах высшего руководства страны и армии ведет к нелепым решениям и в конечном счете — к гибели их самих и защищаемой ими державы. Сказанное относится именно к России, потому что она одна из воевавших стран все-таки старалась до 2 марта 1917 года быть Святой Православной Русью, водимой помазанником Божьим, а значит, и Божьим Благословением, пока народ был согласен принимать его.

* А в перспективе — русско-германо-японский — в развитие сепаратного договора между Россией и Японией от 1916 г. (40).

Другие-то страны давно уже были в руках князя мира сего, и действовали там обычные законы и обычный разум этого мира. Немного ближе по духу к России все же была Германия — и по монархическому принципу, и по еще не совсем рухнувшему в ту пору христианству, и по остаткам германского идеализма. Поэтому и погубить нас постарались вместе.

Атаман Краснов, фронтовой, далекий от Ставки и ее интриг генерал, был свободен от февральского иудинного греха, поэтому Дух Божий и благословляет и направляет его дела, подарив под его атаманством последнее счастливое в XX веке лето Тихому Дону. Невиданный урожай, почти полное восстановление промышленности, освобождение всей Донской территории от врага и выход на исходные рубежи для наступления на Москву — и это при том, что настоящий союз с немцами ему не удалось заключить в силу отношения к нему командования Добровольческой армии и, конечно, «общественного мнения» — резко вылезшего из щелей и активизировавшегося сразу после ухода большевиков с Дона. Какое оно было? Да включите любую программу TV — узнаете.

Вся относительная устойчивость положения на Дону рухнула в ноябре 1918 года, когда стало известно, что кайзер Вильгельм II отрекся от престола и покинул страну. Это известие совершенно убило дух германского офицерства, и армия стала стремительно разлагаться, повторяя путь русской армии 1917 года.

«Грозные германские солдаты, — писал Краснов, — всего неделю назад грозным «halt» останавливающие толпы рабочих и солдат на Украине, покорно давали себя обезоруживать украинским крестьянам. Украинские большевики останавливали эшелоны со спешившей домой баварской кавалерийской дивизией, отбирали оружие и уводили из вагонов лошадей».

На западе области Войска Донского возникла зияющая рана — фронт длиной в 600 км, и закрывать его было нечем.

После капитуляции Германии на Дон прибыли представители союзных держав, поддерживающих концепцию единого командования Белыми армиями на Юге России, против чего категорически возражали генерал Краснов и назначенный им командующий Донской армией генерал Денисов.

26 октября 1918 года на станции Торговая состоялось совещание генералов Краснова и Деникина с их штабами.

На этом совещании командующий Донской армией генерал Денисов и его начальник штаба генерал Поляков резко выступили против единого командования. В отличие от них генерал Краснов согласился

на подчинение генералу Деникину при сохранении автономии Донской армии и законов Всевеликого Войска Донского. «Вы подписываете себе и Войску смертный приговор» — сказал генерал Денисов атаману (2).

А помощь от союзников так и не поступала. На Дон надвигалась катастрофа. В это время (январь 1919 г.), когда Атаман тщетно молил Деникина и союзников о помощи, к нему прибыл с чрезвычайными полномочиями начальник французской миссии капитан Фукэ, который передал атаману ультиматум. Приведем его текст полностью:

«Мы, представитель французского главного командования на Черном море капитан Фукэ, с одной стороны, и Донской Атаман, председатель Совета министров Донского войска, представители Донского правительства и Круга, с другой, сим удостоверяем, что с сего числа впредь:

1. Мы вполне признаем полное и единое командование над собою генерала Деникина и его Совета министров.

2. Как высшую над собою власть в воинском, политическом, административном и внутреннем отношении признаем власть французского главнокомандующего генерала Франшэ д'Эсперрэ.

3. Согласно с переговорами 9 февраля (28 января) с капитаном Фукэ все эти вопросы выяснены с ним вместе и что с сего времени все распоряжения, отдаваемые войску, будут делаться с ведома капитана Фукэ.

4. Мы обязываемся всем достоянием Войска Донского заплатить все убытки французских граждан, проживающих в угольном районе «Донец» и где бы они ни находились и происшедших вследствие отсутствия порядка в стране, в чем бы они ни выражались, мы обязаны возместить потерявшим трудоспособность, а также семьям убитых вследствие беспорядков и заплатить полностью среднюю доходность предприятий с причислением к ней 5-процентной надбавки за все то время, когда предприятия эти почему-либо не работали, начиная с 1914 года, для чего составить особую комиссию из представителей угольных промышленников и французского консула...»

Дадим вновь слово генералу Краснову: «Атаман прочел это оригинальное условие и смотрел широко раскрытыми глазами на Фукэ.

— Это все? — спросил он возмущенным тоном.

— Все, — отвечал Фукэ. — Без этого вы не получите ни одного солдата...

Так вот она, так долго и так страстно ожидаемая помощь союзников, вот она — пришла, наконец...» (2, с. 308—309).

Донской фронт остался без резервов. Сзади никого нет, а когда сзади никого нет — жутко становится на фронте.

Если бы союзники действительно пришли помогать, разве было бы так? Невольно напрашивалось сравнение с немцами. Как быстро подавались части корпуса генерала фон Кнерцера в апреле и в мае 1918 года. Не успеешь оглянуться, как уже низкие серые каски торчат перед носом оторопевшего «товарища» и слышны грозные окрики: «halt» и «ausgeschlossen». А ведь это были враги! Если враги так торопились помочь Атаману, как должны были спешить друзья?! А так и пропаганды не нужно, дело ясное: помощь союзников — обман! (2, с. 290).

В конце января 1919 года в Верхнедонском округе произошла катастрофа: несколько казачьих полков отказались сражаться и перешли на сторону противника.

На заседании 2 февраля 1919 года Большой Войсковой Круг потребовал отставки генералов С. В. Денисова и И. А. Полякова — героев освобождения Дона от врага летом — осенью 1918 года.

Атаман Краснов заявил, что это недоверие Большого Войскового Круга распространяется и на него, и подал в отставку. Перед этим он сказал, что Дон пошел по пути Февральской России.

Отставка была принята Большим Войсковым Кругом после обработки делегатов по округам: «это требование союзников», «это желание генерала Деникина», «без этого нам не будет оказано союзниками никакой помощи».

Вопреки закону баллотировку провели открытым голосованием.

До выборов нового атамана Круг передал атаманскую власть генералу А. П. Богаевскому, которому суждено было нести звание Донского Атамана до самой своей смерти в Париже в 1934 году.

Отставкой Атамана Краснова закончился самый славный и удачный для Дона период Гражданской войны. Впереди были поражение, рассказывание, уход некоторых казаков за рубеж — в общем, конец Тихого Дона.

В день отъезда Атамана были получены со всех четырех фронтов телеграммы на его имя. Казаки требовали не покидать поста в грозную для Войска минуту. Но председатель Круга кадет и думец Харламов телеграмм этих Атаману не передал и Кругу о них не доложил. В миниатюре повторилась история с телеграммой графа Келлера Государю, скрытой от него генералом Алексеевым. 6 февраля весь Новочеркасск вышел к поезду проводить своего Атамана. Ему поднесли Адрес от Круга Черкасского округа, который поспешили подписать и другие члены Большого Круга, а супруге Атамана Лидии Федоровне — прекрасный букет живых цветов.

В Ростове Атамана ожидали новый Адрес и почетный караул лейб-гвардии Казачьего полка. На дворе станции был собран весь лейб-гвардии Казачий полк.

Генерал поблагодарил лейб-казаков за уже не причитающееся ему внимание, говорил о святом долге защищать Донское Войско и во всем повиноваться Атаману генералу А. П. Богаевскому.

Вагон Армавир-Туапсинской дороги, высланный за бывшим Атаманом его братом, прицепили к екатеринодарскому поезду, и Краснов навсегда покинул Войско, так, во всяком случае, считал он сам в 1922 году, когда писал свой до сих пор неоцененный вполне историками труд «Всевеликое Войско Донское».

Весну и лето 1919 года Петр Николаевич и Лидия Федоровна провели в Батумской области, как бы в изгнании. Здесь они оба переболели черной оспой. В июле 1919 года по ходатайству генерала от кавалерии Н.Н. Баратова, генерал Деникин командировал Петра Николаевича в распоряжение командующего Северо-Западной армией, генерала от инфантерии Н.Н. Юденича. Рядовым добровольцем Краснов проделал поход от Нарвы до Царского Села, высидел всю осаду Нарвы, издавал ежедневную газету «Привнесский край».

В январе 1920 года он был назначен представителем Добровольческой армии в Эстонии и был членом комиссии графа Палена по ликвидации Северо-Западной армии. В конце марта 1920 года по требованию эстонских властей покинул Ревель. Началось изгнание. Военная служба в России была окончена.

V

Осталась — служба литературная. Генерал Краснов продолжал свою присяжную службу потерянной Родине и на этом поприще. Более двадцати томов воспоминаний, романов и повестей напечатано им в эмиграции, и через все творчество проходит красной линией горячая любовь к России. Помимо этого он участвовал в подготовке кадров будущей Русской армии, читая на Военно-научных курсах генерала Н. Н. Головина свой уникальный курс военной психологии.

К самым известным произведениям П. Н. Краснова, опубликованным в эмиграции и получившим мировую известность, относятся: «От Двуглавого Орла к красному знамени», фантастический роман «За чертополохом», написанные также в духе исторической фантазии «Подвиг», «Опавшие листья» и многие другие (1—4, 10—17). Не считая при этом статей военно-исторического характера и постоян-

ного сотрудничества в патриотических и военных журналах. Литературное наследие Петра Николаевича еще ждет своих исследователей.

В 1920—1940 годах только в Германии в переводе на немецкий, по весьма приблизительным и неполным оценкам, было продано более 2 млн. (!) экземпляров его книг. Это позволило автору жить весьма и весьма независимо и от забот о хлебе насущном, и от необходимости нравиться «общественному мнению».

Даже в Советской России имя ее «первого врага» — генерала и атамана Краснова не сразу было забыто. В 1925 году в СССР пиратским образом была издана, а через два года переиздана его книга «На внутреннем фронте». А в библиотеках НКВД и прочих соответствующих ведомств кто-то невидимый вообще собирал подборку из творений Петра Николаевича и тщательно прорабатывал ее с карандашом в руке.

Любому нынешнему литератору сотой доли известности и славы писателя, историка П.Н. Краснова хватило бы, чтобы считать себя классиком. Поэтому тем более будет интересно, как оценивал себя и свое место в литературе сам Петр Николаевич:

«Я казачий, кавалерийский офицер, и только», — писал он в одном из писем генералу Головину. — Я не только не генерал от литературы, но не почитаю себя в ранге офицеров. Так, бойкий ефрейтор, который, когда на подходе устанет и занудится рота, выскочит вперед и веселой песней ободрит всю роту. Я тот ефрейтор, который ходит в ночные поиски, ладно строит окопы, всегда бодр и весел и не теряется ни под сильным огнем, ни в атаке. Он, несомненно, нужен роте, но гибель его проходит незаметно, ибо таких, как он, много, — так и я в литературе, один из очень многих...» Эти строки взяты из статьи генерала Головина, помещенной в «Русском инвалиде» в 1939 году, № 138, и посвященной генералу П. Н. Краснову к 50-летию его пребывания в офицерских чинах. Генерал Головин пишет далее, что он позволит себе не согласиться с Петром Николаевичем, зная невероятную популярность его произведений у русской молодежи, зачитывающейся его произведениями, в которых она учится любить старую, а через нее и будущую Россию.

Головин говорит также, что он сам был свидетелем, как исторические произведения генерала Краснова, посвященные трагическому периоду революции и Гражданской войны, увлекали американскую молодежь в Калифорнии, открывая ей правду о России, оклеветанной темными силами революции.

К перлам русской литературы, по мнению генерала Головина, следует отнести описание Красновым быта и боевой жизни Русской

армии (например, великолепное описание русско-турецкой войны в романе «Цареубийцы», хотя оно проходит там как вспомогательная тема). За одни эти страницы П. Н. Краснов, заключает генерал Головин, будет причислен потомством к сонму русских классиков так же точно, как в летописях Русской армии он будет почитаться одним из ее героев — начальников.

Говоря словами соредактора журнала «Человек» Е. Тарусского, сказанными 70 лет назад, в 1931 году, в Париже по случаю 40-летия военно-литературной деятельности генерала Краснова: «Самый пристрастный историк не может пройти мимо имени большого русского человека, писателя и воина — Петра Николаевича Краснова. По его романам будут изучать эпоху... И не одному поколению еще много и много лет будут рассказывать книги генерала Краснова о жуткой осени Великой России, о тоске падавших на землю золотых осенних листьев. О славных победах сильного духа над слабым телом, о героических подвигах, о чести и гордости Русского офицера, о доблести и жертвенности русского солдата, которых он так хорошо знал и преданно любил» («Часовой», Париж, 1931, № 57, с. 10).

Проза Краснова трагична, как трагична была эпоха.

Всем известно, что Краснов был и навсегда остался убежденным сторонником монархии и последовательным врагом большевизма. Его любимой фразой было: «Я — Царский генерал». Он являлся членом Высшего монархического Совета, редактировал монархический журнал «Двуглавый орел» (1920—1922 гг., 1926—1931 гг.). Как писатель он всегда подчеркивал свою крайне антисоветскую позицию и свержение коммунизма в России любыми средствами и с любыми союзниками считал продолжением Белого Дела. Понятно, что из всех европейских режимов конца 30-х годов наиболее близким ему был режим национал-социалистической Германии, объявившей «мировому масонству» сначала «холодную» (идеологическую), а потом и «горячую» войну, к которой всей душой стремился и генерал Краснов. Эта симпатия видна в его предвоенном романе «Ложь». Объективности ради, следует подчеркнуть, что, одобряя многое в патриотическом воспитании германской молодежи в 3-м Рейхе, Краснов вовсе не считал, что режим фюрерства и идеал превосходства отдельной нации может подойти такой многонациональной стране, как Россия. В ней может быть только один режим — православная монархия (17).

VI

Когда в 1941 году Германия напала на Советский Союз, старому генералу показалось, что наконец-то на новом витке истории осуществляется его давняя мечта лета 1918 года войти в Москву на германском бронепоезде. Он становится руководителем Главного Управления казачьих войск вермахта, формирует казачьи соединения для борьбы с Красной Армией. Кстати, среди современного казачьего движения в России отнюдь нет однозначного осуждения позиции царского генерала и Донского Атамана П. Н. Краснова в последней в его жизни схватке, как он сам считал, «с мировым коммунизмом».

А крестный путь Атамана на эшафот со своими верными, до конца восхищавшимися им казаками не может не вызвать уважение к светлой личности генерала без оценки правомерности его участия как русского офицера и патриота в войне на стороне гитлеровской Германии (18, 41).

Царскому генералу суждено было вернуться в Москву, чтобы 16 февраля 1947 года принять в ней мученическую смерть и, по существу, пополнить собой число новомучеников и исповедников российских самого трагического века русской истории.

Но хотелось бы сказать и о второй стороне «исторической медали». Итоги деятельности генерала Краснова во Второй мировой войне в очередной раз заставляют понять, что история не знает повторения однажды упущенных возможностей.

Трагедия генерала заключалась прежде всего в том, что он не заметил или не захотел заметить, что при внешней схожести вооруженной борьбы части казачества с Советской властью при участии германской армии ситуация лета 1918 года зеркально изменилась в 1941—1945 годах. Если бы совместное наступление Донской и Добровольческой армий в 1918 году при поддержке германских корпусов состоялось, это была бы национальная, народная война русского народа с интернациональным, в основном «инородческим» сбродом, захватившим власть в обеих столицах и нескольких центральных губерниях. Воинская опора этой власти летом 1918 года состояла в основном из латышских, мадьярских, китайских и прочих «интернационалистов». Летом 1918 года позиция Атамана Краснова, будь она в сто раз более прогерманской, была полностью оправдана, а с военной стороны она давала единственный шанс русским национальным силам на победу над III Интернационалом.

Вторая мировая война с 22 июня 1941 года стала Великой Отечественной войной советского, и прежде всего русского народа. Кон-

солидации его способствовали генетическая память русского народа, инерция Российской Империи.

Примерно с 1937 года историческая память русского народа в СССР, после 20 лет насильственного беспамятства, стала возрождаться на новой «социалистической» основе. Была проведена тотальная смена партаппарата, оставшегося еще с ленинских времен и понятно, из кого состоявшего. Чистка в армии коснулась кадров, поставленных еще Троцким. В 1937 году на государственном уровне было отмечено 100-летие со дня гибели А.С. Пушкина. По всей стране прошли пушкинские торжества, и русская классика вновь заняла главенствующее место в школьных программах. На экран вышли такие фильмы, как «Александр Невский» и «Суворов», где генералиссимус Суворов с экрана провозглашал: «Бог — наш генерал!» Печаталась патриотическая литература об Отечественной войне 1812 года и других периодах российской истории, и, пусть в усеченном виде, восстанавливалась разорванная в 1917-м связь времен. Эта работа направлялась лично И.В. Сталиным, а следовательно, проводилась и внедрялась в сознание населения, и особенно молодежи, тотально. Результат этой подготовки известен: более 90% парней поколения 1921—1924 годов рождения героически сложили свои головы на фронтах Отечественной войны.

Разумеется, с 1917 по 1941 год Советская власть прошла катком по такому числу людей, изломала столько судеб, и столько сердец горело неутолимой жадой мести «комиссарам», что количество добровольно сдавшихся в плен, перешедших на сторону германских войск, а также добровольцев, пополнивших Восточные части вермахта из оставшегося на оккупированной территории населения, превышало все мыслимые цифры и проценты, которые когда либо знала российская история. Около 2 млн. русских людей и людей других наций, населяющих гигантские пространства Евразии — Российской Империи — Советского Союза, с оружием в руках сражались против Советского правительства. Но все они, к счастью, к сожалению ли, составили лишь небольшую часть воюющего населения воюющей Державы — бывшей Российской Империи, а ныне Советского Союза.

В 1941—1945 годах Сталину идеологически удалось переиграть Атамана Краснова, навязать свою игру, противопоставив национальную, народную войну войне гражданской, да еще опирающейся на вражескую помощь: действительно, если не по сути, то по форме сохранившиеся Белые казачьи части в составе вермахта вели в 1941—1945 годах гражданскую войну против народной войны подавляющего большинства советского народа против захватчиков.

Исторический парадокс, на мой взгляд, заключается в том, что провести соответствующую идеологическую подготовку к грядущей войне, ее ведению и последовавшему невероятно быстрому восстановлению разрушенной страны помог И. В. Сталину генерал, военный писатель и мыслитель Краснов. Это, конечно, гипотеза, требующая дальнейшей проверки, но — посудите сами: в бывших спецхранах сохранились экземпляры его книг, тщательно отработанные карандашом, хранящие на себе штампы: «Библиотека НКВД», «Канцелярия НКВД» и других ведомств. Как уже заметили писавшие в последние годы о Краснове исследователи — вряд ли внимательных читателей интересовала одна антисоветская сущность его произведений. Для понятливого эпигона то же «Всевеликое Войско Донское» дает массу аргументов в пользу единоличной власти, особенно в критические моменты истории. А вот что прямо касается представляемого романа «За чертополохом». Те, кто помнит первые послевоенные десятилетия, согласятся, что после 1945 года парадный фасад СССР напоминал все царское, дореволюционное: погоны и мундиры, фактически введенный для инженеров и чиновников табель о рангах, сверхвысокие зарплаты ученых, раздельное обучение мальчиков и девочек, практическое восстановление дореволюционного, классического и реального образования, открытие и восстановление десятков тысяч разрушенных в 30-х годах церквей, духовных школ, монастырей и Академий*. Только в 1957 году «верный ленинец» Хрущев окончательно отдал дело воспитания молодежи на откуп марксистским талмудистам и обрушил очередной удар на Русскую Православную Церковь. Тогда же, в 1957-м, был снят и первый после 1942 года фильм о Гражданской войне. И почти сразу наступило то, что позже назвали «застоем», а в 1991 году — вторым за XX столетие — распадом Российской Империи. Таким образом, в облике нарисованной Красновым «Воскресшей Российской Империи» и сталинской России последних лет жизни вождя — действительно прослеживаются элементы сходства, кроме самого важного: в сталинской России у каждого русского человека по-прежнему не было ни Бога, ни Царя. Вскоре не стало и Отечества, потому что ни одно русское сердце не может назвать этим святым словом оставшийся нам жалкий обрубок Великой, Единой и Неделимой России.

* Возможно, не все знают, что в день смерти Сталина действующих церквей в СССР было значительно больше, чем в 2001 году — через 10 лет «перестройки».

Воин, патриот, писатель, певец души Русской Армии — Петр Николаевич Краснов — уже более ста лет находит себе верных друзей-читателей — от Государя Императора Николая II, русских офицеров, юнкеров, кадет времен Империи, Гражданской войны и Русского зарубежья, где он был самым читаемым из писателей-современников (а были живы И. А. Бунин и А. И. Куприн).

А сегодня уже мы с вами являемся свидетелями второго рождения писателя П. Н. Краснова в родной стране. К изданным в России его произведениям мы добавляем ныне чудесную русскую сказку «За чертополохом». Сказка ложь, да в ней намек...

Ровно сто лет назад, в 1901 году, августейший читатель выразил желание, чтобы о новом приобретении Российской Империи — Маньчжурии и жизни русского человека в ней рассказал понравившийся Ему автор «Русского инвалида» Гр. А. Д. В 2001 году генерал Его Величества Петр Николаевич Краснов представляет нынешнему русскому читателю отчет о путешествии в куда более далекую, чем Маньчжурия, страну, страну мечту — Российскую Империю конца XX века: сильную, могучую, процветающую. Которую уже никто в этом мире не сможет унижить, оскорбить и раздавить.

Роман «За чертополохом» занимает в творческом наследии генерала особое место. Дважды возвращался он к этой теме. Первоначальный текст романа был написан летом—осенью 1921 года — по горячим следам революции и Гражданской войны, пламя которой на Дальнем Востоке еще раздувал неукротимый барон Унгерн, грозя Советам желтым крестовым походом с гор Тибета. Отголоски этих событий чувствуются в романе. Трагедия гибели великой державы, вера в ее грядущее возрождение явно опираются в сюжете на опыт государственного строительства самого автора на посту Донского Атамана — показавшего «торжество яркой индивидуальной личности над бесполезностью и бездарностью коллектива в той среде, где царят невежество и злая демагогия» (45). «За чертополохом» был написан примерно в то же время, что и монументальный роман «От Двуглавого Орла к красному знамени» и историческое эссе «Всевеликое Войско Донское». Неудивительно, что многие темы, касающиеся судеб России, общи для этих произведений. Но самые заветные мысли, вера в великое будущее России вложены Красновым в роман-сказку.

Спустя семь лет он вернулся к нему, наполнив подробностями политического бытия Европы конца 20-х годов — таких, как пакт

Келлога—Бриана об отказе от войн как орудия национальной политики. Пакт подписали в Париже 27 августа 1928 года сначала 15, а потом еще 48 государств (в том числе и СССР). Опираясь на эту дату, мы можем датировать действие романа началом 70-х годов XX века.

России больше нет на картах мира: на ее месте — черное громадное пятно со зловещими красными буквами — «чума»! Союз Советских республик погиб в одночасье где-то в 29—30-м году — в безумной попытке завоевать весь «мир насилия», когда над Красной Армией вторжения взорвались запасенные газовые бомбы, а над миллионами погибших выросли гигантские заросли чертополоха, таящие неведомую заразу. Больше сорока лет ни одна нога не вступала в границы этой бывшей страны. Немногие экспедиции кончались трагедией и были в конце концов запрещены.

И вот несколько бывших русских — потомков эмигрантов 20-х годов — вместе с немецким другом профессором Клейстом решают пробиться сквозь чертополох и своими глазами увидеть, что осталось от их Родины.

Усилия их щедро вознаграждены. Ни в одном из своих многочисленных романов Петр Николаевич не обрисовал с такой, почти пубочной яркостью и ясностью свое видение идеальной русской монархии, поистине народной монархии на началах «Православия, самодержавия и народности». Нигде он так четко и ясно не выразил свой взгляд на русскую историю — как борьбу двух непримиримых начал. Концепция двух исторических России: одна пьяная, ленивая, бунтовская, уродливая, Русь отчаянная и отчаявшаяся, никчемная и гнилая готовая предать все и вся, погубить все заветы предков. Но не она истинная Россия. Россия истинная — вторая Русь — это Русь богатырей Свято-русских, защищавших ее от Соловьев-разбойников и идолищ поганых. Державших в узде и страхе ту первую, пьяную Русь. Создавших прекрасный быт Святой Руси с теремами, соколиными охотами, крепкой верой православной, Домостроем и «Словом о полку Игореве». Эта Русь строила Кремли и храмы, и она же рубила головы той первой, паршивой Руси. Русь — это борьба. Но не борьба классов, а борьба брата на брата, борьба духа Христова против бесовщины. И пока была в силе прекрасная Русь — не было на земле силы противостоять ей. До Памира и Тихого океана дошла белая рубаха русского солдата. Порабощенные народы Азии мечтали о Белом Царе. И много сил и денег понадобилось врагам России, чтобы втравить ее в безумную войну 1914 года и подставить под ее самые страшные удары лучших людей из второй, прекрасной Руси. И когда

погибли они почти все — подняла голову пьяная, паршивая Русь и сорвала в несколько часов остатки Руси царской, императорской. И стала Советская республика.

Теперь мы уже знаем и конец ее.

Пафосом романа является торжество светлой, второй Руси — за чертополохом, где за сорок лет уцелевшие лучшие русские люди с Царем и Патриархом во главе сумели окончательно обуздать и ликвидировать эту первую, никчемную Русь.

Здесь мы приходим вместе с автором к очень важным выводам и решениям — как это удалось сделать. И, что важнее для нас сейчас, как этого можно добиться вообще? Как устроить эту идеальную Святую Русь?

В романе — не было бы счастья — несчастье помогло. На сорок с лишним лет оказалась отрезанной чертополохом Россия от «просвещенного Запада» и могла беспрепятственно заниматься своим домостроительством. Какое же устройство Земли Русской предлагает нам автор? Вся территория страны — по числу жителей — делится на воеводства во главе которых Царем ставится воевода из числа верных, преданных людей. Воевода сам ставит «десятитысячных начальников», тысяченачальников и других — из лучших местных людей. Только десятские — выбираются из десятков.

Строго разделены собственность и власть. Собственник — не может обладать властью. Власть имеющий — не может иметь собственности, все окружающее его — угодья, дом, мебель и т.д. — собственность Государства. Призванный к власти должен по завету Христову оставить все и идти за Богом и Государем. Уничтожается смысл взяток и поборов.

Соблюдается и уважается самобытность регионов. «Великая, единая и неделимая — с большой самостоятельностью своих областей — как неразделенная семья с женатыми и замужними детьми, живущими каждый своим домом, но на общем дворе, собирающаяся на общий семейный совет и слушающая своих стариков». Восстановлены земли Казачьих Войск со всеми привилегиями, и вновь звучит: «Здравствуй Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону».

В Императорской России нет паспортов. Каждый честный верно-подданный может свободно выбирать местожительство и занятие по душе и способностям. Обязательно и платно образование — чтоб ценили, — но при этом всем доступно. Бедных людей нет, но талант вознаграждается очень щедро; есть равенство людей перед законом, «но мы никогда не приравняем убогого дурачка человеку таланта».

Нет частных банков — рассадников спекуляций. Только государственный банк Империи. Слово «банкир» относится к разряду неприличных.

Необычайный рассвет науки и культуры. «Творчество — дар Духа Святого», — любил повторять Атаман Краснов, и эти слова звучат в романе в устах Государя Всея Руси. В православной самодержавной Святой Руси они реализуются с полной наглядностью. В оставшейся преимущественно крестьянской России — больше не горят избы, нет неурожая. Пустыни обводнены без построек каналов и засоления почв. Страна связана сверхскоростными магистралями с крылатыми поездами. Везде радио, теле- и, похоже, лазерная связь — иглосказ.

Отказ от мегаполисов. Даже столичный Петербург настолько компактен, что население, кроме использования нескольких трамвайных линий, предпочитает передвигаться конным транспортом — и приятнее, и экологичнее, говоря по-сегодняшнему.

На высоту поднято патриотическое воспитание — особенно молодежи. Небольшие, но суперсовременные Армия и Флот, сохраняющие при этом исторические знамена, униформы, названия частей и память об их подвигах. Воплощена мечта генерала Краснова, что «в России будет порядок и восстановится Россия тогда, когда по всем медвежьим углам, по маленьким гарнизонам станут полки, батальоны и роты Императорской Армии». Здесь «одна мысль о существовании Армии не допускала в душах и желания беспорядков».

Петру Николаевичу было совершенно естественно предположить развитие науки и техники в Императорской России «вперед планеты всей». Достаточно было окинуть взглядом предшествующее революции десятилетие с его научными и техническими открытиями, выводившими Россию на первое место в мире, что так не нравилось ее недоброжелателям. Сейчас мало кто знает, что еще в 1908 году в России русский ученый О. А. Адамян получил патент на первый в мире действующий телефакс, а в 1911 году Борис Львович Розинг, автор системы телевидения с электронно-лучевой трубкой, изобретенной им в 1907 году, осуществил первую в мире телепередачу! (34).

В этом же — 1911 году у нас был спроектирован первый в мире танк и выпущен первый в мире дизельный трактор (34).

В 1912 году в мире было 15 теплоходов, из них 14 построены в России и один в Германии. В России были созданы первые в мире многомоторные и многоместные самолеты-бомбардировщики дальнего действия, первые ранцевые парашюты, в том числе для десанта боевой техники (34).

Перечислению всего, в чем мы были первыми, можно уделить много страниц. Так что было на чем генералу основывать свое провидение.

А как же, по мнению Петра Николаевича, жил в это время остальной мир при своих «демократических свободах», «социализмах» и «диких капитализмах»? Приведем несколько строк из «Чертополоха», говорящих о «светлом демократическом будущем»:

«Рушились предприятия, кормившие сотни тысяч рабочих, и торжествовал только жирный, разъевшийся, гладко выбритый, с лицом упыря шибер*... Банки нагтели, банковские деятели становились богами».

Сообщения из газет: «Женева. Лига наций. — По поводу войны между Мексикой и Соединенными Штатами было суждение под председательством представителя республики Монако. Война объявлена вне закона. На республику Эквадор возложено обуздание Северо-Американских штатов как командующей стороны. Вооруженные силы республики состоят из пяти старых ветеранов. Лига наций считает, что важно моральное воздействие».

«В Центральной Африке племя людоедов Уистити образовало самостоятельную демократическую республику, коммунистическое Конго двинуло против нее красных вооруженных рабочих. Сражение началось».

«Англия. Лондон... Взорвано здание оперного театра, где шел детский спектакль. Погибло около шести тысяч детей...»

Не правда ли — очень актуально? А сплошное взяточничество чиновников, которым тоже жить надо? Знакомо все, как слепому на ощупь. Хочется опять за чертополох.

Российская Империя генерала Краснова — насквозь недемократична и при этом необычайно свободна для всякого добра и доброго делания. На ее примере мы видим — о чем уже поминалось выше, — что те же меры, что применялись, например, и в сталинской России: резкое ограничение свободы слова, цензура, обязательное идеологическое воспитание подрастающего поколения — читатель может привести еще массу примеров — служат во благо и расцвету нации, народа, культуры, ремесел, науки, промышленности, армии и государства, если делаются ради Бога и Государя, им помазанного, и превращаются в дьявольскую пародию в любом другом случае.

Окружающая нас действительность далека от описываемой генералом идеальной России. Но его книга заставляет чаще биться русское сердце и верить, что еще не все для нас потеряно. Надо пробиться за чертополох в собственных душах, и тогда, милостью Божией, перед нашими глазами раскинутся необозримые просторы Российской Империи.

*Борис Галенин,
военный историк.*

* Шибер — по Далю — сомнительный делец, спекулянт и т. п.

Библиография

1. П. Н. Краснов. На внутреннем фронте. Архив Русской революции, изд. И. В. Гессеном (далее АРР), т. 1, Берлин, 1921 г., Москва, «Терра», 1991, с. 97—190.
2. П. Н. Краснов. Всевеликое Войско Донское. АРР, т. 5, Берлин, 1922; М., 1991 с. 191—321.
3. П. Н. Краснов. За чертополохом. Книги 1—2. Изд. 2, исправленное и дополненное, Рига, «Граматы Драугс», 1928—29 гг.
4. П. Н. Краснов. Павлоны. Париж, 1943 г.
5. П. Н. Краснов. Казаки в Африке. Дневник начальника конвоя российской императорской миссии в Абиссинии в 1897—98 гг. — СПб. 1899 г.
6. П. Н. Краснов. По Азии. Путевые очерки Маньчжурии, Дальнего Востока, Китая, Японии и Индии. — СПб, 1903 г.
7. П. Н. Краснов. Борьба с Китаем — СПб, 1903.
8. П. Н. Краснов. В сердце Закавказья. Очерки. Русский инвалид. 1902—1903 гг.
9. П. Н. Краснов. Год войны. 14 месяцев на войне. Очерки русско-японской войны с февраля 1904 г. по апрель 1905 г. т. 1—2. СПб., 1905—1911 гг.
10. П. Н. Краснов. На рубеже Китая. Париж, 1939.
11. П. Н. Краснов. Накануне войны. Париж, 1937.
12. П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла к красному знамени. 1894—1921. Берлин, 1921—22, М., «Техномарк», 1996 г.
13. П. Н. Краснов. Тихие подвижники. Венок на могилу неизвестного солдата Императорской Российской армии. Варшава, 1924, М., «Страстной бульвар» 1922.
14. П. Н. Краснов. Душа Армии. Очерки по военной психологии. Берлин: Медный всадник, 1927, с. 27—155; М. «Русский путь», 1997, с. 37—155.
15. П. Н. Краснов. Подвиг. Париж, 1930.
16. П. Н. Краснов. Цареубийцы. 1 марта 1881 г. Париж, 1938, М. «Панорама», 1994.
17. П. Н. Краснов. Ложь. Париж, 1939.
18. Н. Н. Краснов-мл. «Незабываемое (1945—1956)», Сан-Франциско, «Русская жизнь», 1957 г.
19. Альбом Кавалеров ордена Св. великомученика и Победоносца Георгия и Георгиевского Оружия. Издание Общества Кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского Оружия. Белград. 1935.
20. Белая Гвардия. Альманах № 3. М. «Посев», 1999—2000. Очерк об участии 1-го Офицерского генерала Маркова полка во втором Кубанском походе, с. 23—36.
21. Н. Н. Берберова. Люди и ложь. Русские масоны XX столетия. Нью-Йорк, 1986.

22. Н. Н. Брешко-Брешковский. Дикая дивизия. М. «Московская правда», 1991 г.
23. Ф. Винберг. Крестный путь. Ч. 1. Корни зла. 2-е изд. Мюнхен, 1922; СПб. «София», 1997.
24. «Военная быль» № 3 (132), июль—сентябрь 1993 г., М.
25. Н. Н. Головин. Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. Ч. III. Интервенция врагов и союзников. Кн. 6. Гл. XIII—XIV. Ч. V. Всевеликое Войско Донское. Кн. X. Гл. XXII. Приложение к «Иллюстрированной России» на 1937 г.
26. Генерал Макс Гофман. Война упущенных возможностей. Госиздат, М.-Л., 1925 г.
27. Душа Армии. Русская военная эмиграция о морально-психологических основах российской вооруженной силы. Российский военный сборник № 13, М. «Русский путь», 1997.
28. К. А. Залесский. Первая мировая война. Правители и военачальники. Биографический энциклопедический словарь. М., «Вече», 2000 г.
29. Г. М. Катков. Февральская революция. Париж, 1985.
30. В. С. Кобылин. Анатомия измены. Истоки антимонархического заговора. СПб, 1998 г.
31. Герцог Г. Лейхтенбергский. Как началась «Южная Армия». АРР, т. 8, с. 166—182. Берлин, 1923; М. 1991.
32. Ген. Эрих Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. Т. 1—2, М, 1923—24.
33. В. Д. Матасов. Белое движение на Юге России. 1917—1920 гг. Монреаль, 1991 г.
34. Николай II. Венец земной и небесный. Сб. док. Сост. Вл. Губанов, М. «Лестница», 1998 г.
35. К. Новиков. «Всяк кузнец»... Послесловие к роману П. Н. Краснова «Цареубийцы», М., «Панорама», 1994, с. 293—303.
36. Россия в войне 1914—1918 гг. (в цифрах). М., ЦСУ, Отдел военной статистики, 1925.
37. Н. Н. Рутыч. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. М., «Regnum» — «Российский архив», 1997.
38. С. Ю. Рыбас. Генерал Кутепов. М., «Олма-Пресс», 2000 г.
39. Светлый отрок. Сборник статей о Царевиче — мученике Алексее и других Царственных мучениках. М., «Диалог», 1990.
40. Адмирал Альфред фон Тирпиц. Воспоминания. М., «Воениздат», 1957.
41. Н. Д. Толстой. Жертвы Ялты. М., «Воениздат», 1996.
42. В. С. Трубецкой. Записки кирасира. В сб.: Князь Трубецкие. Россия восприняет, М., «Воениздат», 1996 г. с. 367—509.
43. А. Г. Шкуро. Записки белого партизана. М., 1991.
44. В. В. Шульгин. Дни. 1920. М., «Современник» 1989 г.
45. Г. Щепкин. Донской Атаман генерал от кавалерии П. Н. Краснов. 1918 г. май—сентябрь. Новочеркасск, 1919 г.
46. Н. Н. Яковлев. 1 августа 1914. Изд. 3, дополн. М., «Москвитянин», 1993.

П. Н. КРАСНОВЪ

ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ

Фантастическій романъ

Издание 2-ое исправленное и дополненное авторомъ

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАМАТУ ДРАУГСЪ“
РИГА, ПЕТРОЦЕРКОВНАЯ ПЛОЩАДЬ 37

1

9

2

8

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Что имеем — не храним,
Потерявши — плачем*

I

Был первый час ночи. Музыкальные куранты на колокольне Gedachtniss-Kirche только что пробили ночную молитву, и в затихшем прохладном воздухе она звучала внушительно и трогала сердце. Трамваи уже не ходили, и редок был гул подземной дороги. Прохожих было мало. Они быстро сворачивали с широкого Kurfurstendamm'a в тенистые боковые улицы и исчезали под развесистыми каштанами UhlandstraBe, FasanenstraBe и других тихих улиц. Строгий демократический Polizeistunde* давно пробил, и все увеселения Берлина закончились. Гасли одно за другим окна в громадных каменных домах. Лишь кое-где из таинственных Nachtlokal'ей** пробивался сквозь ставни узкой полоской свет и слышались звуки пианино, флейты и скрипки — играли все тот же чарльстоун. Из пятого этажа, из открытого темного окна, томно звенела мандолина, и чей-то женский голос негромко пел сладкую немецкую песенку. Тихая июльская ночь стояла над городом.

В эту ночь Петр Коренев, молодой художник, позвонил у величественного мраморного подъезда на Uhland-strafie в том ее месте, где она узкой улочкой, совершенно заросшей деревьями, образующими зеленый свод, подходит к KantstraBe.

Швейцариха долго не отворяла. Он позвонил еще раз. Она высунулась в маленькое окошечко и сердитым сонным голосом спросила: «Вы к кому?»

* Комендантский час (нем)

** Ночных ресторанов (нем)

— К доктору Карлу Клейсту, — твердо выговорил молодой человек.

— Доктор спит, — сказала швейцариха.

— Может быть, может быть, — проговорил настойчиво художник, — но мне его все-таки нужно сейчас видеть.

При свете недалекого уличного фонаря он был весь виден. Небольшая красивая голова с тонкими чертами лица, с копной волос, по тогдашней моде без шляпы, просторная белая блуза с большим отложным воротником, открытой шеей и грудью, подхваченная широким поясом из эластичной полосатой материи, и черные штаны не внушали доверия швейцарихе, но она узнала посетителя. Действительно, этот молодой человек часто бывал у доктора Клейста. Она скрылась в окно. Сейчас же хрипло запищала дверь, давая знать, что замок снят. Коренев надавил на нее и вошел в темные сени. Проклятая старуха не потрудилась дать ему света, и он стал нащупывать по стенам знакомую кнопку.

Доктор Клейст жил на четвертом этаже. Коренев поднимался медленно. Чем ближе подходил он к двери, тем больше его охватывала нерешительность.

«Прав ли я, — думал он, — беспокоить господина Клейста в такой поздний час? Разве нельзя подождать до завтра?»

Он остановился перед высокой дубовой дверью, покрытой лаком и почему-то напомнившей ему крышку тяжелого немецкого гроба.

«Нет, не могу, — подумал он, — на этот раз я слишком уверен, что это так и было. Я не могу вернуться домой, я не могу спать, я должен решиться и начать действовать. Там — правда! Родина есть. Она зовет меня!»

Коренев приподнял бронзовый рычажок звонка, и сейчас же за дверью навязчиво-тревожно, будя ночную тишину, задребезжал электрический звонок.

Доктор Клейст не спал. Послышались его широкие тяжелые шаги, и хриплый бас сдержанно спросил:

— Кто там?

— Это я, Петр Коренев, по неотложному делу. Дверь сейчас же открылась, и в полумраке прихожей показалась высокая полная фигура доктора Карла Клейста.

Ему было за семьдесят. Громадная голова с точеными резкими энергичными чертами лица была покрыта гривой седых волос, чуть выщипанными прядями спускавшихся к плечам. Большое, желтое, точно из слоновой кости, лицо было чисто выбрито, и тонкого рисунка губы лежали над широким, выдвинутым вперед подбородком. Одет он

был со стариновской небрежностью в легкий чесучовый пиджак, застегнутый доверху, и смятые, не первой свежести, такие же желтовато-белые брюки, небрежно застегнутые и сваливавшиеся с большого живота господина Клейста.

— Простите меня, господин Клейст, — начал было Коренев, но Клейст не дал ему договорить.

Широкой ладонью он охватил его за талию и повлек из прихожей в кабинет, где уютно горела лампа и под ней грудой были навалены бумаги, книги и чертежи.

— Я помешал вам работать, — сказал смущенно Коренев.

— Пустяки, мой милый друг. Ну что же?.. Опять?

— Да, — сказал, опуская глаза и сильно краснея, Коренев. — Опять! И на этот раз, господин доктор, я смею вас заверить, что это так и было. Я имею вещественное Доказательство.

Коренев полез в карман.

— О! — сказал Клейст. — Это уже важно. Однако я бы хотел еще раз и самым подробным образом прослушать всю эту необыкновенную историю.

— Я буду счастлив вам ее рассказать.

Доктор Клейст удобно уселся в большом кожаном Klubsessel*, раскурив дорогую сигару и приготовился слушать.

II

С некоторых пор Коренев нехорошо себя чувствовал. Это не было физическое недомогание, у него ничего не болело, но страшная душевная тоска томила и гнала его. Тоска по Родине, по угасшей, умершей России.

Родился Коренев в 19.. году, тогда, когда уже с достоверностью было известно, что Россия вымерла от голода и чумы. Ребенком он слышал рассказы об этой ужасной истории. Союз советских республик, бывшая Россия, изнемогая от хронического голода, в сознании, что коммунистическое государство не может существовать среди государств капиталистических, буржуазных, решил проповедовать социализм огнем и мечом. В надежде на поддержку коммунистических партий во всех государствах Европы III Интернационал, правивший тогда Россией, собрал неслыханно большую армию голодных людей. Говорили, что она достигала 80 миллионов! Тут были и дети — пи-

* Мягкое кресло (нем.).

онеры, и юноши, и девушки — комсомольцы, и рабочие, и крестьянские полки. Вся страна к этому времени была милитаризована, или, как говорили тогда, военизирована.

Это было вскоре после того, как в Париже, в торжественном заседании по инициативе министра-секретаря Соединенных Штатов Келлога, в присутствии и при участии министров иностранных дел всех государств, в том числе Франции — Бриана, Германии — Штресемана, Польши — Залеского, был подписан золотым пером, подарком города Гавра г. Келлогу, пакт мира. Война была объявлена вне закона. На золотом, художественно сделанном пере было выгравировано: «Si vis pacem — para pacem» («Если хочешь мира — готовь мир»). Тогда во всех странах пошатнулось военное обучение. Солдаты отказывались изучать военное дело, дисциплина пала. Этим и воспользовался III Интернационал, чтобы нанести решительный удар всему цивилизованному миру.

Несчетные полчища голодных людей, в лохмотьях, сопровождаемые толпами женщин и всякого сброда с подводами, чтобы увозить награбленное добро, с ревом «Интернационала» ринулись к границам.

Рассказывали, что особое получастное, полугосударственное общество «Авиахим» при помощи немецких ученых приготовило какие-то новые, неслыханной силы и мощности, смертоносные газы. Газы эти в бомбах-баллонах предполагалось поднять на аэропланах и сбросить на армии врага.

По ночам вся граница советской земли от Финского залива до Черного моря, все Закавказье, все азиатские границы пылали множеством костров, и очевидцы рассказывали, что в приграничных деревнях можно было слышать дикое пение:

Это будет последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Европа металась в ужасе. Развращенные местными коммунистами солдаты отказывались идти на войну. Мобилизация была сорвана. Всюду были забастовки.

Горели кем-то подожженные фабрики военного снаряжения и интендантские склады. Железные дороги отказывались перевозить верные правительства части — полиции и немецкого рейхсвера. Европа готовилась капитулировать перед голодными, озверелыми, воору-

женными бандами. Во многих ее государствах уже пробирались к власти коммунисты. Крестьяне закапывали хлеб, баррикадировали свои фермы, вооружались ружьями и пулеметами, снабжались противогазовыми масками.

Но тут распространился слух, что газы, изобретенные «Авиахимом», имеют свойство сжигать всякую маску и убивать людей, даже в противогазах.

Паника становилась ужасной. По городам ходили шествия рабочих с красными флагами и грозно пели:

Мы — пожара всемирного пламя,
Молот, сбивший оковы с раба.
Коммунизм — наше красное знамя,
И священный наш лозунг — борьба.

Казалось, настал день гибели Европы. Поднимали голову «евразийцы» — отвратительная помесь коммунистов со славянофилами.

Но вот тут что-то случилось.

Мать Коренева рассказывала своему единственному сыну о том, что произошло на границе в этот страшный год. Она тогда уже умирала в изгнании, и Коренев хорошо запомнил ее тихий, волнующий шепот.

Случилась там катастрофа, или в последнюю минуту коммунистам изменили их летчики, но только вдруг поднявшиеся аэропланы стали сбрасывать баллоны с удушливыми газами над станом самих коммунистических войск. Произошла детонация, и огромное количество особых ручных газовых гранат, которыми были снабжены все части Красной армии, вдруг взорвались.

— Это было в июльские, небывалые жары. В воздухе было тихо и безветренно, — говорила мать Коренева. — И, как подкошенная трава, по границе валились миллионы согнанных на нее людей. Вся порубежная полоса России оказалась покрытой на протяжении нескольких верст трупами. Над ними желто-зеленой плененой тумана стоял газ. Никто не смел подойти близко к этому страшному кладбищу непогребенных людей, и они стали разлагаться.

Еще рассказывали Кореневу те, кто пережил эти события, что, когда стало разлагаться это невероятное количество трупов, то там появилось несметное количество мух. Укус этих мух нес чуму. Пришлось отнести государственные границы на несколько верст, и к тому месту никто никогда не приближался. Прошло несколько лет. Мириады мух и особого вида до той поры неизвестной мошкары развелось

там, граница поросла чертополохом, который разросся так широко и густо, что пройти через него стало невозможно. Даже берега морей и самые прибрежные воды кишели бактериями и мошкаррой, заражавшей людей страшной формы чумой. Неоднократно люди делали попытки проникнуть то с суши, то с моря в эту страну, которая носила когда-то наименование России, но все попытки были неудачны. Люди, не перейдя чертополохового поля, заражались и умирали. На кораблях, как только вдали начинало обрисовываться мутное очертание берега, страшная тревога охватывала экипаж; появлялись заболевания; люди сходили с ума, отказывались повиноваться капитанам и самовольно меняли курс кораблей.

И никто не был там после страшного, зловещего 19.. года, когда перебиты были остатки русского племени.

Коренев слышал об этом только рассказы. Он родился в русской эмигрантской семье, был крещен в православной вере, но считался германским подданным и воспитывался и учился в немецкой школе. В школе кратко преподавалась история России. О России говорили так же глухо и темно, как о мидянах, ассирийцах, вавилонянах. Русский язык изучали лишь в восточном отделении университета, где смотрели на него как на мертвый язык, подобный санскритскому, греческому или латинскому, и пользовались им только некоторые ученые, посвятившие себя изучению русской литературы и искусства.

К числу таковых принадлежал знаток русского языка и русской истории, доктор Карл Феодор Клейст.

Коренев рано лишился отца. Его мать воспитывала его до пятнадцатилетнего возраста, и от нее он научился чисто говорить по-русски, наследовал кое-какую библиотеку русских книг, и ею же был поручен доктору Клейсту, старому другу его отца, для дальнейшего воспитания.

Всю силу любви к родине, всю страстную тоску по России вложила уже увядающая мать в своего сына.

Она умирала без покаяния, без причащения. В те времена религия была признана вредной и была запрещена, храмы закрыты, священники упразднены. Она призвала сына, благословила его, читала на память молитвы над ним и, когда уже холодела благословляющая рука, стоном пронеслось по маленькой комнатке немецкой квартиры:

— Петр, люби Россию! Петр, твоя родина там... Петр, жива, жива Россия!.. Люби ее свято!..

Петр не забыл ни матери, ни ее заветов, но любить Россию, помнить родину он не мог. Он никогда не видал ее, он ничего не знал

про нее, и на карте Старого Света, висевшей в классе, он неизменно видел на месте Российской империи громадное черное пятно и надпись зловещими красными буквами: «Чума!..»

У него оказались богатые способности к рисованию. Он поступил в высшую художественную школу и вскоре стал лучшим ее учеником. Там сошелся он с немецкой девушкой, Эльзой Беттхер, ученицей доктора Клейста, изучавшей у него русский язык и русское искусство, и они подружились. Коренев учил ее разговорному русскому языку, ввел в небольшой эмигрантский кружок госпожи Двороконской и работал с ней в одной студии. Между молодыми людьми было решено, что они пойдут к полицейскому комиссару, чтобы сочетаться браком, как только заработают денег, чтобы быть в состоянии самостоятельно устроиться.

Все шло хорошо. Туманный образ России, никогда не виданной, не существующей, постепенно изглаживался из памяти и испарялся из сердца Коренева, как исчезает запах духов на платке любимого, давно умершего друга, как исчезает ясным утром туман, осевший в долинах. И что иное была Россия, как не туман, когда утро двадцать первой весны наступало для Коренева и сердце его могуче билось от сознания своего недюжинного таланта и сильной разделенной любви к прекрасной золотокудрой красавице?

И вдруг началась эта тоска, необъяснимая, жгучая, темными тучами наполняющая душу.

Почему тоска? О чем думы?

Он сам не знал. Но вот уже год с усердием антиквара разыскивал он по книжным и эстампным магазинам, у старьевщиков на Вильгельмштрассе гравюры, открытки, литографии, фотографии — все, что осталось от России. Он ездил в Баварию, где в одном древнем замке сохранилась русская библиотека и картины русской жизни. Он бросил уроки живописи в студии, где его заставляли искать что-то новое, копировать лошадей с рыбьими головами, женщин с козлиными ногами, писать зеленое небо и голубую траву, но со страстью воспроизводил по выцветшим открыткам русских мужиков, бурлаков с Волги, могучих крючников, старых запорожцев, седобородых бояр. Он рисовал небо, ельник и песок, березки у приземистой черной избушки, занесенной снегом.

Особенно полюбил он Потсдам. Там, читая в русской колонии на немецких домиках, населенных типичными немцами, русские фамилии и имена, он думал горькие думы. Ничего, ничего не осталось от тех богатырей, песенников-гвардейцев, которых подарил император Николай I прусскому королю — они выродились и стали немцами. Ни

в типе, ни в говоре, ни в манере жить ничего не было русского. Обваливается заплетенная паутиной внутри и зеленым плющом снаружи старая православная церковь, и уже более пятидесяти лет, с самой войны, не раздавалось там на славянском языке слово Божие. Исчезло все русское. Так исчезает русское и в остатках эмиграции.

Тоска охватывала его на круглой улице, идущей вокруг колонии, под могучими, в три охвата, дубами, у чистеньких садов и огородов, с жителями, которые давно забыли, что они русские.

«Что же? — думал Коренев. — Ужели правда? Мидяне и вавилоняне, греки и римляне — и остались только пыльные манускрипты, иероглифы, свитки красивых поэм, написанных гекзаметрами, тонкий аромат изящной жизни и развалины городов и храмов. От России и того не осталось. Черное место на карте, и надпись «Чума» красными буквами».

Коренев шел из колонии в парк Сан-Суси и чувствовал, как тоска нарастала, как мучил и тревожил какой-то странный, по-родному зовущий голос, и он не находил себе покоя от ожидания чего-то необычайного, непонятного и необъяснимого, как молния, падающая с ясного неба, как зарница, тревожно мигающая в ночной дали за алым закатным небом.

И там-то, среди печальной роскоши парка Сан-Суси, похожего на прекрасную вдову с мраморно-белым тонким лицом, рисующимся на черных кружевах плерез, и случилось первый раз то, что заставило его в конце концов поздней июльской ночью спешить к доктору Клейсту, открыть ему душу и просить у него помощи и совета.

III

Был ясный весенний вечер. Коренев, задумавшись о России, шел к новому Потсдамскому дворцу.

На алом небе темными зубцами рисовались статуи, поставленные вдоль крыши дворца. По широкому плацу стлался белым облаком весенний туман. Никого не было кругом. Стояла влажная, задумчивая тишина, какая бывает только весной, когда в сладких муках, нагретая солнцем, родит земля голубые фиалки, душистые нарциссы, белые анемоны и хрупкую примаверу. В воздухе застыл запах липовой почки, нарцисса и влажной земли. Коренев повернулся спиной к дворцу. Громадные дубы раскинули во все стороны черные ветви, покрытые желтым пухом и, казалось, думали свои вековые думы, и ветви их были, как руки, простертые Богу для молитвы.

Щегленок с красной шейкой и серой спинкой вспорхнул с куста, подлетел к ногам Коренева и прыгал перед ним. Он просил хлебных крошек.

Коренев повернул от главной аллеи и пошел в узкий коридор, где между стеной остриженного темного бруска на зеленой лужайке, как призрак, стоял памятник императрицы Августы в старомодной шляпке и платье с узкой тальей.

Кореневу стало страшно этой статуи, и он повернул назад к дворцу.

Главная аллея зеленовато-сизыми туманами тонула вдали. Косматые буки переплетались наверху, образуя темные своды. Плющ опутал их стволы и спускался прядями, точно волосы. Вправо, на обширных лужайках, как белое озеро, стал туман, и из него, как привидения, в мутной дымке выплывали прозрачными силуэтами липы, дубы и черные ели. Деревья и кусты парка сливались в густую тьму, и над ними висело холодеющее небо цвета густого ультрамарина. Вечерняя звезда загорелась над уходящей к небу аллеей.

В природе совершалось какое-то таинство, и страх липкими струями крался по спине Коренева и свинцом наливал его ноги. Казалось, вот-вот он увидит что-то неизъяснимо страшное. Заговорят деревья, из земли выдвинутся белые призраки, хороводы русалок, гонимые ухающим лешим, помчатся вокруг туманом покрытых прудов.

Но стояла ужасная тишина. Никогда Коренев раньше не понимал всего значения тишины природы, когда ни одна ветка не зашелестит, ни один лист не упадет с дерева.

Коренев не мог идти. Ему казалось, что он врос ногами в землю, что он стал сам, как косматый дух, и неся с землей к какой-то светлой точке, вдруг показавшейся вдали, на востоке, на быстро темневшем небе. Кто она — эта точка?

«Россия, — сказал сам себе Коренев. — Россия!» И жуткая радость сжала до боли его сердце, и оно затрепетало, как трепещет птичка в руке поймавшего его мальчика.

Белая точка росла и близилась. Точно облачко тумана спускалось на землю, прямо к Кореневу, и не мог он двигаться. Облачко зацепило сухую ветку, и с тихим шорохом, звонко ударяясь о другие ветви, упала она.

А облачко ближе. Видит Коренев, что это уже и не облачко вовсе, а прекрасная девушка быстро спускается на землю. Уже коснулись белые ножки в кожаных сандалиях, оплетенных голубым шнурком, песка аллеи, заскрипел песок, виден развевающийся по воздуху белый хитон, шитый восточным узором по вороту, видно блед-

ное лицо и густые русые волосы, заплетенные в две толстые косы, упавшие спереди вдоль прямо опущенных рук. Тяжело дышит взволнованная грудь, и синие глаза глядят на Коренева с громадной, неземной любовью. Так в минуту ве-дикой тоски смотрит мать на сына и молит его вернуться к ней, к ее ласкам, к ее чистой любви.

Это продолжалось секунду. Но эта секунда показалась Кореневу вечностью. Он запомнил все до малейшей подробности.

И уже отделилась она от земли, уже поднялась над высокими буками, растаяла в сумраке ночи.

И только радость, радость необъяснимая, чудная охватила все существо Коренева, и он пошел, счастливый и взволнованный, по аллее уснувшего парка.

Деревья теснились вдоль аллеи, в темном переплете ветвей рисовались белыми призраками мраморные статуи римлян, похищающих сабинянок. Корнев от пруда с золотыми рыбками свернул направо. Луна вставала над деревьями и светилась голубым пятном на крупе мраморной лошади, на которой глубоко сидел всадник в высоких ботфортах. Корнев шел, и радость чего-то необычайно прекрасного, что он увидел, продолжала сжимать его сердце.

Он вошел в тополевою аллею. В мутный просвет между пирамидальных тополей светились огни Потсдама. Глухо гудели вагоны трамвая, и звенели звонки кондуктора.

Радость не покидала его.

«Почему радость? — подумал Корнев, и сам себе ответил: — Это Россия... Я увидел Россию» — и гордостью преисполнилось его сердце.

IV

Корнев никому ничего не сказал о том привидении, которое он видел. Он вернулся домой. Будни обступили его: забота о хлебе насущном, уроки, писание картин на продажу... И сильнее стала тоска, мучительнее желание познать, что есть родина, что живешь не чужой, не бездомной собакой скитаешься по чужим дворам, всем одинаково влияя хвостом, но согрет великой и святой любовью к могучей матери — родной земле.

И росла тоска, доводила до отчаяния. Жаждал Корнев хотя призрака: чтобы опять, как тогда, устремились на него голубые глаза из-под темного соболя бровей, показались бы русые толстые косы

с голубыми лентами, тяжело, порывисто поднималась бы грудь и радость сжала бы сердце до боли! И знать, что это Россия. Жива Россия! И не черное пятно там с надписью «чума», не бактерии, мошкара и туманы, а эта девушка в белом хитоне, с зовущими, любящими глазами.

Корнев сох. Жаждал увидеть ее снова и сказать ей, только три слова сказать: «Правда, жива Россия?..» Только два слова молвить: «Ты — Россия?» Или хоть одно успеть ей сказать: «Россия!» В этом слове было все для Коренева.

Эльза Беттхер любящим сердцем угадала, что на душе у Коренева творится что-то небывалое.

— Петер, вам надо рассеяться, — говорила она, — Петер, вы заработались, поедemте wandern* по Баварии и Тиролю! Как в прошлом году — в компании студентов и художников, с гитарами и мандолинами на пестрых лентах, с веселыми, бодрыми песнями о родине, о старой, счастливой Германии Шиллера и Гете!..

Эльза тянула Коренева делать Ausflug** из Берлина, старалась развеять его. Мрачнее становился Корнев. Песни Эльзы говорили ему о любви к Родине, и слово Vaterland*** звучало часто в песнях юных студентов. Родины не было у Коренева, и слова эти, и песни мучительным огнем сжигали его сердце. Он худел и жетел.

В Вердере цвели вишни. Весь Берлин спешил туда упиться очарованием подвенечного наряда земли. По Гавелю сновали пароходы, переполненные пассажирами. На железной дороге брали места с боя. В самом Вердере лошади с трудом тащили вагоны конной кареты. По широкой деревенской улице между шпалер цветущих вишен, яблонь и абрикосов в бело-розовой дымке садов, как в волшебном царстве, двигалась сплошная толпа берлинцев. Публика спешила на Friedrichs-Hohe, к ресторану, чтобы оттуда смотреть на широкие горизонты земли, уснувшей в волшебной грезе весенней сказки.

Корнев в большой компании молодежи сидел за столиком деревенского ресторана на вершине горы. Внизу голубел и розовел, отражая вечернее небо, точно муаровая лента, протянувшийся между цветущих садов Га-вель. На том берегу заснул, точно музейная редкость, древний городок, со средневековым очарованием крутых

* Путешествовать в компании пешком по Германии. Любимое занятие молодежи; буквально — «wandern», значит «бродить» (нем.).

** Поездка за город, пикник (нем.).

*** Отечество (нем.).

деревенских крыш, башен, массивных церквей и мелодичным звоном вечернего благовеста. Он говорил о тишине, о запрещенной вере Христовой, будил воспоминание о тех временах, когда не было классовой борьбы, но люди любили друг друга.

Вокруг гомонила толпа. Солидные немцы курили сигары и стучали о стол кружками. Порхали кельнерши и кельнеры, мотая салфетками и разнося десятки пивных кружек. Трещала немецкая речь, мальчишки звонко кричали, предлагая вечернюю газету.

Коренев отошел от своей компании и, подойдя к каменной лестнице, спускавшейся в сады вишневых деревьев, облокотился о железные перила. Солнце еще было высоко, и под ним в белом кружеве ветвей, усеянных цветами, ярким золотом сверкал песок. В воздухе было тихо, природа млела в весеннем благоухании, точно любуясь сама собой.

До Коренева долетал неясный гул голосов, несшийся из ресторана, вырывался заразительный женский смех, и обрывками всплывала музыка. Трубачи играли где-то далеко сладкий, голову кружащий старый вальс. Эльза Беттхер подошла к Кореневу и своей горячей щекой прижалась к его бледной щеке. Потом она отошла от него, поднялась на одну площадку, и Коренев остался один.

На мгновение Кореневу показалось, что он не слышит говора толпы и музыка не поет сзади него зовущими звуками. По небу опять плыло белое облачко, плыло, опускалось к земле, точно стайка белых голубей, и вдруг упало в самую толщу вишневых дерев. Все внимание Коренева было обращено туда, куда опустилось это странное облако. Какая-то надежда радостным волнением охватила Коренева. Опять, как тогда вечером в Потсдаме, шибко билось сердце, и страх, и радость мучительно врывались в него.

И вдруг снизу, из полной тишины вишневого сада, где не трепетала ни одна ветка, раздался зовущий нежный голос.

— Петр! — позвал кто-то по-русски. Коренев стал весь внимание, насторожился, вытянулся, тонкие пальцы впились в железную решетку.

— Петр! — раздалось дальше из сада, и тоска слышалась в девичьем голосе.

Коренев сорвался с места и, прыгая через три-четыре ступени, сбегал в сад.

Вишневый цвет душистыми волнами обступил его. Всюду были толстые прямые ветви, густо усеянные большими белыми цветами. Они закрыли небо, закрыли гору с шумящей толпой гуляющих, и было среди них, как в белом храме во время молчания литургии. Эти ветви кружили голову, опьяняли, лишали сознания...

Среди ветвей, чуть прислонившись к черному стволу вишни, в том же белом хитоне с золотым восточным узором вдоль ворота, стояла та же девушка с голубыми глазами, с русыми косами и бледным, утомленным лицом.

Коренев кинулся к ней. Он уже не боялся ее. О! Все равно, кто бы ни была она — призрак, греза, хотя сама смерть, — он знал, что она — Россия, что она из России. Он спросит ее, как там и что. Она скажет ему волшебное слово, скажет ему, что и у него есть Родина...

Но едва он сделал шаг по направлению к ней, как она тяжело вздохнула, отделилась от земли и вдруг скрылась, белая, среди переплета белых ветвей, в нежном аромате цветущих садов.

Коренев поднял голову. Ничего... Синее небо, заслоненное белыми цветами, гудит наверху толпа, четко доносится пение девочек:

Mariechen sass auf einem Stein,
Auf einem Stein,
Auf einem Stein...*

Гудит на реке пароход, и Эльза кричит сверху: «Петер! Петер!...» Ничего и не было. Все показалось, как тогда в Потсдаме. Все исчезло, как тогда в Потсдаме, и оставило только странную радость душевную. Прочную уверенность, что жива Россия, что и у него, Коренева, есть родина, которой может он гордиться. Он поднялся наверх и едва не упал на руки Эльзы.

Так был он потрясен, взволнован, так потерял свои силы.

Он шел, опираясь на ее руки, и люди думали, что он упился яблочным сидром, а в виски, как молоточки, стучали детские голоса:

Und kammte sich ihr goldenes Haar,
Ihr goldenes Haar,
Ihr goldenes Haar...**

Он не помнил, как тогда он доехал. Эльза привезла его, Эльза уложила его в постель. Он был болен. В кошмарах снилась ему революция. Он убегал по бесконечному лабиринту комнат, зал и ко-

* Мария сидела на камне, на камне, на камне... (нем.) — немецкая детская песня-игра.

** И причесывала свои золотые волосы, свои золотые волосы, свои золотые волосы... (нем.).

ридоров, за ним гналась громадная толпа, улюлюкала, кричала, грозила. Все провалилось в бездну, и он скакал на каком-то мохнатом невиданном звере, и что-то белое лежало у него на руках. Он знал, что это белое была «она».

Пролежал он два месяца, потом медленно оправился. Читал русские сказки, и жизнь казалось ему скучной. В окна его комнаты в Wilmersdorfe доносились гудки автомобилей, гул железной дороги, миллионный город трясся и кипел вокруг него, волнуемый страстями; шиберы носились на лимузинах, рабочие умирали в садах, парках, кидались в каналы, шли жестокие схватки политических партий; пролетариат объявлял о своих победах, капитал погибал, рушились предприятия, кормившие сотни тысяч рабочих, и торжествовал только жирный, разевшийся, гладко выбритый, с лицом упыря, шибер, наживавший деньги на победе пролетариата и на падении капиталистов. Банки нагтели, банковые деятели становились богами...

Коренев чувствовал, что так дольше не могло продолжаться, что где-то должна была быть правда, что где-то должен был творить свою волю истинный Бог.

Ведь не зря же являлась к нему эта странная девушка-греза. Не в воображении же только спускалась она к нему с высокого неба, и не напрасно звала его так же мило по-русски, как когда-то звала его мать: «Петр! Петр!»

В июле Коренев выздоровел. С новой страстью стал он работать в мастерской, делал поездки за город с Эльзой, но охладел к ней, и Эльза чувствовала это и ревновала его. К кому? Сама не знала.

Сегодня он вернулся уже почти ночью на свою квартиру. Странно спешил домой, точно ждал чего-то. Опять, как тогда, при появлении призрака, билось его сердце. Вошел в комнату, открыв ее своим ключом. Никого в ней не могло быть со вчерашнего дня. А кто-то был. В широко открытое окно лился на письменный стол мягкий лунный свет, и виден был листок белой бумаги. Стул был отодвинут, горшки цветов, стоявшие на окне, были сброшены на пол, но не разбились. В самой комнате сквозь запах влажной улицы чуть пробивался нежный аромат восточных духов и кружил голову. И Коренев понял: она была у него. Она оставила записку. Коренев подошел к столу. Листок тонкой бумаги. Широкий, тонкий девичий росчерк. Два слова: «Я жду». Внизу две линии — страны света, по-русски: восток, запад, север и юг — и стрелка на восток...

Она была!.. Она зовет!.. Она ждет!..

Вне себя Коренев кинулся из дома и побежал с листком бумаги к старому Клейсту.

V

Клейст долго и внимательно рассматривал поданный ему Кореневым листок тонкой, чуть желтоватой бумаги с водяными линиями.

— Бумага нездешняя, — задумчиво сказал он. — Это настоящая тряпичная бумага из хороших полотняных тряпок. Такой бумаги теперь нигде нет. Все эрзац из камыша, из разной дряни. На такой бумаге в довоенное время печатали ассигнации. Ах, хорошие были ассигнации! Да, странно...

— «Я жду», — сказал Коренев, — по-русски, стрелка на восток.

— Какая-нибудь мистификация, — сказал Клейст. — Почерк тонкий, девичий, благородный. Письма императрицы русской и царевен, которые я рассматривал в нашем музее, писаны таким почерком.

Клейст пыхнул сигарой.

— Вы не думаете, что это выходка со стороны Дво-роконской? — сказал он.

— О нет, — только не это. Я думаю, это — «она».

— Ваш призрак?

— Да, господин доктор. Она являлась мне третий раз и зовет меня своею запиской в Россию.

— Как же могла явиться к вам девушка из несуществующего государства и оставить вам записку? Нелепо, дорогой мой.

— Но, доктор, вы, конечно, читали о знаменитом открытии профессора Зильберштейна?

— Теория распада, переноса и собирания атомов материи? — сказал Клейст.

— Да.

— Но ведь практических результатов достигнуть Зильберштейну не удалось. Да это и не ново. Как только была установлена теория атомов и создана таблица элементов вашего русского химика Менделеева, то стало ясно, что если можно путем химического процесса разложить воду на кислород и водород и обратно из соединения кислорода и водорода создать снова воду, то почему же нельзя разложить и более сложное тело и, разложив, придать всему газообразное состояние? Теоретически я допускаю возможность обратить, например, эту чернильницу в облака газов, составляющих ее материю, и потом снова заставить эти газы сцепиться так, чтобы выкристаллизовалась эта яшмовая раковина, эти украшения из бронзы со всеми мельчайшими изгибами, даже с пылью на ней. Но ведь практически-то этого еще никому не удалось произвести. Одна теория. Да и в ней, как видно, чего-то не хватает.

— Откинем, что не удалось. Но вы помните недавний опыт Зильберштейна в Парижском университете? На глазах у многочисленной аудитории он взял морскую свинку и обратил ее в облако пара. «В этом облаке, — сказал он, — заключаются все атомы для создания морской свинки... Я могу перенести их куда угодно и там сцепить их снова, и явится та же самая морская свинка, такого же цвета, такого же веса, с тем же содержимым желудка».

— Но сделать это ему не удалось?

— Да, не удалось.

— И ученые считают его опыт простым шарлатанством.

— Но допустите, доктор, что это возможно!

— И что тогда?

— Тогда... Та девушка... Там, в далекой России, обратилась в облако газов, перенеслась сюда, в Потсдам, в Вердер, на мою квартиру и здесь воплотилась снова.

— Вы забываете, мой юный друг, — серьезно сказал Клейст, — что и Зильберштейн сказал, что он взял свинку живую, но, если бы ему удалось сцепить элементы ее материи, он получил бы снова свинку, но только мертвую.

— Значит, есть душа, а если есть душа, то есть духовный мир, есть Божество, и тогда те люди, которые веруют в Бога, все эти христиане, магометане, буддисты ближе к истине, чем мы, атеисты.

— И это неверно.

— Но как же тогда, доктор, объяснить трехкратное появление реального призрака, потому что я утверждаю, что она дышала, я слышал в Вердере, как она меня звала, наконец, эта записка...

— Все это очень просто. Шопенгауер ближе к разъяснению вашего, кажущегося вам столь непонятным, случая, чем Зильберштейн. Тот мир, который мы видим и ощущаем, есть лишь известное рефлекторное сокращение мозгового вещества. Но если произвести то же сокращение мозгового вещества не в силу органов периферической нервной системы, не в силу известных сокращений органов зрения, осязания, слуха и т.д., а независимо, так сказать, самозарождаясь, то и является призрак, является существо, созданное уже вашей фантазией.

— А этот листок?

— Кто-нибудь подкинул его вам.

— Вы сами говорите, что такой бумаги нельзя найти во всей Германии.

— У кого-нибудь осталась в архиве.

— Она совсем свежая!

— Нет, мой молодой друг!.. Дело в том, что вы оказались более русским, чем я предполагал. Вы, никогда не видевший родины, тоскуете по ней, вы не усвоили того догмата, который по мере развития идей Интернационала становится все более и более ясным: «Ubi sum — ubi patria»*, вы тоскуете по России. Сознайтесь, девушка-призрак, которую вы видали, русская?.. Русская?

— Да, русская.

— Ну, на кого она похожа? — ласково улыбаясь, сказал Клейст. — На Оржевскую, на Мышкину, на Пушкину, на Двороконскую?

— Нет, среди барышень-эмигранток нет ей подобной.

— Но она русская?

— Безусловно, да.

— Вы тоскуете, милый друг, по России Я давно это заметил. Это собрание вами открыток и литографий старых, где изображена Россия, эта ваша страстная любовь к березкам, вереску, шири полей — это неосознанная любовь к Родине.

— Но как же это может быть, когда я получил воспитание в демократической школе, где не допускалось и мысли любви к родине, но всегда говорилось о любви к человечеству?

— Заблуждение демократической школы. Вздор, мой юный друг. Нельзя ребенку говорить: «Не люби маму, но люби всякую тетю». Все равно ребенок тянется только к матери. Теория. Наша демократия вот уже сорок лет топчется на одном месте и хочет создать мир по-своему, и кроме ухудшения она ничего не дала. Нищих стало больше, народ вырождается, смертность колоссальна, рождаемость ничтожна, хлеба не хватает, свободы нет, надо всем недреманное око полицией-президиума, министры сменяются по два раза в год, все разоружились, и все ходят, поджав хвосты. Прочтет кто-нибудь в газетах, что Америка изобрела какой-то порошок, которым можно отравить сразу целый город, и повсюду паника, и все трепещут. Хвалить старые времена запрещено. Вы вот сказали: «Фридрих Великий», а в школе вас как учили?.. Народ великий, а вожди, короли, императоры — нуль...

Клейст разгорячился. Это было больное его место. Он помнил дни юности, времена империи и пышный блеск вахт-парадов, его воспитывал старый немецкий учитель, тот, который подготовил армию, занявшую Париж, а не тот, который отдал Силезию и Рур, и он волновался, бродя в воспоминаниях.

* Где я — там и родина (лат.).

— А, да что говорить! — воскликнул он. — Для вас Россия — все... Оттуда, с востока, доносится до вас аромат русских степей; родина-мать зовет вас, и вам являются призраки, и вы сами себе пишете: «Я жду» и ставите стрелки на восток. Кровь сильнее воспитания. О! Я хорошо знал вашу матушку! Какая это была русская до мозга костей! Умирала, а не верила, что Россия погибла. Нет, нет, мой юный друг, — это ваша мечта — быть в России. И мечта ваша воплотилась в призрак! Очень просто!

— Да, — медленно сказал Коренев, — это моя мечта...

Он замолчал. Клейст наблюдал его. Тонкий профиль лица Коренева красиво выделялся на темной спинке кресла. Упрямый подбородок смыкал немного широкие скулы. «Это мать его дала ему это упорство характера», — подумал Клейст.

— Вы помните Колумба? — сказал, задумчиво глядя в угол кабинета, Коренев. — Его мечта была идти все на запад, морями, и дойти до Индии. Открыть новый путь. И он открыл Америку... А если... упрямо... как Колумб... идти все на восток? Ведь не может быть, чтобы двухсотмиллионный народ с великой, всеми признанной культурой, погиб... погиб бесследно... Все на восток, на восток... — медленно повторил Коренев, — увидеть своими глазами, что там. Сорок лет прошло, как никого не было оттуда, никто не дошел туда. Увидеть Смоленск, потом Москву, Екатеринбург, где так трагически погиб последний император, и выйти к Японскому морю... Ведь все это было русское!.. Наше... Мое... Мой отец... я читал его записки... от Калиша до Владивостока он ехал мальчиком в сибирском экспрессе... без паспортов... без лишений... вагон-ресторан. По обеим сторонам пути в окно видны были и веером расходились нивы, леса, рощи. Поезд стоял на глухих станциях. В небесной синеве звенели жаворонки. На станциях длинным рядом сидели торговки, продавали вареные яйца, молоко, жирных кур, уток и гусей, копченую рыбу... Без карточек, сколько угодно.

За пять копеек!.. За двугривенный!.. Какое довольство! Какое богатство! Не может быть, чтобы это все исчезло! Десять тысяч километров пути — пустыня, где нет ничего... Пройти сквозь Польшу, а потом все дальше, дальше на восток... На восток!..

VI

Доктор Клейст достал большую карту и разложил ее на столе.

— Мой юный друг, я повторю вам историю последних сорока лет.

Не вы первый, не вы последний... Открыть, найти Северный полюс? А что там? Льды... Солнце ходит кругом или вечная ночь, магнитная стрелка припадает к донышку коробки... Ну а счастье-то в чем? Сказать: «Я открыл!» — вот и все. Стоит ли лишений и жизни? Теоретически мы знаем: льды, кусок холодного, густо-синего моря, пара белых медведей, ледяные горы — и все. Стоит ли годов лишений, может быть, жизни?

— А ведь отдавали же жизнь! — тихо сказал Коренев. — Помните эту так нашумевшую в свое время историю итальянского генерала Нобиле? Сколько народа тогда погибло!.. Так... зря?..

— Ну и глупо, — воскликнул Клейст, — и так же теоретически мы знаем, что такое там. Черно-серая пустыня, где нет ничего. Так донесли нам аэропланы.

— А если они ошиблись?

— А история? Вспомните все то, что было на глазах ваших отца и матери... Я начну с момента крушения. В 192. году страшный неурожай захватил все великое Российское государство. Правительство, состоявшее из отъявленных негодяев, из отбросов общества, из убийц и каторжан, думало только о том, чтобы спасти самих себя. Глухо, смутно доносились до Европы и Америки вопли погибающих от голода. Знающие положение люди говорили, что спасти можно только тем, чтобы одновременно с хлебом дать твердую сильную власть. Вместе с хлебом должны были идти войска, разоружить преступников, заставить работать и давать хлеб умирающим... Но помните, помните... я и имена всех их знаю... Россию строили тогда, указывали ей пути спасения те, кто не знали ни России, ни ее народа... Масарик, Крамарж, Ллойд Джордж, Бриан, Вильсон, Керзон, американские рабочие, немецкие коммунисты говорили о том, какой должна быть Россия. Они все кричали о демократии, и им вторили российские эмигранты, разжиревшие на чужих хлебах и смотревшие на Россию сквозь иноземные очки. В России умирали от голода, в России металась голодные, обезумевшие люди, в России дрались из-за корки хлеба, из-за трупа собаки, а за границей спорили, судили, рядили и, наконец, отправили несколько кораблей с хлебом. На пристанях разыгрались ужасные сцены. Солдаты Красной армии, члены правительства штыками и пулеметами отбили себе хлеб. Мешки с мукой были пропитаны человеческой кровью. Те доблестные американские граждане, которые пытались защитить хлеб и протестовать против насилия, были схвачены и замучены в чрезвычайных комиссиях. Семена, присланные для посева, были съедены, и правительство укрепило свою власть. В 192. году не выпало ни одного дождя, ни одна нива не

была запахана, ни одно животное не уцелело. Но, когда дошли вопли о голоде до Европы, Европа осталась глухой. А потом, вы сами мне рассказывали то, что слышали от вашей матушки. III Интернационал пошел войной против всей Европы. Должен был быть «последний решительный бой». И вот: измена ли немецких наемных летчиков, несчастный ли случай, кто знает? И горы трупов, сраженных газами, а потом мухи, мошара — и чума.

Все это, — помню я, — тяжело отражалось и на европейских государствах. Несколько лет прошло в страшном кипении коммунистических идей в пограничных государствах, волна их едва не захватила Германию. О судьбах России никто не думал. В 19.. году шотландец Мак-Кинлей снарядил экспедицию. Корабли вошли в горло финского залива и приближались к Кронштадту. Туча мелких мух облепила их, и начали обнаруживаться чумные заболевания среди экипажа. Мак-Кинлей повернул обратно. В 19.. году француз Потэн на особенном аэроплане достиг высоты Псков — Киев. Он увидел сплошное зеленое море, перемежаемое черными пространствами выгоревшей от солнца земли. Нигде не было признака жизни. В 19.. году немецкий пароход «Гинденбург» подошел в Черном море к Анапе, но, напуганный ожиданием чумы, экипаж возмутился, убил капитана и пароход ушел из Черного моря. В 19.. году английское правительство хотело высадить в Одесском порту экспедицию в 300 человек, снабженную всеми средствами борьбы с людьми, зверями, насекомыми, болезнями. Говорят, что Одесса была уже видна, но мистический ужас охватил команду корабля, и она потребовала возвращения домой. Попыток было множество. Ни одна не достигла своей цели. На карте, на месте бывшей Российской империи, теперь изображается черное пятно, и на нем красными буквами написано: «Чума»... Вот что говорит нам история. Громадное великое племя погибло бесследно.

— Я этому не верю, — сказал Корнев. — Я никогда этому не верил. Мальчиком, в школе, глядя на это черное пятно, я говорил: «Это неправда». Я повторял себе: «Тут что-то не так». Никто не пошел, ибо все были трусы, а если храбро пойти и узнать самому, что там? Сорок лет! И мухи успели подохнуть. Я не боюсь. У меня нет страха, но одна любовь, одна жажда знания! Это явление из другого мира меня толкает идти и добиваться знания во что бы то ни стало.

— Теория против вас, — сказал Клейст.

— А разве теория не ошибалась? Да и что говорит теория?

— Сорок лет ни один голос отсюда не раздался. Позывные сигналы наших беспроволочных телефонов остались без ответа. Нам ответили из недр Центральной Африки, есть основание думать, что в прошлом

году донесся неясный звук с Марса, но из России — ничего. Она вымерла и стала кишеть болезнетворными микробами.

— Простите меня, — сказал, волнуясь, Корнев, — если я вам все-таки не поверю. Пускай теория... Да, так. Аэропланы, экспедиции, отсутствие ответа на вашу бешеную технику, размышления холодного рассудка... А сердце? Сердце говорит мне иное. Откуда явилась эта девушка такой красоты, какой здесь нет? Она была бледна, как призрак, но она дышала. Может быть, она... сестра моя? Там у моей матери остался брат... Может быть, это голос крови? Доктор!.. Я пришел не только рассказать вам о чудесном посещении, но и заявить вам о том, что я решил ехать туда... В Россию... И я прошу вас помочь мне.

— Я сам поеду с вами, — тихо сказал Клейст и опустил свою седую голову.

— Господин Клейст! — воскликнул Корнев.

— Да, я поеду с вами. Я знаю русский язык. Я люблю Россию... и я хочу верить, как вы, что она не погибла. Мы составим маленькую экспедицию, и мы поедем туда. Поговорите завтра об этом в салоне госпожи Дворокон-ской.

— Но, господин Клейст, — воскликнул Корнев, — не завтра, а сегодня.

И он показал на окна, на занавесах которых золотом играли лучи восходящего солнца.

Когда Корнев вышел на Kurfurstendamm, косые лучи солнца прорезывали его насквозь и, как в золотой раме, темным силуэтом рисовалось громадное здание Gedachtnis-Kirche. Корнев не пошел домой. Он шел навстречу солнцу мимо пахучей сырости Зоологического сада, шел через Litzow-Platz к Тиргартену, к золотой статуе Победы, ослепительно горевшей на солнце, шел все на восток, на восток...

«Вот так, — говорил он сам себе, — вот так, все дальше, дальше, мимо Эркнера, мимо Франкфурта, на Верж-болово и дальше, к Петербургу! Милый призрак! Я найду тебя!»

Он уже не боялся привидения, но жаждал его. Бессонной ночи как не бывало — всего двадцать первая весна была у него за плечами! Он полной грудью дышал. У статуи амазонки он остановился. Пусто было кругом. Гордо смотрела женщина. Подняв голову и настремив уши, гордо смотрел и ее прекрасный конь. Скифы припомнились Корневу, —какая-то связь между ними, всадниками степей, и амазонками лесов промелькнула в голове.

«Вот так, — подумал он, — сесть на лошадь, и все на восток... на восток!»

Салон госпожи Двороконской в те времена собирал всех, кто называл себя русскими в Берлине. Собирались каждую среду ровно в семь.

Виктории Павловне Двороконской было под пятьдесят. Она была рослая, полная, черноволосая, с большим круглым лицом, с полными румяными щеками, белым лбом без морщин, соболиными бровями, черными точечками сходящимися на переносице, и большими карими глазами. Настоящая русская красавица, немного с примесью азиатчины. «Евразийка» — называли ее ее гости. Большая грудь, полный стан, широкие бедра и маленькие точеные ножки и кисти рук говорили о той особой культуре женщины, которая зародилась в термах и на протяжении веков передалась и ей, эмигрантке, из несуществующего государства. Как большинство тогдашних людей, она была атеистка, но в комнате держала «как старинную картину» икону, вывезенную ее матерью из России, и любила зажигать перед нею свечи.

Сестра ее, Екатерина Павловна, была такого же роста, но весьма худа, имела линии тела, которые так любят модные художники для бронзы статуэток и подсвечников. Лицо у нее было некрасивое, с большим длинным носом, с черными резкими бровями, сросшимися на переносице, густые черные, воронова крыла, волосы всегда были упрямо растрепаны, но все скрашивали громадные лучистые глаза, опущенные длинными ресницами, глубокие и прекрасные, с синевой под ними, румянец щек и ослепительная свежая белизна тонкой девичьей шеи.

Виктория Павловна хотела придать своему салону характер былых русских светских салонов конца XIX и начала XX века, о которых читала она в романах, но строгая регламентация продуктов потребления и отсутствие прислуги сильно мешали ей.

На длинном столе, накрытом настоящей скатертью, стоял самовар, каждый приходящий гость высыпал в серебряную сахарницу свою порцию сахара и клал свои «шриппы» — маленькие темные булочки, полученные по карточкам. Было время вишен и, так как на них не было запрещения, то огромное блюдо настоящих «Zucker-sussen»* вердерских вишен, черных, как олений глаз, украшало стол и придавало характер некоторого довольства.

* Сладких, как сахар (нем.).

Когда пришел Коренев, общество сидело в маленькой гостиной, смотрело на экран и слушало по граммофону представление в городской опере, переданное по беспроволочному граммофону, телефону и телевизу, некоторому подобию кинематографа. Маленькие фигурки, пестро раскрашенные, блестящие, как отражение в матовом стекле фотографического аппарата, ходили по экрану, размахивали руками, открывали рты, и их голоса и звуки оркестра неслись, чуть хриповатые, из большого рупора, поставленного на ящик. Шло и приходило к концу дневное представление оперы. Когда оно кончилось и алая занавесь упала на экран, граммофон прокричал, что сейчас начнется чтение устной вечерней газеты.

— Господа, — спросила Виктория Павловна, — хотите слушать?

— Не стоит, Виктория Павловна, — сказал маленький седой человек с небольшой, кустиком, бородкой, профессор славянских языков в Берлинском университете, — я уже читал «8-Uhr-Blatt», ничего интересного. В Дублине опять было столкновение между рабочими-металлистами и хлебниками. Около трехсот убито.

— Когда это кончится! Ужас что такое, — пожимаясь, сказала Екатерина Павловна.

— Это никогда не может кончиться, — сказал профессор, — борьба за существование. Земля не может прокормить всех людей. Хлеба не хватает. Естественно, он дорожает. В Ирландии предметы роскоши запрещены. Громадный завод, изготавливавший художественные арматуры из бронзы, встал. Люди остались без средств и кинулись громить лавки. Это естественно.

— Звериная жизнь, — поджимая губы, сказала Виктория Павловна.

— Прошное воскресенье я была в Люстгартене на митинге безработных, — сказала ее сестра, — какой-то оратор призывал толпу идти громить дома богатых.

В толпу ворвался отряд молодежи, вооруженной палками от игры в гольф. Произошла свалка... Я убежала.

— Пятеро убитых и шестнадцать раненых, — сказал из угла человек с рыжими волосами, вихрами растущими во все стороны, и румяным лицом, покрытым веснушками, — я в газетах читал.

— Когда подумаешь, — сказал старичок, — то прежние войны не кажутся такими жестокими, как теперешние непрерывные драки людей из-за куска хлеба, из-за угла, из-за света, из-за тепла.

— Да, — сказал долговязый профессор права с черной блестящей бородой, — эти драки и истребления людей прекратятся лишь тогда, когда действительно наступит равенство.

— Но, как видно, оно невозможно на земле, — вздыхая и поднимая к потолку глаза, сказала Виктория Павловна.

— А вы думаете найти его на небе, — язвительно сказал длинный и тонкий, как хлыст, молодой писатель. Лицо у него было плоское, белое, с синяками под глазами, и нервно подергивалось.

— Ах, господин Дятлов, кто знает, кто знает! — вздохнула Виктория Павловна.

— Святая Русь! — сказал значительно Дятлов. — И умерла она, а все сидит. Измученная, окровавленная, забитая насмерть, все темными переулочками души, кривыми лестничками сердца громоздится она и карабкается в пустую, как плевок, эмигрантскую душу. Нет-нет, а и проявит она свое пьяное, широкое, маслянистыми блинами пахнущее, цинично хихикающее лицо, и вдруг сразу шлепнется дебелым телом своим на стул воспоминаний, со всеми попами своими сереброголосыми, со своими церковками убогими, деревенскими, с яблоньками топыр-кими и завопит о Боге, о мщении, аде, и о рае, и о покаянии. Больше всего о покаянии! Нашкодила, накуролесила, напакостила, накровянила, развратом неслыханным покрывала себя во ржи высокой, пахучей, натешилась поножовщиной, изругалась словами мерзкими, а потом со свечой пудовой, с поклонами низкими, распростершись на каменном полу, залегла мерзкая, подлая, грязная и вонючая, вся из пакости слепленная, навозом пахнущая, и твердит молитвы покаянные... Нет, Виктория Павловна, ну ее туда, куда провалилась она со всею мерзостью своею.

— Это вы про кого это так говорите? — раздался от самого экрана молодой звучный голос. Из полутемного угла вышел Коренев.

— Про Россию, — сказал, усмехаясь, Дятлов.

— Да как вы смеете так говорить про Россию! — загремел вдруг громовым голосом Коренев. — Да вы ее знаете? Вы историю ее когда-нибудь читали? Вы глядели когда-нибудь на карту ее, сравнивали ее с другими державами? Вы поняли, что такое русский народ, какие таланты, какие великие возможности он таит, вы поняли, почему он погиб и кто его погубил?

— Да кто вы такой, что так кричите на меня? — сказал, вставая, Дятлов. — По какому такому праву?

— Я — русский, — воскликнул Коренев.

— С чем вас и поздравляю. Я тоже... бывший русский, — раскланиваясь, сказал Дятлов.

— Пойдите, господа, — вмешался в спор высокий профессор права. — Простите! Так нельзя. Это тоже нонсенс — такая дискуссия. Вы, господин Коренев, сказали про историю России и как будто

намекаете этим на что-то грандиозное и славное. А между тем, позвольте мне, профессору, сказать, что более темной истории произвола, гнета, рабства, самодурства монархов, приниженности дворянства нет во всем мире. Царь — темного происхождения, потому что династия Романовых запуталась в женских корнях и выродилась. От Романовых, а тем более от Рюриковичей ничего не осталось. Аристократии, высшего общества, дворянства, как это понималось в Западной Европе, не было, потому что после Петра Великого всякий проходимец, всякий выскочка, подлиза, чиновник, угождавший своему принципалу, мог стать дворянином. Армии как носительницы идеи не было, крестьянство обреталось в полудиком состоянии, рабочий класс ударился в самые крайние анархические течения и погиб. Россия погибла, потому что она была невитальна. В ней текли гнилые соки, и она рухнула и развалилась. Тут не голод, не равнодушие народов мира виноваты в крушении России — все равно она погибла бы. Депрессия и индифферентность к судьбам России как эмиграции, так репатриантов и самих граждан России дошли до степени полной прострации. Так стоит ли говорить о таком народе?

— Вы позволите мне опровергнуть вас вашими же словами? — сказал Коренев.

Он говорил тихо, но видно было, как огнем хлопотала мысль в его душе, как временами, срываясь на хрип, шли слова одно за другим. Этой скрытой страстностью своей он приковал к себе внимание людей, и даже Дятлов, делавший несколько раз досадливые движения, не прерывал его речи.

VIII

— Да, вы правы, господин профессор, — сказал Коренев, поднимая опущенную голову и стряхивая непокорные пряди волос. — Вы правы... России досталось все худшее. Громадная равнина, прорезанная редкими реками и, в общем, мало орошенная. Летом — палящее солнце, сухие юго-восточные ветры, сжигающие урожай; зимой — мороз, снег на два-три аршина, засыпающий до крыш бедные деревни, стремительные вьюги, и шесть месяцев в году земля обледенелая, звенящая, как чугун. Ни сладких фруктов, ни бодрящего виноградного сока, ни солнечных лучей не досталось русскому племени. Страной, покрытой вечным мраком туманов, рисовали древние греки и римляне страну рутенов и скифов. Жестокая борьба с природой,

работа по очистке от лесов, борьба с хищными зверями, с мошкаррой, болотными испарениями. Смерть глядела из-за каждого угла. Вот, господа, что такое была Древняя Русь по описанию летописцев.

— Господа, — сказала Виктория Павловна, — перейдемте в столовую, чай готов.

В столовой Коренев не сел за стол. Он остался в стороне и попросил разрешения говорить.

— Прибавьте к этому, — продолжал он, — вздорный характер, отсутствие хороших правителей. Что такое была удельно-вечевая Русь? Да ведь она уже была федеративной, демократической республикой, тем самым, о чем мечтали наши деды, сидя за границей! Вече — парламент, князь — президент... А чем кончилось? Кончилось-то чем? Самодержавием, Иваном Грозным, Петром Великим... Русь двулика, и в этом отличие ее от Запада. И буквально двулика! Помню, мне моя мать это часто повторяла. И одно лицо — пьяное, широкие скулы, вздутые щеки, приплюснутый обезьяний нос, ноздрями вперед торчащий, рыжая, кочьями борода, длинный стан, длинные руки, короткие кривые ноги, пакостная ру́гь на устах, вши в волосах, колтуном торчащих, блохи и клопы на теле. Пьяная, грязная бедность в избе, и глупое бахвальство, и тупость, до анархизма доходящая. Разве не читали мы про такого мужика? Разве не из этих кретинов-мужиков народились все те, которые валили трон и издевались над религией? У него и подруга была соответствующая. Пьяная, вечно брюхастая баба, круглоликая, циничная, грубая, и такая же грязная, как и ее обладатель... Такой видел я Русь на многих картинах, о такой читал, и эта Русь, голодная, металась в двадцатых годах, и гибла от голода и болезней, и падала под огнем пулеметов... Но, господа, есть и другая Русь... Вижу я и очи соболиные, и прямые и тонкие носы, и брови, сросшиеся на переносице, и губы, твердо сжатые, вижу я и это железное упорство в работе, храбрость непреодолимую, мужество, терпение, выносливость! Тот же мужик, та же изба, а все не то. И хозяйка не та. Красивая, стройная, ловкая. Глазом поведет — сердце остановит... Та Русь — отчаянная и отчаявшаяся, та Русь — никчемная, гнилая, трухлявая, сегодня отречется в угоду царям от своей веры, завтра пойдет за кем угодно, послезавтра и Бога оставит. Сегодня кличет своему выборному вождю: «Веди нас!» Завтра кричит уже: «Долой!» Но не она — Россия. Россия прекрасная, сильная — это та, вторая Русь. Она создала богатырей киевских, что заставами стали по всей Святорусской земле, боролись с Соловьями-Разбойниками, истребляли Идолище Поганое, освободили Русь от татарвы неистовой. Та пьяная, никчемная Русь роднилась

с татарами, кланялась им и служила. Из этой, нарядной и красивой, Руси служился прекрасный быт Святорусской земли, с ее соколиными охотами, садами тенистыми, теремами высокими, любовью крепкой и святой и верой православной. Она писала «Домострой», чтобы обуздать ту пьяную, паршивую Русь, она создала «Слово о полку Игореве», памятник красоты неописанной. Она строила кремли, она создавала Василия Блаженного, и она же рубила головы той, первой, Руси. Русь — это борьба. И не борьба классов, не борьба феодалов с вассалами, а борьба брата на брата, подвохи и доносы бояр на бояр, пускание красного петуха и борьба деревни против деревни, семьи против семьи. И Русь благородная всегда в конце концов побеждала. Из таинственной Московии вышли в немецкую одежду одетые полки, и сразились с Карлом XII, и победили. Ахнула Европа. Но, пока это затрагивало шведов и турок, татар и поляков, — это мало кого беспокоило. Россия породнилась с Германией, молчаливо делила Польшу и шла на восток. Безумный поход на Индию при Павле I встревожил Англию, и Россией заинтересовались. Победоносное шествие российских армий к Парижу встревожило еще больше Европу, и Европа стала принимать меры для того, чтобы остановить рост русского племени. Но было уже поздно. Русская белая рубаша шла походом по Среднеазиатской пустыне и завоевала родину Тамерлана. Индийские поработанные народы мечтали о белом царе. Это все люди из прекрасной Руси, это народ-богоносец, с песнями, шутками, с танцами, пляской, с верой глубокой. В 1914 году, наконец, тем, кому нужно было погубить Россию, мировому масонству, удалось втравить ее в войну. И стали гибнуть лучшие люди. И, когда они погибли, подняла голову та, пьяная, паршивая Русь, все отрицающая, над всем смеющаяся, и сорвала в несколько часов остатки красоты былой Руси, Руси царской, Руси императорской... И стала советская республика. Олицетворением ее стал Ленин. Вы видали его портреты! Ведь это тот самый пьяный мужик, вшами покрытый, грязный и никчемный, только вырядившийся в короткий пиджак и примаслившийся партийной ученостью... И я верю, — голос Коренева зазвенел по комнате, — я верю, что та, прекрасная, Русь не могла погибнуть без остатка, я верю, что вышла она из глуши лесов, из станиц и слобод, в глубоких балках притаившихся, и пошла снова упорным трудом побеждать природу и болезни, избрала своего царя, поработила никчемных пьяных людей и заставила их работать так, как только и умеет работать русский крестьянин — от зари до зари!..

Эльза Беттхер с обожанием смотрела восторженными глазами на побледневшее от волнения лицо Коренева.

Заговорила с конца стола Виктория Павловна:

— Все это вздор, милый мой Петр Константинович, — сказала она. Она называла гостей по-русски, по имени и отчеству. — Народ, Россия, Москва-матушка, а на поверку вышло: дикари. И мне ни-сколько не жаль, что они погибли. Дикие, злобные, жадные, завистливые, друг друга ненавидящие. Я почти помню это страшное время. За границей было рассеяно до двух миллионов русских, как тогда называли, беженцев... Их из милости содержали славянские страны, англичане, французы, американцы, немцы. Но ведь нельзя же вечно питаться милостыней? Вы думаете, они сплотились, образовали компактное, хотя и рассеянное, ядро, устроили себе взаимопомощь? Ничего подобного! Евреи русские сплотились, украинцы сплотились, а русские?.. У них была одна православная церковь. Ну, кажется, — держись ее. Так нет же. Раскололись... Помню, мама рассказывала, как отлучали друг друга от церкви иерархи, как постепенно одна церковь вымирала от бедности, а другая модернизировалась, сливалась с западными церквями и вместе с ними погибла, ушла — в атеизм. Сколько тогда было разных союзов, обществ, сколько было крика, шума, газет... Но старики — повымерли... А мы? Мы — русские только по имени. Русские потому, что так нам удобнее. Мы и русский язык стали забывать, как забыли православную веру. Нам Россия ничего не оставила. Что там, где она? — говорят — чума да вши.

— А русское искусство?.. Наука русская?.. Стиль?.. — воскликнул Коренев.

— Крестиками вышитые полотенца, — язвительно сказал Дятлов. — Коробочки с красными бабами в сарафанах.

— Позвольте господа, — сказал Коренев. Ему даже страшно стало за этих людей. — Сейчас мы видели на экране русскую оперу! Она написана сто лет тому назад Чайковским. Не умерла же она? Ее воспроизводит Германия, страна немало музыкальная. Нет равного по силе русскому искусству!

— Будет, оставьте, — раздался голос.

— Ведь это все было...

— Было и бывшем поросло!

— И что вместо этого? Чума!

— Гиблое место...

— Нет, — сказал твердо Коренев. — Там — Россия! Она не умерла! Я докажу это!

— Как вы докажете?

— Я поеду туда...

— И без вас многие ехали, да все погибли.

— Господа, да ведь здесь разве сладко живется? Постоянный демократический полицейский надзор, полное отсутствие свободы. Не смеешь работать столько, сколько хочешь, не смеешь есть, что хочешь. В вашу жизнь вмешиваются ежедневно. Эти постоянные обыски, осмотры, изъятия излишков. Свалки между членами партий, убийства из-за угла. Мы с лишком сорок лет не знаем войны, но каждый день мы убиваем людей, мы ненавидим друг друга... — задыхаясь и торопясь, боясь, что его прервут, говорил Коренев. — А если там восстановилась Русь, и там... любовь!..

— Что!? — смеясь и прихихикивая, воскликнул Дятлов. — Любовь? Христианство?.. Евангелие?.. Какая чушь. Глупая романтика. Романтика пятнадцатилетнего мальчика о светозарной многосиянной райской любви... Ничего этого нет. Я с двенадцати лет знаю, что все это одна физиология. Сказали тоже! Любовь!

— Я не про такую любовь говорил, — сказал, краснея, Коренев. — Я говорил о любви к ближнему.

— Вздор, — сказал Дятлов. — Здоровый эгоизм есть любовь к ближнему. Я делаю вам приятное потому, что ожидаю от вас другого приятного.

— Это холодный ужас, — прошептал Коренев.

— Это — жизнь, — сказал Дятлов.

— Садитесь, Петр Константинович, — сказала Виктория Павловна. — Пейте ваш чай, и будет вам шуметь. Я обожаю Евангелие, хотя и не очень его понимаю. Или перевод плохой, или что-то не так. Но, пожалуй, из всех философий самая тонкая и воздушная — философия Христа.

— Ах! — сказала Екатерина Павловна. — А эти церкви-музеи! Нет, это что-то восхитительное. И подумаешь, люди двадцать веков верили, молились, жили этим...

— Живут и теперь, — убежденно сказал Коренев.

— Где же? — спросил Дятлов. — Как исторический обряд кое-что оставлено.

— В России, — убежденно сказал Коренев.

— А все-таки вертится, — сказал старичок.

— И действительно, вертится, — сказал Коренев. Пусто было у него на душе. Слова всех этих людей гулко ударялись в него, как го-лос в пустую бочку, и больно звенели в ушах... «Нет, — думал он, — на восток... на восток...»

Эльза сидела в мастерской у Коренева. На мольберте стояло почти законченное полотно. По старой гравюре Коренев воспроизвел картину «Крючник». С полотна на Эльзу смотрело широкое, румяное, обросшее красивой бородой и густыми русыми кудрями лицо. Мощная мускулатура чувствовалась под розовой рубахой и жилеткой с мешком. Глаза ласково улыбались, точно стыдился этот мужик своей красоты и силы.

— Таких людей уже нет, — раздумчиво сказала Эльза, следя за быстрыми мазками кисти Коренева. — Из вас выйдет очень талантливый художник, Петер. Зачем вы хотите уезжать?

— Фрейлейн Эльза, вы не рассердитесь и не обидитесь на меня? — сказал Коренев и взял чистый холст, натянутый на подрамник.

Он стал быстро, широкими, грубыми мазками набрасывать рисунок. Ничего не говорил. Слышно было, как трещал и ломался уголь в его нервных руках, как шуршала по холсту тряпка, стирая линии, мазала кисть. На холсте стало вырисовываться бледное лицо, лучистые синие глаза с какой-то неземной святостью засияли на полотне из темных и длинных, кверху загнутых ресниц, темные брови легли дугами над ними, обрисовался тонкий нос и чуть открытые пухлые губы. Резко, большими мазками стали проявляться две густые косы из-за плеч, спускавшиеся на грудь. Тонкие руки с маленькими кистями были опущены вдоль тела. Белый хитон, подхваченный на шее низким вырезом в складку и покрытый восточным золотым рисунком, покрывал стройное тело.

Лицо Коренева было напряжено, на лбу выступили капли пота. Он работал, не замечая времени, молча и, казалось, ничего не видел и не помнил. Он подходил к холсту, отходил, не отрывая глаза от холста, поправил точку в глазах, стер, снова поставил другую, лицо принимало странное выражение. Земная, прекрасная девушка начала казаться феей, сказкой, мечтой, призраком. Лиловая-тый прозрачный тон окутывал ее. Он сливался с тенями хитона, в нем тонули ее руки, лицо принимало прозрачный оттенок, и казалось, что вот-вот оно растает и испарится.

Проголодавшаяся Эльза достала сверток с ломтями хлеба, жидко намазанными маргарином, и протянула их Кореневу.

— Хотите есть? — сказала она.

Он ничего не ответил. Было похоже, что он не слышал ее предложения. Она устроилась удобнее на кушетке и стала есть, откусывая снежно-белыми зубами маленькие кусочки хлеба. Она сама была

художница. Но так писать она не могла. Коренев смотрел куда-то вдаль и точно там видел ту, которую рисовал.

Уже смеркалось, когда Коренев оторвался от холста и, тяжело вздохнув, с шумом отодвинул мольберт. Задремавшая на кушетке Эльза вздрогнула и проснулась.

Из сумерек на нее глядела с холста дивно прекрасная девушка. Ревнивое подозрение закралось в душу Эльзы.

— Вот она, — сказал Коренев. — Вот та, которая сможет меня заставить позабыть вас.

— Она русская? — глухим голосом спросила Эльза.

— Русская, — гордо сказал Коренев.

— Кто она?.. Балетная артистка? — прошептала Эльза.

— Нет.

— Где вы познакомились с ней?

— Нигде... Она — призрак... Помните, в Вердере, когда я заболел, она явилась ко мне.

— Призрак?! Как страшно, — содрогаясь, сказала Эльза, но лицо ее стало веселее. — О, Петер, только не шутите со мной.

— Какие шутки! — сказал Коренев. — Это та, которая указала мне идти в Россию. И если я найду ее... Простите меня, Эльза.

— Да, конечно... — холодно сказала Эльза. — Она так прекрасна. Вы поедете ее искать?.. Когда вы поедете?..

— Не знаю.

— О, милый, милый Петер. Возьмите и меня с собой. Кто едет с вами?

— Доктор Клейст.

— Только?

— Нет... Еще Бакланов, Дятлов...

— Дятлов?! — с удивлением воскликнула Эльза.

— Мисс Креггс.

— С вами едет женщина? Возьмите и меня с собой. Вы помните, как мы с вами хорошо умели wandern по горам Баварии и Гессена?

— Эльза... Там опасности: чума, насекомые, хищные звери. Сорок с лишком лет туда не ступала нога человека.

— Какая цель вашего путешествия?

— Найти Россию.

Сумерки сгущались. Самому Кореневу было страшно смотреть на призрак, воплощенный в красках.

— Пойдемте, — сказал он. — Пора закрывать мастерскую...

Когда на улице они прощались, она протянула ему холодную руку и смотрела на него жалким, просящим взглядом. Он глядел мимо

нее, был занят своими мыслями. Призрак манил его, и не мог он не верить в него.

X

Получить нужные для проезда в «Россию» визы оказалось невозможно. При широко объявленных свободах путешествовать было нельзя. На Behrenstraße хлопотавшего за всех доктора Клейста принял художавый желчный человек, консул Бирк, социал-демократ по партии. Он знал, что Клейст был членом рейхстага от Deutsche National-Partei*, и потому наежился и нахохлился, увидав старого доктора.

— Куда это вам? — спросил он.

— В Россию, — отвечал Клейст.

— Но вы знаете, что Россия погибла, что ее нет, — сказал Бирк. — Погибли и все наши тамошние концессии.

— Теоретически — да, она погибла, — сказал Клейст, — но мы не имеем никаких конкретных данных оттуда, и вот за этими конкретными данными группа молодых русских людей и хочет ехать.

— Но вы не русский, фрейлейн Беттхер не русская, там есть еще американка, — фыркнул Бирк.

— Но, по существу, какая цель препятствовать нашему выезду? Мы на некоторое время освободим от своих ртов германский народ и, может быть, обогатим науку новыми исследованиями.

Этот довод несколько смягчил господина Бирка.

— Хорошо, — сказал он. — Достаньте раньше визы от польского консула и удостоверение профессиональных союзов в том, что они ничего не имеют против вашей поездки.

Доктор Клейст откланялся. Ему казалось, что получить и то, и другое будет легко. Но пришлось каждому побегать и повозиться.

Бакланова и Дятлова в союзе литераторов встретили недружелюбно.

— Мы не можем, товарищи, дать вам такое разрешение, — сказал полный еврей, председатель союза русских писателей в Германии.

— Почему? — спросил Бакланов.

— На это есть много причин, — сказал, щуря свои глаза, председатель.

— Например?

— Ну, скажем, вы поедете туда. Вы получите новые впечатления, новые темы. Это несправедливо. В то время, как мы должны вариться в своем соку, выискивать темы среди монотонной берлинской жизни, искать героинь среди Nachtlokal'ей и танцовщиц открытых сцен, пережевывать, так сказать, жвачку все из того же мужика, рыться в Библии и черпать вдохновение в «Песни песней», вы получите новые впечатления и будете иметь новые темы. Есть и другая причина. Причина политическая. Товарищу Дятлову я бы еще мог дать такое разрешение, но вам, товарищ Бакланов, — никогда. Вы едете в новую страну. А если вы используете свою поездку для проповеди национальных идей, если вы нарисуете там царство и обставите все в России так, как было при царях: сытно, уютно, свободно... Нет, нет. Это невозможно. Это было бы несправедливо и по отношению к той партии, к которой я имею счастье принадлежать, и по отношению к товарищам, почтившим меня своим доверием. Нет, не могу, товарищи.

Дятлов стал доказывать, что никто не возбраняет всем русским писателям, объединенным в союз, примкнуть к ним и ехать вместе.

— Мое политическое credo, товарищ Мандельторт, вам порукой, что мы не позволим Бакланову писать то, чего нет, — сказал он.

— Это так, товарищ Дятлов, — задумчиво сказал Мандельторт, — ну, я мог бы сделать для вас маленькое исключение, но при одном условии. Вы обязуетесь все, что вы будете писать оттуда, давать только в нашу газету...

— Хорошо, — сказал Дятлов.

— Вы позволяете мне теперь же напечатать анонс в газете, что газета, не считаясь ни с какими затратами, решила командировать своего талантливого сотрудника и глубокоуважаемого члена партии для исследования того, что осталось от России.

— Хорошо, — сказал Дятлов.

— И, — многозначительно добавил Мандельторт, — ваши очерки мы поместим на первом месте... По тридцати пфеннигов за строчку.

— Это уже слишком, — воскликнул до сих пор мрачно молчавший Бакланов.

— Ну и чего вы волнуетесь, товарищ? Ну и вы же знаете постановление союза редакторов об одинаковой плате.

— Но ведь это эксплуатация таланта, — сказал Бакланов.

— И что такое талант? Ах, товарищ Бакланов, разве талант не отрицает равенство и равенство не отрицает талант?

— Вы хотите платить Дятлову, озаренному светом таланта, столь-

* Немецкой национальной партии (нем.).

ко же, сколько вы платите последнему еврейчику, который вам описывает заседаний союзов и комитетов или драки в Люстгартене.

— Ах, товарищ Бакланов, ну и какой же вы неисправимый монархист. Ну и почему вы не можете допустить, что товарищу Лерману хочется кушать то же самое, что и товарищу Дятлову? Ну и пусть себе кушает.

— Идемте, Дятлов, — хватая за рукав, сказал Бакланов, — а то как бы я по своей казацкой привычке морду этому мерзавцу не раскрывал.

У Коренева в союзе художников вышла та же история. Художники провидели, что такое путешествие, несомненно, даст Кореневу много новых впечатлений и тем. Одна выставка этюдов обратит на него внимание, а это нарушало равноправие художников. Притом Коренев принадлежал к числу художников-натуралистов, рабски копировавших природу, его считали отсталым, и все кубисты, импрессионисты, имажинисты восстали против его поездки. Им и так было противно, что его копии со старых картин охотнее покупались, чем их ужасные винегреты из обрывков газет, гвоздей, каучуковых трубок, лоскутков материи и яичной скорлупы.

Печальный, шел Коренев к Клейсту. Клейст, уже знавший о неудаче, постигнувшей Дятлова и Бакланова, не удивился тому, что рассказал ему его молодой друг.

— Это результат объединения в союзы, — сказал он. — Там, где образуется большинство бездарностей, оно неизбежно должно давить талант. Талант редок, и потому он не может быть в союзе. Довольно и того, что на талант влияет толпа, доводит его до болезни, губит его. Но когда та же толпа, составив союз, начинает властвовать над талантом — это ужасно... Но это результат социализма. Социализм исключает божество, а без божества остается только одно животное.

— Ну а вам, доктор, по крайней мере, удалось добыть польскую визу?

— Нет, — улыбаясь сказал Клейст.

— Нет, — воскликнул Коренев, — но как же тогда? Неужели придется оставить поездку? Ведь уже август на дворе. Что же вам сказали поляки?

— Сначала они сказали, что русским вообще никаких виз не дают. Когда я сказал, что все мы германские и американские граждане и потому не может быть речи о нашем русском происхождении, польский консул сказал мне, что он поставит визу лишь в том случае, если на паспорте будет виза дальнейшего государства. Я пошел

к латвийскому консулу. Там повторилась та же история: «Я дам вам визу лишь тогда, когда вы дадите мне визу следующего государства». — «Но какого же?» — говорю я. — «Эстония погибла тогда же, вместе с Россией, а остатки Эстонии присоединились к вам же, а дальше только Россия». — Консул засмеялся. — «Иначе, — говорит, — я не могу вам поставить визы». Что делать? — «Ну, — говорю я, — а если я вам дам японскую визу? Ведь там, дальше, в Восточной Сибири — Япония». Консул подумал и согласился. Пошел я к японскому консулу. — «А как, — говорит, — вы поедете в Японию?» Я и сказал: через бывшую Россию. «Это значит, — говорит, — что вы нам чуму привезете. Благодарю покорно», — и показал на дверь...

— Ах, господин Клейст, ну и как же?.. Как же дальше?!

— А дальше, — и Клейст достал из портфеля шесть паспортов, испещренных визами. — Извольте видеть, — сказал он, — вот выездная германская, вот польская и латвийская — транзитные, вот въездная германская — сроком на три месяца...

— Но как вы достали?

— Проще простого. Выхожу я, полный печали, от японского консула, а у подъезда вьется этаким «гордый профиль». Подходит ко мне.

— За визой ходили?

— За визой.

— Куда?

Я ему и рассказал.

— Зайдемте, — говорит, — в кафе, побеседуем. Зашли мы в «Schwarzer Kater». Расспросил он меня.

— Хотите, — говорит, — за каждую визу по двести марок, и через три часа все будет готово.

— Да вы поддельные визы поставите, — говорю я, — и нас еще арестуют,

— Ничего подобного, — говорит, — напрасно сомневаетесь, наш союз уже сорок пять лет существует, еще при Советском правительстве образовался, работа точная. Мы рекомендательные письма имеем. Какие-какие только визы мы не доставали. Уж на что трудно в Америку или в Сионскую еврейскую республику, и то вопрос только в цене.

Я подумал — траты все равно огромные, я ворохнул уже свой капитал, отчего не рискнуть?

— Посидите, — говорит, — здесь, в кафе, давайте паспорта, и через три часа все будет готово. Верьте, не надую.

Свой паспорт оставил мне в обеспечение. Через три часа все было готово.

— Как же, — говорю ему, — это вы сделали?

— Теперь, — говорит, — все можно. Совесть общественная стала, ну и дороговизна жизни при том. Чиновник-то что получает: гроши. А жить каждому хочется. Вся жизнь из-под полы, ну и вызы тоже из-под полы.

Так вот, мой юный друг, надо собираться в путь.

XI

Дальше латвийского городка Мариенбурга поезда не ходили. Здесь, на островке среди громадного озера, были развалины стен и круглых башен — остатки сторожевого форта, устроенного на границе Московского государства еще Иваном III, царем Московским. Здесь лагерем со своею гвардией стоял Великий Петр, залюбовался прачкой, стиравшей белье, и сделал ее своей женой, найдя в ней верную подругу, преданную ему и России, — императрицу Екатерину I.

Здесь когда-то был красивый замок баронов Фитин-гоф и парк вокруг него по берегу озера.

От крепости Иоанновой остались башни, кусок стены и груды серых ноздреватых камней, заросших ивой, кустами калины и маленькими чахлыми березками. От замка ничего не осталось. Все кирпичи, железо давно были растащены, и только громадные липы, буйные заросли сирени и желтой акации и несколько голубых елей среди мелкого соснового леса по берегу озера показывали, что тут было культурное гнездо. Городок, всего в две улицы, был в версте от станции и состоял из тридцати домов фермеров и рыбаков. Впрочем, был и трактир, во втором этаже которого можно было получить комнаты. Несмотря на то, что Латвийская республика существовала уже полсотни лет, а Россия столько же лет как погибла, население говорило по-русски. Здесь была граница, дальше шло «гиблое место», страшное черное пятно на карте, с алой надписью «Чума»...

С сердечным трепетом собрались в этот день на ужин путешественники.

Вечерело. На заднем дворе трактира, под чахлыми вишнями, покрытыми красными кислыми плодами, поставили стол, две скамейки и два табурета и разложили тарелки. Хозяин трактира, старый пастор и местный комиссар собрались посмотреть на отважных путешественников.

Пастор помнил те времена, когда в тридцати верстах от Мариенбурга по направлению к Острову днем и ночью, точно шум моря, гудели человеческие голоса, когда по ночам небо пылало заревом, а с утра тысячи аэропланов носились над Мариенбургом. Тогда все население попряталось в подвалы. В Мариенбурге стояли английские и латышские войска. Солдаты сходили с ума от ожидания чего-то ужасного. А потом как-то днем в продолжение нескольких часов там слышался грохот взрывов. Было видно, как огненными змеями, вспыхнув, падали аэропланы.

Английский капитан с двумя солдатами пошел на разведку. Он вернулся на другой день, еле живой от отравы. Его солдаты погибли.

— Он пришел ко мне, — говорил пастор. — «Дайте вина, пива, морфия, кокаина, — закричал он и схватился за голову. — Я с ума сойду... Я умру от ужаса! Я был на Ипрских позициях! Я видел бешеные атаки немцев и стрелял по ним из пулемета. Там был враг... Там были живые люди. Здесь — одни мертвецы. Худые, зеленые лица... Большие биваки мертвых людей — мужчин, женщин, детей. И все в мутном призрачном тумане газа... Это ужас! ужас! ужас!»

Всю ночь капитан, стеная, пробродил по берегу озера. Под утро застрелился. Верите ли, господа, — это было в тридцати верстах отсюда, но, когда дул ветер с востока, здесь больше года пахло мертвечиной.

— А что там теперь? — спросил Клейст.

— Я там не был, — сказал пастор. — Вот хозяин Кам-пар там бывал не раз.

— А вы зачем туда ездили? — спросил у хозяина, присевшего тут же в саду на табурете, Коренев.

— Провожал я туда парнишек. Туда ведь много идет. Оттуда никого.

— Что же там?

— Слышать: империя Российская. И император там уже второй.

— Откуда же слышать, когда говорите, что оттуда никого нет? — сказал Дятлов.

— Да вот, видите ли... Ничего и не слышно, а вот ребята рассказывают: империя там и вера христианская.

— Вы знаете, — вмешался в разговор пастор, — ведь и меня из-за того пригласили опять и кирху починили. Из-за слухов этих. Ведь тогда, когда повсеместно признали христианство вредным учением, кирху закрыли и меня прогнали. Даже учительствовать не позволили. Рыбаком я стал... Да... А потом слух... Россия жива, и Христос в ней. Было собрание у нас. Бурное! Страсти разыгрались, драка была,

решили открыть кирху и восстановить богослужение. И... знаете... полно народом.

— Я уже разъяснял им всю нелепость этого, — сконфуженно сказал комиссар. — Нет, прут. Подавай им истинного Бога. Страшно без Него на земле. Мы приглашали из Дерпта профессора. Тот читал очень отчетливо, что Бога нет, и все это предрассудок один. Все точно рассказал, как земля, значит, произошла как бы из ничего, как сначала газы были, потом через сгущение стали образовываться материки и воды, как слизь появилась и из слизи амеба, а из амебы дальше, ну и человек тоже. — «Почему же, — кричат, — теперь этого нет, чтобы обезьяна в человека обратилась? Врешь, старый обманщик!» Чуть не пбили и профессора-то. Такого натворили... Да...

— Вот вы Курцова допросите, — сказал трактирщик. — Тот и на Финском заливе бывал.

— Да, это верно, — подтвердил комиссар. — Чуть чуму к нам не привез. Пошлите, товарищ, за Курцовым, он, кстати, русский, псковской.

Курцов был парень лет двадцати трех, крупный, беловолосый, широкий.

— Я под самым Кронштадтом был, — заявил он. — Да, во как! Чуть эту самую чуму не получил. Потом в дезинфекции меня два месяца держали. Во как...

— Да разве и теперь там чума? — сказал Бакланов.

— А ты что думаешь? Вишь ты, как дело-то было. Еще при царском правительстве, отец мне рассказывал, там чуму разводили. Кто ее знает, для чего? Не то опыты какие делали, не то царь на всякий случай держал, чтобы против народа пустить, ежели, мол, бунт какой. Да... ну так там на особом форту дохтуры такие жили, лошадей, верблюдов держали, кроликов, и в банках с бульоном эту самую, значит, чуму. Ну вот, как голодный-то бунт был, настигли, значит, этого самого форта-то. Лошадей, верблюдов, того, зарезали и, значит, суп-то этот самый с чумой-то слопали. Ну и сказывают, чуму-то эту самую выпустили, воду заразили, и весь Кронштадт помер. Тихо там стало. Страсть. Я зимой версты на две на лыжах подходил, а войти страшно. Ну как эта самая чума-то накатится. .. Но только работают там, — неожиданно заключил свою речь Курцов.

— Почему вы так думаете? — спросил Коренев. Он встал от волнения и прошелся.

— А вот почему. Значит, стоял там в развалинах Андреевский собор. Без крестов, значит. О прошлую зиму пошел я туда. Иду

назад, солнце заходит. Ну так явственно золотой крест на соборе сияет. Не иначе, как люди поставили.

Все молчали. Было что-то торжественное в этом молчании. Коренев, часто дыша, стоял, прислонившись к обвитой хмелем беседке.

— Вы думаете, — медленно проговорил Клейст, — что русские живы?

— А кто ж их знат-то, — сказал Курцов. — Никто не видал, никто не слышал, никого оттеля никогда не приходило.

— Главное, — сказал трактирщик, — пройти теперь туда никак невозможно.

— Почему? — в голос спросили Клейст и Коренев.

XII

Трактирщик отвечал не сразу. Он раскурил трубку и потом, мечтательно глядя на озеро, сказал:

— Дикая страна. Пустыня. Сорок лет человек на ней не бывал.

Он оглянул двор, подошел к забору, возле которого на помойной яме густо разрослись чертополох и лопухи, и с трудом сломил колючий стебель молодого чертополоха, украшенный красивым лиловато-розовым цветком.

— Вишь ты, какой сердитый, — сказал он, — как колет, насилу сломил. Знаете вы это растение?

— Ну конечно, знаем, — сказал Клейст. — *Onopordon acanthum*. В Германии он редко теперь попадается, потому что вся земля разработана.

— Так, — сказал трактирщик. — Теперь, представьте, туда сорок лет нога человека не ступала, и лежали там и гнили трупы. А он это любит, чертополох-то, чтобы песок, значит, и гнилое что-либо... Непременно вырастет. Как к границе подойдете, глазом не охватишь — все розово от него. И такой могучий разросся, сажени две-полторы вышиной, а ствол топором рубить надо. Прямо стена.

— Хуже стены, — сказал Курцов. — Стену, ту перелезть можно, а тут — ни продаться, ни сломить.

— Да. Руки колет, платье рвет. Еще, сказывают, там дальше эта самая белладонна растет, прямо десятинами, как картофель, что ли. Дух от нее тяжелый, дурманом несет, выдержать невозможно. И ни тебе ни жилья, ни роздыху, и где этому конец, никому неизвестно.

— Анадьсы ребята, — сказал Курцов, — пробовали дорогу про- рубить. Рубили с полсуток, а на сто шагов не ушли.

— Идти-то страшно. Змеи, оводы, мухи, — сказал трактирщик.

— Укусит, — подтвердил Курцов, — а кто ее знат-то? Может, ядовитая или какая дурная. С чумой. Ребята заглядывали вглубь-то, кости лежат человеческие, черепа. Телеги поломанные, колеса, — до жути страшно.

— Ее не перейдешь, границу-то, — сказал трактирщик, — а только точно, слышно: люди живут там. А только... тихо.

— Что тихо? — спросил Коренев.

— Тихо там. Ничего такого не слышать, вот как у нас, чтобы пришли и обобрали или там поспорили из-за чего и стрелять стали... Пойдешь туда, к чертополоху-то, глядишь на него. Ну прямо море перед тобою розовое, и так жутко-жутко станет.

— А тянет, — подтвердил Курцов. — Ну и тянет. Вы, господа, коли пойдете, я с вами бесприменно пойду.

— Топоров запасите, — посоветовал пастор, — палатки. Провизии побольше.

В нескольких шагах от них плескалось озеро. Из воды торчали обломки свай. Видно, мост был на остров. На острове была башня. Серые и розовые камни поросли травой и мхом. На вершине прилеплась кривая березка.

Коренев думал: «Это граница старой царской Московии. Куда ушла она теперь? И не сторожевые башни, не крепости и городки с ратными людьми охраняют ее, но густые заросли чертополоха, змеи и ядовитые мухи. В сказочное царство, духами охраняемое, в царство, где на стороже стоит чешуйчатый Змей-Горыныч, идти нужно с мечом-кладенцом, чтобы рубить ему головы». И шел он, как сказочный богатырь, искать таинственную царевну, гнался за призраком. Ну он-то мечтатель, художник!.. Но ведь шли с ним крепкий и здоровый Бакланов, шел Дятлов, шел старый Клейст, шла мисс Креггс, крепкая американка, искательница приключений, Эльза — не в счет. Коренев знал, что она шла потому, что он шел.

Эту ночь в гостинице никто из приезжих не спал. Близка казалась цель, близка и недостижима. Томили грезы, думы, воспоминания... Трое русских немцев спали на русской земле. Курцов был подлинный русский. Кругом, хоть и плохо, а говорили по-русски.

Коренев поднял голову с разогревшейся подушки. «Почему они не забыли русского языка? Почему? Почему? Значит, верили, что он нужен. Значит, они, простые люди, верят, знают, чувствуют, провидят, что Россия жива. Что она не сказка, а реальность...»

— Бакланов! — окликнул он. — Вы спите? С соседней койки сейчас же поднялась черная лохматая голова. Круглое румяное лицо, с но-

сом картошкой, с маленькими усами, нависшими над толстой губой, и черной бородой, повернулось к Кореневу. Большие глаза сверкали из-под густых, в лохмотьях, бровей.

— Нет... а что?

— Вот что, Бакланов. Если Россия не погибла, то что там?

— Там... хорошо, — зажмуривая глаза и потягиваясь, проговорил Бакланов. — Россия без иностранцев, без спекулянтов, без банков, без указки Западной Европы, — да ведь это прелесть что такое должно быть. Что создал там на свободе русский ум, какие пути пробил русский талант, никем не стесняемый? И мы увидим... и мы приобщимся к этой жизни.

— Но... — как бы говоря сам с собой, сказал Коренев, — Русь двуликая.

— Да, — сказал Бакланов, — верно, но если ту-то, грязную, паршивую Русь, да заставить работать! Ведь кто же, как не она, дороги проводила, канавы рыла, кто, как не она, мерзла, и мокла, и мечтала только о шкалике водки? Нет, Коренев, увидим мы что-то хорошее.

— Как странно, — сказал Коренев, — у вас те же мысли, что у меня.

— Ну что странного! — сказал Бакланов и, подойдя к окну, распахнул его.

Темная звездная ночь искрилась и сверкала на дворе. Тихо шелестело камышами озеро.

— Что странного! Мы на костях предков... Каких предков! Там, при демократической свободе, мы не смели говорить об этом, а здесь... Александр Невский... боярин Василий Шуйский... не они ли, — быть может, с этого самого места из тогдашнего царева кабака смотрели в окно, и такая же темная звездная ночь была на дворе, так же плескали волны озера... те же звезды смотрели на них... Петр Великий здесь лежал и думал, то о красавице Екатерине, то о том, как поведет свои полки на шведов, то о свидании с польским королем. Герои!.. Герои нас окружают — и чудится мне, что и там воскресли герои...

— Мне вспоминается одна картина, — сказал Коренев. — Она была очень слабо написана, но заслужила самой сильной похвалы критики и приобретена в Национальный музей. Она изображала толпу людей. Серых, грубых людей... В синих блузах рабочего, в солдатских шинелях, в рубахах крестьянина толпа надвигалась, выдвигалась из рамы. Впереди были видны сжатые кулаки, открытые кричащие рты. Она попирала тела, разряженные в цветные кафтаны, золотом

шитые. Можно было догадаться, что это лежали Наполеон, Фридрих Великий, Бисмарк, Шиллер, Гете. По ним ступали грязные сапоги. Над толпой реяли красные знамена, и на них были надписи: «Долой тиранов власти!», «Долой тиранов мысли!», «Долой тиранов формы!»... Картина называлась: «Вся власть народу!»...

— Что же это дало? — спросил Бакланов.

Коренев не отвечал. Он подсел к окну рядом с Баклановым. Широко, по-осеннему, залег на темном небе Млечный путь, и таинственно сверкала его парчовая дорога, как река, разливаясь по небу. Ярко выделялись семь звезд Большой Медведицы, и над ними сверкала Полярная звезда.

— Русская звезда, — прошептал, показывая на нее пальцем, Коренев. — Русская!.. Звезда северная...

Бакланов поднял голову. Сверкали отражения звезд в его влажных выпуклых глазах.

Тихо прошептал он, точно стыдился того, что сказал:

— Коренев... правы те, которые говорят: есть Бог... Есть Иисус Христос... Эх, нехорошо, неправильно нас учили...

XIII

Стена встала перед ними. Верно говорил Курцов, хуже стены. Стену перелезть можно — эту никак не осилишь.

Где кончился лес, кончились и поля, и дороги. Песчаные холмы, низкие, едва приметные, покрытые розовым вереском, уходили на восток. Желтые коровяки (*Ver-basum thapsiforme*) поднимали свои усеянные цветами головки. Местами на целые версты росли они, придавая меланхолический вид пустынным холмам. Дикий лен (*Linaria vulgaris*) рос пучками, и желтые цветы его, напоминающие львиные мордочки, поднимались из тонких, кверху растущих зеленых листьев. Желтые горчанки (*Gentiana ultea*), голубые васильки, лиловые ворсянки (*Dipsacus silvestris*), цикорий, колокольчики покрывали пески пестрым ковром. Странная тишина царила кругом. Не было видно ни птиц, ни животных. Казалось бы, это были самые заячьи места, а ни один заяц не выпрыгнул при их приближении. Быстро пробежала серая ящерица, остановилась на кочке и застыла, высунув тонкий язык. Она была крупная, больше четверти аршина. Жутко было идти по этим травяным зарослям диких и грубых растений, без дорог и тропинок, прямо по компасу на восток. Впереди шел Курцов. За ним Коренев, Эльза, мисс Креггс, Бакланов, Дятлов и сзади всех старый Клейст.

У каждого был мешок за плечами, веревка, топор, колья и полотнища палатки. Провизии каждый нес на неделю. Шли молча. Пустыня давила. И странно, и дико было думать, что они шли по Европе. Нигде не попадалось ни следа жилья, ни колеи, ни дороги, ни конского следа. В одном месте из земли, совершенно засыпанные песком, торчали колья, и куски ржавой темно-коричневой проволоки лежали подле... Курцов подал Кореневу кусок проволоки. Она так проржавела, что ломалась, как стеклянная, рассыпаясь в коричневый порошок.

— Английские окопы, — сказал Курцов.

Бакланов нашел тонкий патрон. Пуля еще была цела, но медная гильза стала тонка, как бумага.

Бакланов снял шляпу, и все последовали его примеру. Было здесь, как в храме. Синее небо было покрыто пушистыми белыми барашками, и, когда посмотришь наверх, золотые пузырьки плыли перед глазами. Коровяки, которые немцы называют королевскими свечами, как желтые факелы, торчали кругом. Местность полого спускалась на восток, и там, в трехстах-шестистах шагах, точно густой темный лес, разрослись чертополохи. Они были огромного размера и росли такой сплошной стеной, что не было возможности продрасть сквозь них.

Ломая растения и спотыкаясь об их крепкие стебли, вышел Клейст и остановился. Седые волосы развевались на его сухой голове. Задумчиво смотрел он вдаль, и, когда заговорил, его голос звучал, как похоронный колокол, как речь пастора над темным и суровым гробом, полным страшной тайны.

— Там, — сказал он, протягивая руку по направлению к зарослям чертополоха, — там в вечном покое лежат кости русского народа. И сколько лиловых мохнатых цветов — столько душ истерзанных голодом людей. Там совершился суд Божий... Там страшная кара постигла людей, которые забыли Бога, убили и замучили безвинного царя, там погибли те, кто обагрил руки свои кровью невинных. Там кончилась великая мировая война!.. Спите, непогребенные!.. Спите, умершие со злобой и отчаянием в сердце... Спите!.. Бог простит вас...

Клейст, атеист Клейст говорил о Боге! Говорил, как пастор. И было как в храме, под высоким и ярким куполом неба, сверкающим бесконечной высью, и, как свечи, стояли желтые коровяки, и тишина была над прахом миллионов людей.

Долго молчали. Был полдень. Но не пели в небе жаворонки, не жужжали шмели, не трепетали живыми цветами в воздухе желтые, белые и коричневые бабочки. Только цветы стояли молчаливо у ги-

гантского кладбища, да ящерицы изредка пробежали, точно стерегли покой смерти.

Когда подошли вплотную к зарослям чертополоха, остановились и стали расставлять палатки.

— Я думаю, — сказал Клейст, — что мы напрасно идем дальше. То, что я вижу кругом, показывает мне, что там жизни нет.

Долгое тяжелое молчание было ответом. Эти заросли чертополоха, уходившие за горизонт, казались ужасными. Он говорили о смерти всего живого. Точно дальше была обширная помойная яма, гиблое место, черное пятно с надписью кровавыми буквами «Чума».

На темном, почти черном, фоне колючей зелени замысловатым узором, нежным ковром разбежались лиловые пушистые цветы. И какой-то обман таился в них. Чудились ядовитые цветы белладонны, серо-желтые с лилово-коричневыми жилками, чудились мухи, пропитанные ядом, сохраненным и культивируемым ими, отстоянным в них в течение сорока лет...

Все притихли. Ожесточенно стучал в стороне топором, вбивая колья палаток, Курцов, и каждый стук сопровождался каким-то хриплым звуком. Было что-то страшное в этом звуке. Солнце уходило на запад, и на востоке, над морем чертополохов ползали тени, надвигались туманы.

Уже стало темно, и сыростью пустыни потянуло над землей, когда раздался вдохновенный голос Коренева:

— Нет! Там жизнь. Мы не отступим от своего плана! Мы отыщем свою родину. Мы найдем свою мать. Мы вернемся домой!

Домой!

У каждого был дом в Берлине, где жили, любили, смеялись и пели. Но Коренев, Бакланов и Дятлов чувствовали всегда, что это не их дом.

— Родина зовет нас, — сказал Коренев. — И мы пойдем на ее зов, и мы найдем ее...

— Пусть гиблое, подлое, ядовитое, отравленное место, — сказал Дятлов. — Пусть ничего. Но увидеть это «ничего», которым дышали и где жили наши предки! Пусть пьяные, окровавленные, жестокие, гадкие, мерзкие, дикие, пусть отвратительные, но наши. Довольно чужими задворками, на хлебах из милости, как нищая старушонка, скитаться по белому свету и быть всегда, как собака, ощерившаяся над помойной ямой и все ожидающая, что обдадут ее кипятком. Довольно! Мы идем домой, — и если там ничего, — мы трое создадим из этого «ничего» Россию!

— Ну! Быть по-вашему. Ведите нас, мой юный друг, — проговорил Клейст.

И как-то в этот вечер все покорились воле Коренева, и без выборов, без разговоров признали его своим вождем, капитаном корабля, готового пуститься на восток... На восток.

XIV

В палатках еще спали. Эльза и мисс Креггс, согретьшись под толстыми урсовыми пледами, тихо дышали в прохладном и сыром воздухе, доктор Клейст в другой просторной палатке, лежа на войлоке, издавал переливистые звуки, ему вторили красный, плотный Бакланов и зеленовато-бледный Дятлов, когда слышались негромкие удары топоров и шелест падающих растений. Коренев и Курцов с первыми проблесками мутного света выползли из палаток. Небо клубилось туманами. Над лиловатым морем чертополохов низко нависли серые косматые тучи. Печаль была разлита в воздухе. Ни один звук не нарушал тишины. Лес чертополохов казался сном.

— Вишь ты, как, — говорил Курцов, — И рубить-то его неспособно. Ни тебе топором, ни косой его не возьмешь.

Трубчатый, покрытый острыми иглами ствол чертополоха ломался, чертополох валился на сторону, и обдирать остатки его ствола приходилось острым ножом. Рубили под корень, чтобы ценьки не мешали идти. Срубленные растения оттягивали назад, для чего надевали кожаные перчатки.

Они проработали два часа, а почти не подались вперед. Казалось, что они все стояли на опушке, и перед ними была непроходимая стена.

— Проклятое место! — воскликнул Коренев. Эльза позвала его пить кофе.

После кофе, когда все стали на работу, девушки оттаскивали растения и складывали их у входа, дело пошло успешнее. Работали в три топора, в две смены. Но проходили часы, а так мал был коридор, и так велика площадь заросшего пространства! Все были увлечены работой. За обедом говорили мало. Когда стало смеркаться и осмотрели, как далеко ушли, решили, что не стоило переносить палаток, и вернулись ночевать на прежнее место.

На второй день нашли, что выгоднее рубить более широкий коридор и складывать тут же стволы растений, очищая их от листьев. Эльза и Креггс сбились с ног и изранили себе руки за первый день, их пришлось заменить Клейстом, и работа шла в два топора. Но все-таки к вечеру коридор был настолько глубок, что решили в конце его

разделить площадку и перенести палатки. На земле часто попадались черепа. Они были белые, источенные временем, червями, водой и песками, покрытые остатками старых листьев. Кругом них валялись кости, и трудно было выбрать место для палатки, где бы не лежало человеческих останков. Клейст нашел пуговицу с двуглавым орлом старой Российской империи, Корнев — красную звезду, мисс Креггс — заржавелый нож и медный почерневший крестик. Эти кости и эти находки, говорившие о том, что тут были люди, навели всех на грустные мысли. Молча, как на кладбище, ужинали, и еда не шла в рот.

Ночевали подле остатков телеги, где нашли чугунный котел, несколько проломленных детских черепов и груды костей. Ни мух, ни змей не было. Даже ящерицы исчезли.

Это было царство смерти. Над головами переплетались длинные острые зубчатые листья чертополоха, и сквозь них было видно бледное вечернее небо. Когда оглянулись назад, то увидели узкое отверстие прорубленного коридора, и в нем спускалось красное солнце. Было что-то зловещее в кровавом закате. Серые тучи надвигались на солнце и вспыхивали алым полымем, становились красными, клубились и таяли, как пожарный дым. На прорубленной площадке было душно и сыро. Пахло тленом, прелой землей, плесенью, казалось, что кости издавали страшный запах смерти.

Усталые от непривычной и тяжелой работы путешественники говорили мало и, когда легли, долго не могли заснуть. Казалось, что нет такой человеческой силы, которая могла бы победить это странное явление природы.

Третий день работы был самым тяжелым. Клейст совсем отказался работать и сидел в палатке.

— Тут надо машину какую-нибудь придумать. Танк какой-нибудь пустить, а не топорами рубить, — ворчал он, прислушиваясь к вялому стуку топоров и шелесту валяющихся растений.

У всех ныли поясницы, на руках образовались мозольные пузыри. Не унывали только Курцов и Корнев. Первого ободрило то, что нет мух, второй верил в успех предприятия.

Четвертый, пятый и шестой день работали легче и, оценивая пройденное расстояние, решили, что отошли уже верст на пять. На шестой день Клейст, Эльза и мисс Креггс отправились за водой, так как взятые запасы истощились, а ручьев не попадалось. Площадь, которую они очищали, была уже сплошь покрыта человеческими костями, и местами черепа белели в толще растений, как грибы в лесу после летнего дождя.

Клейст заявил, что провизия кончается и надо возвращаться назад.

— Я вижу, что ничего не будет, — сказал он.

— Ну, еще один день, — умолял Корнев. Проработали день и снова решили работать. Работа засасывала, увлекала. Было обидно и досадно ее бросить. Командировали Клейста в Мариенбург за провизией и работали восьмой, девятый и десятый дни. Вышли из площади костей, но чертополох оставался таким же сплошным и могучим. Можно было подумать, что вся Россия покрыта им и что никогда они не выйдут на свободное пространство.

Клейст вернулся с двумя крестьянами и принес провизии на три дня. Крестьяне осматривали работу, испуганно косились на костяки людей и, оставив мешки у палаток, ушли. Суеверный ужас охватил их в таинственной тишине узкой просеки.

Работали еще три дня, но уже без веры, вяло и неохотно. Каждое утро перед началом работы Корнев жадно смотрел на восток. Он ждал, что восходящее солнце пробьет толщу чертополоха и брызнет сквозь стволы золотом лучей. Но все было черно в лесу, и только когда солнце высоко поднималось, оно лило скупой свет сквозь острые колючие листья, сводом стоявшие над просекой.

Клейст и Дятлов не работали. Мисс Креггс теряла веру, Бакланов ругался. Это был последний, пятнадцатый, день работы. На завтра решено было бросить все и возвращаться в Германию. Топоры затупели, провизию доставлять становилось труднее, обувь была изодрана об остатки пеньков, платье разорвано. Силы покидали. Ярko вставали в памяти примеры других людей. Сколько их пытались, и ни один не мог преодолеть этого страшного поля чертополохов. А что, если оно тянется на десять тысяч верст, и вся Россия, до самого Японского моря, поросла чертополохом?

Встали до рассвета и складывали палатки, чтобы идти назад. Корнев в сверхъестественной тоске припал к стволам и смотрел на восток. Солнце, по его расчету, уже взошло, но все так же темен был переплет стволов и листьев. Он уже хотел идти к своим спутникам, повернул налево и вдруг увидел просвет между стволами. Он вгляделся — на севере, не более как в двух сажнях, была видна прогалина, мутный свет блестел в ней, и четкими казались стволы за ней.

— Господа! — крикнул он. — Сюда! Сюда! С топорами!

Семь пар глаз впились в пространство. По мере того, как всходило солнце, ясно становилось, что там была пустота.

За час работы стена чертополохов, отделявшая их от него, была прорублена, и все выбежали, не дожидаясь, когда последние стволы

падут на узкую прогалину. Длинным мысом, естественная или искусственная, вдавалась в лес чертополохов узкая долина, сплошь поросшая густой и жирной белладонной. Красивые, полные таинственной мрачной прелести, мутно-желтые колокольчики цветов ее смотрели кверху, и дурманящий запах носился в воздухе. Но долина упиралась в горизонт, и там, трудно было разобрать за светом восходящего солнца, чернела не то новая площадь чертополоха, не то большой хвойный лес...

XV

Шли голодные и усталые, но полные веры, большим широким шагом, с палатками и мешками за плечами и винтовками наготове.

Поля, поросшие чертополохом, уходили вправо и влево и постепенно кончались. Белладонна сменялась молочаями, показались характерный капорский чай, покрытый розово-желтыми цветами, горизонт был закрыт громадным лесом сосен и елей.

Уже за полдень вошли в этот лес. Нигде не был видно следа человека. Не было ни дорог, ни тропинок, не было поленищ дров, ободранной коры, не было просек. Большой строевой сорокалетней лес рос ровно, никогда не подчищаемый, никем не охраняемый. Иногда попадалась прогалина. Несколько столетних дубов, лип и кленов росли на ней. Тонкие рябинки толпились за ними, акация свешивала старые желтые стручья, глаз искал за ними дома, усадьбы, постройки. И точно: земля была неровная, валялись кирпичи, попадались осколки стекол, разбитая посуда, и опять видны были кое-где в углу черепа и кости. Все говорило о смерти, о разрушении, о гибели. Ни одной свежей тропинки не вело к этим останкам, и снова вечерний ветерок не принес ни запаха дыма, ни запаха жилья.

Но лес не был мертвым. Из-под ног путников выскакивали зайцы. Тетерев вырвался подле Эльзы, запорскал и зашумел крыльями, так напугав ее, что она пронзительно закричала. Бакланов видел лисицу. Дятлов уверял, что он видел медведя. И потому, когда ночевали в самой лесной чаще, то установили дежурство и разложили костры, чтобы пугать ночного зверя. Но спали уже со смутной верой, что, может быть, что-нибудь и найдут.

Шли весь второй день, и все был тот же лес. К вечеру он стал ниже. Сквозь стволы стала просвечивать опушка. Потянуло холодом и сыростью, но кругом был лес, и стройные можжевельники, как часовые, стояли у входа в него.

Палатки расставили на опушке леса. На восток тянулась широкая долина. Она спускалась вниз, вероятно, к реке, и в темноте надвинувшейся ночи трудно было разобрать, что там — леса, поля, нивы, пустыня. Все возились у костров, согревая пищу, потом ужинали молча, угрюмо, и веря и не веря, усталые, потерявшие надежду. На Коренева смотрели мрачно.

— Я думаю, — сказал Клейст, — что наш опыт, наше изыскание, несомненно, громадной важности. Мы открыли новую землю, богатую землю, но землю пустую. Нам нужно возможно скорее вернуться домой и снаряжать экспедицию для колонизации этого чудного края.

Никто ничего не сказал, и после короткой тишины Клейст продолжал:

— Сто лет тому назад, мы, немцы, говорили, что славяне — это навоз для германской расы. Они сыграли роль этого навоза. Поля утучнены кровавыми жертвами, земля отдохнула и стала девственно плодородной... Германскому народу пора приступить к ее обработке.

Опять все молчали. Коренев поднялся от костра и пошел к опушке. Он кинулся ничком на землю, уткнул лицо в сырую моховую кочку и плакал горькими слезами.

О! Что мог он возразить на эти жестокие слова! «Россия была, России нет! Навоз! Навоз, навоз для германской расы. Его отец, его дед, Тургенев, Лев Толстой, Чайковский, Глинка, Репин и Маковский, Менделеев, Серафим Саровский — навоз для германского племени!» Слезы душили его. «Но ведь правда! Правда! Великий народ самоубийством покончил с собой, и на могиле самоубийцы выросла трава, показались цветы, которые сорвут те, кто остался жив. Разве не правы они? О! Как мучительна жизнь. Зачем, зачем являлся таинственный призрак ему, и манил, и звал его на восток? Чтобы увидеть торжество иноземцев, чтобы услышать чужую речь там, где должна была звучать родная русская речь. И некого винить. Сами... сами... сами пожертвовали собой во имя общего блага, во имя этого страшного Интернационала...»

Коренев плакал, уткнувшись лицом в кочку. Никогда он не любил так родины, никогда он не чувствовал себя так сильно русским, как в эту ночь, полную мрачного отчаяния.

— Петер! — раздался голос Эльзы с опушки. — Петер, идите скорее сюда.

Коренев встал и пошел на зов.

Эльза стояла на опушке, прислонившись к большой сосне.

— Смотрите! — сказала она, показывая рукой на юго-восток.

На темном пологие неба чуть горело бледно-зеленое зарево.
— Это северное сияние, — сказал усталым голосом Коренев.
Силы покидали его.

— Нет, нет, — сказала порывисто дыша Эльза, — это зарево электрических огней большого города... Как над Берлином.

Коренев схватил ее руку. Она пожала его холодную руку своими горячими пальцами.

— Позвать их? — спросила она.

— Нет, погодите... так страшно обмануться. Зеленовато-синий свет горел в небе и вдруг потух... Коренев взглянул на часы. Был первый час ночи.

— Это город, — прошептал он. — Культурный город с электрическим светом, с трамваями, с людьми.

Сердце его сильно забилося. Какое-то странное чувство небывалого раньше волнения захватило его целиком, и он опустился к ногам Эльзы и сел на землю.

Так и остались они сидеть рядом всю долгую осеннюю ночь, и все прислушивались, и ждали услышать что-нибудь, что сказало бы им, что там люди. Но ночь была темна, и ничего не было видно на горизонте, там, где тихо мерцали звезды и будто перемигивались между собой, и шептали слова, им одним известные.

XVI

На востоке дали стали шире, а небо бледнее. Звезды погасали одна за другой. Небо наверху становилось густого синего цвета. Тонкий туман потянулся с земли. Опушка леса, где сидели Коренев и Эльза, спускалась пологим скатом к не видной еще реке. Скаты порос густой травой. Белели доцветающие дудки, и цветы их сливались с белым туманом. Дали ширились с каждым мгновением. Точно ночь поднимала черные ресницы свои, и блистали за ними ясные, еще не проснувшиеся, глаза. Четкой щетиной стал далекий лес, и синим клинком проявилась заросшая кустами река. И вдруг вспыхнула на горизонте золотая полоса, и предметы стали яснее, и четко осветились лиловые колокольчики и желтая ромашка у ног Эльзы. Вместе со светом с востока пришел нежный, далекий звук свирели. Он пронесся двумя-тремя порывистыми нотами, тонкими, жалобными, зовущими, и затих. Еще и еще нота приставала к ноте, запуталась в переливах, запела, заныла, оборвалась, стихла и понеслась, уже вольная и широкая, как открывшийся вид, плачущая, тоскующая,

зовущая русская песня. Кто-то играл внизу над рекой, кто-то, протосковавший всю долгую ночь, заливался теперь сладкой песнью и ждал теплого солнца.

Нестерпимо для глаза загорелась одна точка. Словно лужица растопленного золота появилась над лесом. Брызнули золотые лучи, синие тени побежали от деревьев, прошептала всеми листьями своими береза, и солнце покатилося по небу, разгоняя мрак. Последняя звезда на западе угасла. Погасали алые полосы, и все небо становилось ровного чистого синего цвета.

— Как хорошо! — воскликнул Коренев.

— Что хорошо? — отрываясь от дремы, сказала Эльза.

— Да вот все это: солнце, вид, песня эта. Незнакомая и родная. Странная и понятная, робкая и зовущая, печальная и скромная и в то же время великая. Со дна души моей встают какие-то образы, и сердце мое вторит этой песне и угадывает ее продолжение.

— Страшно, — сказала Эльза.

— Почему?

— Шли мы пустыней и не видали людей, и не знали, где они, и есть ли или нет... И не было страшно. Но вот там город, эта тонкая флейта, что играла гимн солнцу, — они сказали, что там люди, и стало страшно. Человек человеку — волк.

— Мы шли к ним. Там русские.

— Как-то примут они? Что, кроме ненависти, должны питать эти русские к нам, европейцам, погубившим их отцов и дедов?

— Ах, нет. Это не то, — задумчиво проговорил Коренев. — Нет, совсем не то и не то. Я все боялся... Всю ночь думал, а что, если в России не русские? Ну, китайцы, татары, не знаю кто! Пришли и расположились на навозе-то русском. Вот и город сверкнул вчера электрическими очами своими, и все было страшно. Придешь, а там чужие люди, чужой язык, и родина... не родина... И вдруг эта пастушья свирель... Ведь это значит!.. Это значит — мы пришли домой!

XVII

Они не прошли и версты, как Курцов, находившийся в таком же напряженном состоянии, как и Коренев, воскликнул: «Гляньте! гляньте! вот кто играл!»

• Холмы волнистыми, мягкими, зелеными грядами спускались к реке. В небольшой балке паслось стадо. Коровы задумчиво стояли в низине и тупо глядели на солнце, сыровато-белые курчавые бараны

разбредись по скату. Спinoй к подходившим путникам сидел мальчик лет двенадцати, и в руке у него была дудка.

Мохнатая собака насторожилась и бросилась навстречу путешественникам со злобным лаем.

— Сюда, Барбос! Барбос, сюда! — крикнул мальчик, вскочил на ноги и повернулся лицом к путникам.

— Ах, какая прелесть! — воскликнула мисс Креггс. Мальчик был одет в белую, длинную, шитую по вороту и краям голубым узором рубашу, серые, грубого сукна штаны, ноги были обмотаны онучами, и на ногах были чистые новые липовые лапти. Лицо у него было загорелое, с серыми наивными глазами, любопытно глядевшими на все общество.

— Барбос, сюда — сказал он еще раз, оттягивая собаку за ошейник. — Во имя Христа, кто вы? Не бойтесь. Собака вас не тронет.

Коренев откинул винтовку и снял шляпу.

— Мы русские люди, — сказал он. — Хотя у нас немецкие паспорта, но мы русские.

Он полез за пазуху и достал испещренный визами паспорт. Мальчик не посмотрел на бумагу. Он глядел внимательными умными глазами, переводя свой взгляд с одного на другого.

— Вы голодны, — серьезно сказал он, — вы устали. Идите, и мой отец накормит и напоит вас. Потому что сказано в Писании, если вы голодного накормите и жаждущего напоите во имя Мое — вы Меня напоите и накормите.

Мальчик пошел впереди путешественников. Собака, недоверчиво ощерившись, шла сзади.

— Вы христиане? — спросил мальчик, вдруг останавливаясь и оглядывая всех. Никто ничего не сказал.

— Сказывают, — проговорил мальчик, — у немцев христиан нет. Они никак не веруют... Зачем вы ружья-то взяли? — с усмешкой спросил он.

— А как же, — сказал Дятлов. — Мы не знали, что будет. Мы слышали о крови, потоками проливаемой, о жертвах растерзанных, манила нас забытая, неизвестная родина, звала маленькими церквочками с куполами, синими луковками, глядящими в небо, яблонями топыркими, в садах по обрыву реки за гнилыми заборами притаившимися, и не знали мы, как примет она нас, многоликая в многогранности своей, родная и чуждая, святая и поганая, любимая и ненавидимая.

— Эх, барин, — сказал мальчик. — Говоришь ты по-книжному, по-ученому, а видать, немец мозги-то твои совсем наизуворот повернул. Подлинно Русь кровью полита была. Так это когда было! Когда

большевик ею правил, над верой христианской измывался, да когда татары поганные нами владели, а когда Русь была со своим царем православным, со святым патриархом — тихая была Русь... Святая... Тихая она и теперь.

— В России монархический образ правления? — спросил Клейст.

Мальчик внимательно посмотрел на него.

— В России, — сказал он, — по Богу живут, по любви. И есть у нас Царь: Его Императорское Величество Михаил II Всеволодович, дай Бог ему много лет здравствовать!

— А евреи у вас есть? — спросил Дятлов.

— Как не быть. Живут. Куда же им деваться? Только не правят больше нами.

Широкой балкой, между зеленых округлых холмов спустились к реке, и здесь был мост, построенный для скота и для возки сена. Он был узкий, без перил, но аккуратно сложенный из толстых, уже посеревших, замшелых досок. Трава проросла сквозь щели. За мостом, двумя глубокими колеями между травы, намечалась дорога. Верст на пять тянулись поля, за полями был лес, и в лесу шла просека, должно быть, дорога.

— Вот, — сказал мальчик, — все прямо, следом-то, как траву возили, и идите, а в лес войдете, — дорога будет. Лесом версты две пройдете, — тут и деревня Большие Котлы, наш дом с краю будет. Шагины мы. Отцу скажите — Семен-пастух приспал, чтобы накормили. Он знает.

А Семен — это я. Ну, Христос с вами... Да... на порубежном посту, коли воин опрашивать станет — вы, того, не бойтесь... Хотя и не христиане, он худого не сделает. Он к вам с любовью, ну и вы к нему тоже по-правильному, по-христиански, как надоть, чтобы промеж людей обращение было... Христос с вами. Здоровы бывайте. Мальчик пошел обратно к мосту.

— Какой славный мальчик, какой разумный, — сказала Эльза, — совсем как немецкий!

— Ну нет, — сказал Бакланов, — немецкий теперешний мальчик разве станет так любовно говорить? Он и ответит вежливо, и поможет, и укажет, но нет в нем этого, чтобы так и казалось, что он вот каждого любит насквозь, сердцем помогает. Немецкий мальчик волком смотрит. Все глазами нащупывает: а какой вы партии? С ним или против него?.. Сумерками веет от него, а ведь здесь свет... свет Христов!

— И как он это, барин, — сказал Курцов, — ладно все говорил, все с Богом да с Христом, отрадно даже слушать было.

— Монархия... — фыркнул Дятлов. — Опять под гнетом царизма!.. Верно, учителем-то школьным попик седогривый или фельдфебель безногий был, да драли... Драли его!..

Сказал это и остановился.

Маленькое голубоватое прозрачное облачко, как синий световой зайчик, как луч волшебного фонаря, овальный, четкий, быстро плыл к ним над травами. Плыл и ширился, раздвигаясь в стороны. Как дымок папиросы, чуть извиваясь, и вдруг стал перед ними — от колен и до груди, как широкая полоса прозрачного тумана. Голос хрипаватый, как бы из телефонной мембраны, раздался от него:

— Не подходите близко, можете ознобить тело. Не опускайте лица: будете убиты. Говорите ясно и отчетливо, прямо в облако, я услышу.

Дятлов рванулся вперед. На него пахло дурманящим запахом кислорода, и он наткнулся на упругую струю, жгучую, как железо в сильный мороз, чуть подавшаую под его напором, но сейчас же оттолкнувшую его с такой силой, что он отлетел на две сажени и упал на землю.

Все бросились к нему.

— Что с вами? — спросил, нагибаясь к нему, Клейст.

— Ничего, — отвечал бледный, как полотно, Дятлов. Его одежда была покрыта инеем, как будто он только что пришел с мороза. — Это облако жжется, — сказал он, вставая.

— Это, — задумчиво исследуя капли осевшего инея, — сказал Клейст, — полоса сгущенного почти до твердого состояния воздуха. Но как они достигли этого?

— Я говорил вам, предупреждал, — слышался из облака ровный голос, — вы дешево отделались. Если бы вы попали головой в полосу заградительной струи, — вы были бы убиты. Отвечайте обычным голосом, прямо в струю, я услышу. Кто вы такие?

— Мы русские, родившиеся в Германии. — Я — Петр Коренев, это мои товарищи: Иван Бакланов, Демократ Дятлов...

— Простите, не расслышал имя господина Дятлова, — раздался голос из облака.

— Демократ, мое имя Демократ, — сказал оправившийся от испуга Дятлов.

— Странное имя. Сколько я вас вижу — вы действительно русский. Православный?

— Нет, он атеист, — сказал Коренев, — я и Бакланов были когда-то крещены.

— Я тоже крещеный, — сказал Курцов, — Павел Курцов, псковской я.

— Значит, земляк. Здесь воеводство Псковское.

— А деревня Осташкове есть еще, потому родитель мой осташковский? — крикнул Курцов.

Но голос из облака не ответил на его вопрос.

— А кто остальные? — спросил он.

— Профессор и член Рейхстага, доктор Карл Феодор Клейст! — отчетливо сказал Клейст. — Эльза Беттхер, художник и кандидатка филологии Восточного факультета, и мисс Креггс, представительница американского общества образованных девушек для снабжения детей пролетариата носовыми платками, так называемое «Амиуаз-пролчилпок»*, — с трудом выговорил мудреное название Клейст.

— Большевицкое? — спросил голос.

— Ничего подобного, — возмутилась мисс Креггс, — наше общество имеет своими задачами...

— Для меня это неинтересно, — сказал голос, — я только удивился дикому названию, от которого пахло на меня кровавыми временами большевизма. Какие ваши намерения?

— Мои русские друзья, — сказал Клейст, — стосковались по России и хотели вернуться на родину.

— Оченно даже отратно русскую речь слышать, — перебил его Курцов, — до ужаса даже желательно родную деревню повидать.

— А мы, — продолжал Клейст, — идем с научными целями изучить жизнь нового русского народа. У нас все паспорта в порядке и с надлежащими визами...

— Этого здесь не требуется, — сказал голос. — Положите ваше оружие — оно вам не нужно. Запомните, что оно положено на Островскую заставу № 12 Псковского воеводства на ваше имя. Впоследствии оно вам будет возвращено.

Все молча положили оружие. Путешественники, даже старый Клейст, чувствовали себя подавленными явлением, объяснить которое они не могли. Было видно, что вместе с облаком сгущенного воздуха им противоборствовала какая-то человеческая сила, которая имела возможность их видеть, слышать, говорить с ними, а сама была невидима.

— По воле государя императора вам разрешается вход в пределы Российской империи. Да хранит вас Господь Всемогущий! С Богом — идите.

* Am. y. w. a. s. prol. chil. pokk. = American young women association for supply of proletarian children with pocket-handkerchiefs.

Облако растаяло. Пахнуло кислым, дурманящим запахом, как пахнет от баллона с кислородом в кабинете зубного врача, и ясный горизонт веселого осеннего вида, ярко озаренного утренним солнцем, открылся перед путешественниками.

XVIII

Когда прошли версты две, навстречу попался бравый молодец, проехавший верхом рысью. Он сидел на прекрасной рослой гнедой лошади. Седло на ней было казачье, с подушкой, сделанное из белой прожированной кожи и казавшееся цвета подожженных сливок. Конский убор — уздечка, пахвы и нагрудник — были богато выложены серебром и какими-то голубыми камнями, похожими на бирюзу. Такая же голубая бахрома из шелковой тесьмы свешивалась с ремней на грудь и на круп. Молодцу было лет под тридцать. Он был сух, загорел, чернобров и черноус, с зоркими острыми глазами, с тонкой талией и гибким станом. Он сидел прямо на своем легком, блестящем от овса, коне. На нем была высокая баранья шапка серого серебристого курпея с голубым верхом, длинным языком с белой кистью, свешивавшимся вниз, казакин тонкого беловато-серого кавказского сукна, подтянутый черным наборным поясом, синие шаровары и черные высокие сапоги. Кавказская шашка в ножнах с серебром висела на боку. За спиной болтался небрежно повешенный голубой башлык, отороченный белым, с белой же кистью. Голубые погоны с номером были на его плечах. Молодец внимательно посмотрел на пришельцев и, не замедляя хода лошади, проехал мимо. Только трава прошуршала под ее ногами — тремя белыми, в чулках, четвертой черной.

Через минуту он обогнал их. Два ружья — Бакланова и Дятлова — висели у него за плечами, третье — Коренева — и револьверы он держал в руке, поперек седла.

На опушке леса, заслоненный молодой порослью елок, стоял одноэтажный дом казарменного вида. Сбоку была площадка, полосатая будка, белая с черными полосами, обведенными оранжевым шнуром, и рядом высокий флагшток, покрашенный в те же цвета. На флагштоке чуть развевался большой русский флаг. У Коренева и Бакланова сжались сердца, когда они увидели белую, синюю и красную полосы, которые в этом русском сочетании они видели только на старых картинах. У Коренева слезы стояли на глазах.

— Россия!.. — умиленно прошептал он. — Вот она, Россия!

— Россия-матушка! — воскликнул Курцов. — Здравствуй, родная! — И, скинув шапку, перекрестился.

Все мужчины сняли шляпы. Девушки с благоговением входили в тихий лес, и у них, у атеистов и безбожников, было такое чувство, точно входили они в храм.

По платформе возле будки ходил взад и вперед такой же молодец, как и тот, который их обогнал. У него висело чистенькое нарядное ружье за плечами какой-то не виданной Корневым системы, обнаженная шашка была в руках. Он зорко осматривал проходивших, невольно замедливших шаги, но ничего не сказал. На краю платформы стоял какой-то странной формы инструмент на небольших колесах. Он имел длинный ствол, покрытый металлическим чехлом, и сзади к нему был прикреплен цилиндр с тонкими трубами с маленькими медными кранами. Орудие это имело ручки и лямки для перевозки его людьми и, вероятно, собаками. Большая, серая, похожая на волка, олонецкая лайка, с длинной острой мордой и стоячими ушами, сытая, холеная, с блестящей красивой шерстью, черной на спине и желтовато-серой на боках, в ошейнике из серебра с голубыми камнями, раскинувшись, лежала подле орудия. Она открыла пасть, обнаружив два ряда блестящих белых зубов, высунула длинный тонкий язык и смотрела внимательно на входивших. Но она не залаяла, не ощерилась, а чуть два раза вильнула кончиком хвоста, будто сказала: «Добро пожаловать».

Над дверьми казармы висела большая белая вывеска, и на ней под золотым выпуклым двуглавым российским орлом большими печатными буквами было написано:

«Застава № 12 Островского полка Императорской порубежной стражи. Псковское воеводство». На дворе, окруженном сквозной решеткой, обсаженной сиренью и акацией, были видны конюшни и сараи. Люди выводили лошадей на коновязь. Они были без казакинов, в цветных, белых, синих и серых рубашках, заправленных в шаровары. Они весело говорили, ласково окликая лошадей. От них отделился молодой красивый человек, вероятно, офицер, потому что на его казакине были серебряные погоны, подошел к воротам и смотрел на путешественников и тоже ничего не сказал, ничего не спросил.

«Однако, — подумал Клейст, — не любопытный народ в этой самой России».

Против казармы, в лесу, на нарочно расчищенной площадке, окруженной голубыми американскими десятилетними елками, высилась красивая, выложенная цветным, розовато- и голубовато-серым мрамором, с высоким золотым куполом, часовня. В ней за раскры-

той стеклянной дверью видны были иконы, украшенные золотом, камнями, лентами и цветами. У икон стоял аналой, и монах в черной рясе, негромко, то поднимая голос, то понижая до шепота, что-то читал перед изображением распятого Христа.

Корнев, Курцов и Клейст подошли ближе к часовне.

— Помяни, Господи, — читал старый седой монах, — души рабов безвинно убиенных: императора Николая II Александровича, государыни императрицы Александры Феодоровны...

Он именовал имена наследника и всех великих княжон, а потом быстро и невнятно бормотал еще имена... имена... имена...

— Болярина Сергея... воина Никиты... умученного болярина Федора, воинов Александра и Константина, малолетнего Николая и всех в море утопленных, заживо пожженных, муками страшными замученных, заживо погребенных, голодной смертью погибших... Их же имена Ты Един, Господи, веси... Вся их согрешения, вольная и невольная, яко благий и человеколюбец, прости!..

Появившаяся на лице Дятлова ироническая улыбка застыла. Было что-то умильное в этом утреннем поминовении убитых и замученных людей, в глухом лесу, против казармы, полной потомками, быть может, тех самых людей, которые в море бросали, в огне жгли, заживо погребали и мучили братьев, уничтожая под корень свою родину.

Хотелось расспросить монаха, что это за новый обычай в новой России, от которой стариной пахло и которая по-старому широко распаивала объятия пришельцам, не спрашивая, кто они и зачем они пришли.

Офицер смотрел на них ласково, но лицо его было замкнуто, и всем показалось что он не ответит на их вопросы, как и сам их не спросил ни о чем. Путешественники почувствовали, что в новой России болтовни нет, она сосредоточилась в какой-то большой и сильной, — и, судя по тому, что и казарма, и часовня, и обмундирование, и снаряжение блистали новизной — творческой работе. В этой работе новая Россия достигла уже многого и сделала открытия, неизвестные западноевропейскому ученому миру.

Путники пошли от часовни. Ироническая улыбка сошла с лица Дятлова, и он опустил голову и глубоко задумался.

Корнев, напротив, гордо поднял свою голову и всем видом говорил: «Я — русский! Русский! Боже! Как хорошо, что я — русский!»

Через лес шло прекрасно разделанное шоссе. Вдоль него были посажены дикие каштаны. Зеленой лентой уходило шоссе между темной полосой дикого и угрюмого, нерасчищенного леса и напоминало путникам шоссе Германии.

Когда прошли лес, перед путешественниками открылся широкий простор полей и желтых, уже убранных, нив. Только овсы еще доспевали и зеленовато-желтой волнующейся полосой колебались то тут, то там, среди полей ржи и розово-зеленых клеверников, покрытых цветущей, густой, низкой и жирной отавой. В полуверсте раскинулось небольшое село. Оно состояло из ряда усадеб, окруженных садами и огородами, клунями, амбарами и сараями, раскинутыми по широкому пространству возле речки, вокруг площади, на которой стояла новая белая каменная церковь с голубыми куполами, усеянными золотыми звездами. Дружный шум молотилок и веялок, пение петухов и кудахтанье кур доносилось оттуда. Довольством тянуло от высоких золотистых скирд хлеба и громадных, еще не успевших зажелтеть, копен сена, расставленных по задкам деревни.

Медленный благовест неся от села. Звонили к обедне.

За селом, под самый горизонт, уходили поля — то желтые, то зеленые, то красные гречишные, то мохнатые конопляники, то черные, уже распаханнные под новую озимь. Сладким, бодрящим и волнующим запахом зерна несло от нив, пахло клевером, простором, ширью. Мощно, могуче вздыхала счастливая Русь и дарила богатство и счастье.

Вправо, немного на отшибе, в тенистых купах кудрявых дубов и круглых лип, на небольшом пригорке над рекой, стоял одноэтажный дом старой русской архитектуры, с колоннами по фронтому, с высокими окнами, со спущенными зелеными ставнями.

У крайней хаты высокий мужик лет тридцати пяти наливал из каменного водопроводного крана ведра. Он был босой, с белыми чистыми ногами, мягко стоявшими на мокром песке, в сероватых длинных штанах и рубашке, подпоясанной цветным пестрым поясом. На голове густо росли расчесанные на две стороны волосы, остриженные в кружок. Он напомнил Эльзе картину «Крючник», которую писал Корнев незадолго до их отъезда из Берлина.

Курцов выдвинулся вперед и развязно спросил:

— Псковские?

— Псковские, — отвечал мужик.

— И я псковской, — сказал Курцов.

— Храни Бог, — сказал мужик. — Откеля идете? Не по-нашему, православному, одеты. Ишь, усы поскобили, бороды обрили, а бабы в юбках каких коротких, колени видать. Не по-нашему. Из Неметчины, что ль?

— Из Германии, а только мы русские, — сказал Коренев. — Где здесь Шагин живет?

— Шагин? — переспросил мужик. — А на что вам Шагин? Кто вам его указал?

— Семен, мальчик, пастух, — сказал Коренев.

— А... а... Сеня. Вы его, значит, возле леса повстречали. За порубежной заставой. Ну, что ж, коли указал, пойдемте. Я вот он и есть — Шагин. Устали, поди-ка? Что, у вас в Неметчине-то, видать, не сладко живется? Свобода-то надоела, что ль?

— А что? — спросил Бакланов.

— Да что? Не первые вы, — сказал Шагин. — За лето через наше село человек до тридцати пройдет. И все в Бога не веруют. Вы-то тоже, поди, неверующие?

Опять, как и на вопрос мальчика, промолчали. В Германии гордо кричали, и спорили, и шумели, и хулу на Бога творили, и смеялись, а тут примолкли. Синее ли небо, широкое, бездонное, на котором облака золотые бродили, ширь ли бескрайняя, тишина ли звонкая, мирными звуками сельского труда нарушаемая, мужик ли этот высокий, рослый, могучий, красивый, который с Бога начал, Богом и кончил, действовали на них, но только здесь было совестно не верить; здесь, где кругом залегла прекрасная, богатая земля, где все росло, ширилось, где ласково отовсюду видная, точно посылающая привет всеми своими пятью голубыми головами, стояла церковь, где мерно звонил колокол — было до очевидности ясно, что есть Бог, что только безумец может отрицать Его существование.

— Ну, пойдемте ко мне, — сказал мужик. — И голодны, чай, и устали. Изба у меня большая, накормить есть чем. Пожалуйте.

— Вы, товарищ, не беспокойтесь. Мы за все заплатим, — сказал Дятлов.

Мужик строго посмотрел на Дятлова.

— Эх! Барин, — сказал он, — оставь это проклятое слово... Оставь! От дьявола оно. Спроси моего отца, он тебе разъяснит его. Зовут меня Федором, а по отцу Семе-нычем. Не хочешь по имени величать — низок я тебе — зови просто «брат», ибо хоть и не крестьянин ты, — а все мы братья, потому любовь к тому обязывает... Обязывает, — настойчиво и внушительно повторил он... А денег мне ваших не надо. Слава Христу и Великому Государю, есть чем накормить. Не обездолите.

Он забрал ведра и прошел в калитку и через сад к избе и пригласил следовать за собою.

XX

Изба была большая и светлая. Она была срублена из чистых сосновых бревен, покрытых особым составом, точно облитых стеклом или обмороженных льдом. Клейст приостановился и даже ногтем колупнул бревно. Ноготь скользнул по твердому, и Клейст подумал: «Подобно стеклу, а видно, не хрупкое. Тверже стекла, вроде агата что-то».

Хозяин улыбнулся, поставил ведра и подошел к Клей-сту.

— Что смотришь? Не видал что ль? Астрафил эта смесь называется. Не горит больше Русь, хоть и деревянная осталась. Хоть костер на ней разведи, а не горит. И просто, и дешево. Кистью помазал, и через сутки — готово. Русский человек изобрел — Берендеев, Дмитрий Иванович, из муромских купцов он. Отец огурцами торговал. А что, в Ермании не знают, что ль, такого состава?

— Нет. Я вижу это в первый раз, — сказал Клейст.

— Ну и ловко! Значит, немца, что обезьяну придумал, и того русачки обстаканили!

— Теперь, — сказал печально Клейст, — с профсоюзами пропала охота изобретать. Союз отберет изобретение. Да и некогда. Оплата труда химика меньше, чем простого землекопа. Чтобы жить, приходится прирабатывать уроками, ремеслом. Тут уже не до изобретений.

Шагин покрутил головой.

— Не по-нашему, значит, не по-царскому. Беренде-ев тридцать лет тому назад, еще учеником, открыл новый элемент, не помню, как его прозывают, «ликий», что ль... Сеня-то помнит. Он поученей отца будет. Да и элемент, скажу вам, никчemuшный. Так только, что новый. Приказал император ему выбухать дом особенный, с лабораторией, со всеми приспособлениями, харчи ему отвалили, жалованье особое, большое, прислугу, приказали все, что ему надо, доставлять для опытов: живи, благоденствуй, изобретай! Он, покойный-то государь, Всеволод Михайлович, крутенек был для шалопаев, ну зато для рабочего человека доходчивый человек. Историка, что историю государства Российского для народа писал, — озолотил. Дом ему в Царском отвели... да... Оттого и ум работает. Ум-то сытость и тишину любит.

— А вы говорите, царь прошлый крутенок был? — с жадным любопытством спросил Дятлов.

— Что поминать! Расправлялся здорово. Ну и то сказать: народ сволочь был. Вы батюшку моего расспросите. Ему шестьдесят три года — он помнит всю эту историю. Самого, рассказывает, плети не миновали, — почтительно и вместе с тем чуть насмешливо сказал Федор Семенович.

Внутри изба была вместительная и просторная. Когда путешественники вошли в длинные сени, шедшие поперек избы и увешанные хомутами, сбруей, граблями, косами и другими хозяйственными инструментами, с четырьмя тесовыми толстыми дверьми — две направо и две налево, за дверями послышался топот легких босых ног, дверь приоткрылась, и черные любопытные глаза уставились на вошедших.

Шагин отворил дверь налево и ввел в горницу с двумя окнами, занавешенными синими занавесками. В правом углу висел в широком киоте с золоторезной рамой, изображавшей виноград и листья, большой образ. Перед ним теплилась лампадка. По стенам были хорошо сделанные лубочные картины, и между ними на полках — различные плотничные и слесарные инструменты. В углу был шкаф с книгами. Посредине комнаты стоял большой стол. По стенам — широкие лавки и табуреты. Все было незатейливо, просто, но удобно, не отличалось новизной, но и не было засалено до чрезвычайности.

— Это моя мастерская, — сказал Шагин. — Побудете покеля здесь, я батюшку своего пришлю, а сам насчет обеда распорядюсь. Надоть гостей по-христианскому, по-православному, по-русскому принять. А вы с отцом потолкуйте.

Как ни велика была усталость от месяца пути и лишений, но то, что увидали путешественники, то, что, видимо, им предстояло еще увидеть, было так необычайно, заманчиво, проникнуто таким радостным светом красоты и довольства, что они забыли про утомление. Коренев с Эльзой и мисс Креггс рассматривали картины, Бакланов и Дятлов — библиотеку, Клейста заинтересовал странный прибор, висевший на боковой стенке. Он походил на немецкие беспроволочные телефоны, но был совершеннее. Наверху был не холст, а небольшое матовое белое стекло в черной рамке, под ним — мембрана с повешенной подле трубкой, подле распределитель с восемью выключателями под цифрами. Телефон проник и в деревню.

Дятлов, читая название книг, ядовито хихикал: «Старый Домострой в приложении к нашему времени», «Псалтирь и Часослов», «Евангелие Господа Нашего Иисуса Христа», «В чем моя вера?», «Что такое христианство?», «Русские сказки», «Песенник».

— Полицейским надзором пахнет от такой библиотеки, — сказал он.

— Да, брат, ваших брошюр о Карле Марксе и Ленине, «Роза Люксембург и Клара Цеткин», «Распятие и виселица» здесь нет, — сказал Бакланов.

— Ну и вашего романа, товарищ, «Тоня Шварц — моя жена» тоже не видать, — злобно фыркнул Дятлов.

— Вам нравится? — спрашивал Коренев у Эльзы, останавливаясь перед картиной, изображавшей конную атаку всадников в серых рубахах на пехоту в германских касках.

— Прилизано, — отвечала Эльза. — Но какой точный рисунок. Она мне напоминает картины Адама и Ру-бо. Поразительное знание лошади. Ведь они как живые, и никакой условности. Вы посмотрите, Петер, до чего выписана картина, — синие васильки во ржи, хоть сейчас в ботанический атлас. На подковах гвозди написаны.

— Меня интересует, — подходя к ним, сказал Клейст, — как это воспроизведено. Это не трехцветное печатание.

— И не хромолитография, — сказал Коренев.

— И не олеография, — сказала Эльза.

— Это опять, господа, какое-то новое открытие русского гения. Краски так свежи и яркие, что я бы не поверил, что это напечатано, если бы не подпись: «Картино-печатня Ивана Хворова в Москве».

— И Москва, значит, есть, — пробормотал задремавший у стола Курцов. — Жива, матушка!

Но внимание путешественников было отвлечено барабанным боем и хоровым пением многих детских голосов, раздавшимся за окном. Кинулись к окну. Человек полтора-два мальчика, одинаково одетых в синие рубашки и черные штаны, в высоких кожаных сапожках, с небольшими ружьями на плечах, шли по улице. С ними шел молодой человек в длинном, до колен, наглухо застегнутом черном кафтане и белой холщовой фуражке. Он нес под мышкой связку ученических тетрадей.

Мальчики, бойко отбивая ногу по пыльной дороге, дружно пели звонкими голосами:

Русского царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не из денег, не из платы,
Но за честь страны родной.

— Вот оно, — с брезгливым отвращением проговорил Дятлов, — насаждение милитаризма проклятым царизмом. Надругательством

над чистой детской душой, хрустальной и гибкой, как воск, принимающей формы, веет на меня от этой дьявольской царской затеи. Берегитесь, народы Европы!

Он не договорил: дверь в сени открылась, и в горницу вошел седой высокий старик.

XXI

Старик был одет в чистую, белую с горошинками, рубаху, черные суконные шаровары, высокие сапоги и тонкого черного сукна, раскрытый на груди, кафтан. Благообразная широкая белая борода его была расчесана и волнилась, длинные, ниже ушей, волосы были тщательно разобраны пробормом на две стороны и волнистыми прядями спускались с ровного белого черепа. Темный бронзовый загар покрывал морщинистое лицо, хитро смотрели узкие, блестящие, серые глаза. Он долго крестился и клал поклоны перед образом, отвесил общий поклон и сказал приветливо:

— Бог принес. Бог принес, государи мои. Садитесь, гостями будете. Гость от Бога. Всюду и везде Бог. Сели... Молчали. Первый заговорил Бакланов.

— Дедушка, — сказал он, — расскажите нам, как спаслась Россия?

Старик метнул острым взглядом в глаза Бакланову, поднял косматые темно-серые брови и сказал отрывисто:

— Покаянием всенародным... Чудом милосердия Божия... — и замолчал.

— Вы были свидетелем этого? — спросил Бакланов.

— Самовидцем был, прости Господи, — вздыхая, сказал старик.

— Как же это было? Может, расскажете нам? Мы русские люди, только в Неметчине родились, а Россию мы не забыли.

— Нельзя забыть Россию. Простил Господь милостивый Россию, — сказал старик и опять замолчал.

Хмурились седые брови, шевелились усы, точно про себя шептал что-то старый дед.

— Вы кем тогда были? — спросил Дятлов.

— В Красной армии служил. Убеденный коммунист, вор и грабитель я был, — вот он, кто я, — сказал неожиданно старик и сейчас же плавно повел свой рассказ.

— Был я, государи мои, силен, молод, ловок и красив. Двадцатая весна мне шла, и не было парня ловчее меня. От Бога я отрекся,

Россию продал, красную звезду на шапку нацепил и пошел с товарищами грабить и терзать правого и виноватого. С германского фронта, от врага родины из-под Риги я бежал, а супротив своих братьев-казаков, против детей, гимназистов, отчаянно дрался. Был я, государи мои, богат. В ранце солдатском не сухари и патроны у меня были, а камни самоцветные, со святых икон содратые, кольца женские и перстни, серьги, из ушей окровавленных вырванные. Все мы такие были тогда. Ели хорошо, пили важно, спали сладко. Штык да ручная граната нам все добывали. Был великий голод по всей Руси. Народ тысячами умирал, хоронить не поспевали, дух нехороший над землей стоял, со всего света русским людям, как нищим, хлеба собирали, а мы нападали на поезда с хлебом, грабили их и жрали, как свиньи. Вино из посевного зерна гнали и пьянствовали вовсю. И настало, государи мои, такое время, что перестали нам хлеба посылать из-за границы и своего не стало. Ни ружьем, ни золотом ничего не укупишь. Отощали мы. Даже у комиссаров ничего не стало. Озверел народ. Пошли избиения и погромы повсеместные. Однако справилась в ту пору как-то наша власть. Рассказывали: за граница ей помогла. Из Ермании, из Англии и Франции прислали денег, поддерживали ее, помогли хлеб скупить: словом, на некоторое время обернулись. Стало как-то можно жить.

Старик вздохнул, помолчал немного и продолжал:

— Только какая уже это была жизнь! Пошли доносы, аресты, расстрелы, тюрьмы. Верите: брат брата боялся. Начальство наше, — все больше чужеземцы: грузины, армяне да жида — объявило нам равенство. Чтобы, значит, все стали бедные. Разделили сельских обывателей на три класса: бедняков, середняков и кулаков. Так и отслоились: в бедняки пошла шантрапа деревенская, хулиганы, пьяницы, лежебоки. Средняки были так себе работники, вразвалку, больше для себя работали, на продажу ничего, и в кулаках оказались самые крепкие домовитые крестьяне. И пошел поход на кулака. По селам верховодили бедняки. Прижимала власть крестьян налогами, досаждала «отнятием излишков», в корень разоряла деревню. Не стало житья никому. Опустились руки и у крепких крестьян. Перестали работать. Не стало хлеба совсем на продажу. Стали голодать и рабочий. И нам — Красной армии — пайки сократили. Вот тогда и пошли волнения по всей нашей Советской республике. Аж страшно стало жить. Почем зря били нашего брата-коммуниста, и все ходили темные слухи, что придет, мол, суд праведный, что есть, мол, какие-то тайные общества, от самых злобных чекистов сокровенные. И как-то... не умею вам того объяснить, я тогда продолжал в Красной

армии служить, но только будто отвернулись от нас иноземные государства. Не пожелали, значит, с нами никакого дела иметь. А у нас по армии шумят, что, мол, все народы на нас войной идут и надо нам предупредить их и самим на них напасть. И вот, лет сорок тому назад, — приказ всем: ору-жаться на войну. У нас к тому времени все «военизовано» было. Чудно! Детишки школы первой ступени, от земли не видать, — и те, значит, газовые маски получили и газовые бомбы и шли за стрельщиками. Да что, баб, и тех в покое не оставили, и те свои батальоны составляли. И вот, значит, в июле, в самую, тоись, уборку, а была еще и засуха, погнали народ на границу. Миллионы людей... А кормить чем? Разве они, как люди, головой думали? Пошла нехватка то того, то другого. «Идите, — говорят нам, — вперед. Там у неприятеля всего достанете». А куда идти, когда от голода ноги подкашиваются. Бунтовать? Не очень-то побунтуешь, когда у них на всех машинах, на аэропланах, при больших газах все свои — коммунисты из чужаков, из жидов, немцев да венгерцев. Однако не сдержал народ. Заводновались миллионы!.. Сила!.. Под шумок кое-кто расхотелся стал. Подальше от греха. И я с кое-кем отправился восвояси... После уже слышал, что волнение поднялось не шуточное. Стали избивать начальников, и тогда будто взвились по всему фронту их коммунистические главные аэропланы с чудовищными бомбищами по десять пудов весом, с газами. И сбросили, значит, они те бомбы в свое же войско... Только расчет у них оказался неверный, как бомбы те с хвоста аэроплана отцепили, нарушилось, что ли, равновесие, аэропланы хлынули головами вниз и воспламенились...

Старик пожевал губами и добавил:

— Гнев Божий свершился... Все погибли. Народ от газов, а мучители в пламени, в небе сгорели. Газ разлился широкой полосой. На шестьдесят верст все живое по-умерло. И боялся туда народ ходить много лет.

Старик опустил глаза, долго шептал что-то про себя, точно собираясь с духом, чтобы продолжать, тряхнул волосами и заговорил:

— Значит, мы, которые удрали потаенно, не попали в эту беду, пошли по домам. А там — какая радость? Новый урожай погиб, старое все так выскребли, не то что человеку, мыши, и той не прокормиться... Словом, тут смерть от газа, общая страшная смерть от аспидов наших — коммунистов... Дома — все одно, с голода помирать... До зимы пробродили мы потаясь... Грабили, где могли. Что называется, «излишки отнимали»... А какие там излишки! Народ с голода дохнет. И вот, уже поздней зимней порой подошли мы к своим, здешним местам.

В городе Острове есть старый храм. При императрице Екатерине Великой строенный. Шли мы ранним утром мимо него. Народ идет, худые, голодные люди, видно, умирать на каменных плитах порешили. Ну мы, красноармейцы, известно, в Бога не веруем, хоть и у самих живот подвело, все же шутим, смеемся. «Идите, идите, — говорим, — он вас прокормит...» — «А ну как прокормит», — словно что шепнуло нам в душу. Толк-толк один другого. Давай, мол, зайдем. Зашли. Народ на коленях. Ну, мы в шапках, с ружьями, в ранцах — золото, камни самоцветные, тона своего не спускаем, как же! Коммунисты! Товарищи!.. Однако гляжу, — один по одному шапки снимать стали, ружья к стене поставили. В храме тишина... Только слышно: люди плачут. Вышел священник, старый, худой, оглоданный, видать, с голодухи шатается. Стал на амвон у Царских врат, простер руки и говорит:

«Покайтесь!» Только одно слово сказал и умолк. И стал народ головами по плитам каменным колотить, аж гул пошел по церкви, слова шепчут, молятся.

Священник опять поднял руки, и все затихло, смотрят на него.

— Покаяние, — говорит, — спасет вас. Ежели хотя один без греха найдется, без крови христианской на совести, все спасены будете... Подымите, говорит, руки.

— И что же, господа мои, — лес рук поднялся по храму, и старых, и молодых, то худых, черных, то, напротив, от голода распухших, белых, и на каждой руке кровь так каплями и текст. Гляжу: девонька двенадцати лет, не бо-ле, и у ней рученька в крови по локоть. Страшно стало до ужаса. Я к ней наклонился, шепчу ей:

— Малютка милая, девонька родная, ты чем согрешила, кого ты убила, малый ребенок? А она, верите ли, плачет, трясется.

— Я, — шепчет, — братика за коробку леденцов продала, сказала, что он добровольцем служил. Растерзали его красноармейцы!

Опустились руки, глуше стали стенания и шепот молитв. И не знаю, что толкнуло товарища моего Пустын-никова, вдруг кинулся сквозь толпу к иконе Божьей Матери, на ходу ранец отстегивает, подбежал, бух на колени и из ранца всю добычу свою — часы золотые, портсигары, кольца к иконе и вывалил. И пошли все наши товарищи за ним опорожнять свои ранцы, мешки да карманы... И я пошел...

Старик тяжело вздохнул, разгладил на голове волосы, провел рукой по бороде и продолжал:

— Окончили мы, значит, это дело, и сами стали на колени. И вошел в храм незаметно юноша. Лицо белое, светлое, рот неболь-

шой, совсем как у девушки, вошел, стал на колени в стороне, лицо суровое стало, в себя ушел, в молитву. И опять священник с амвона говорит:

— Молитесь, православные, русские люди, молитесь! Господь милосерден! Подымите руки.

И опять ряд окровавленных рук поднялся в храме. Поднял и я, и жуть охватила меня. Вся-то рука по самые плечи, как чехлом, обволочена густой темно-красной кровью.. И среди леса рук видим — чуть колеблется одна белая, чистая рука... То тот юноша, чистый, безвинный, поднял свою руку святую. И шепот шорохом прошел, точно спелая рожь от ветра колыхнулась: спасены!..

Опустились руки, стали смотреть, где тот юноша прекрасный... И не видать его совсем, кругом лица обыкновенные, серые, голодные, только что случилось с ними, злобы этой, голодной ненависти не стало!..

Долго молился священник, потом встал и сказал вдохновенно и страстно:

— Ищите по одоньям!

XXII

— А в те поры зима уже к весне поворачивала. Оно не то, что колоса или зерна какого, а соломины не найдешь, и одонье-то признаешь только потому, что шест скирдовый торчит.

Вздыхнул народ, значит, помирать приходится. Однако все одно, делать нечего. Пошел кое-кто в поле одонье разыскивать. Было хмуро и сумрачно в поле. Метель задувала. Непаханая земля тяжелыми комьями выдавалась из-под сдутого снега. Страшно было пустое поле, как мертвец, лежала земля. Помню, шли сзади меня две старушки древние, тихие, шатались, как тени, и хотелось мне пошутить над ними, по-красноармейски, цыкнуть на них: пошли, мол, проклятые, куда лезете! Обернулся... И так-то мне вдруг жалко стало их. Идут, друг дружку поддерживают, помогают, плачут... И вошел, значит, в те поры Христос в сердце мое. «Не ходите, родные, — кричу им, — я вам наберу зерна, принесу». Сели они на камушке в сторонке, глядят на меня и не верят. А идти-то тяжело, босые они, ноги черные, а земля бугровая, жесткая, обледенелая, колкая... В тумане замаячил передо мной, как вежа, шест от одонья. С прошлого года скирдов не клали, боялись, что Советская власть заберет, у кого и был хлеб, так больше под землей прятали. Что за

чудо! Штук шесть зайцев порскнули от шеста. Давно мы такого зверя не видали. Повыдох в ту зиму и заяц-то! Ну, думаю, не иначе, как священник правду сказал: «Бог хлебушка послал». И подлинно, лежит зерно. Не так чтобы много, а достаточно. Хватит. С полпуда наскрести можно. Наскреб я полную полу шинели, иду к старушонкам. Лежат они на меже возле камня — тихие, холодные, мертвые, с голода, значит, померли. Не принял Господь моей жертвы. В те поры много народа так от слабости помиралось по полям, по дорогам. Их и не хоронил никто.

Старик пожевал губами, посмотрел в окно и замолчал.

— Ну, дальше как, дедушка? — сказал Корнев. — Говоришь, с полпуда зерна набрал. Долго ли проживешь на полпуда? А поля обсеменять как же?

— Да... вот тогда-то это и началось... Пришел я, сходил на мельницу, а там уже много народа было, всяк принес, что нашел, и у каждого оказалось с полпуда. Ну, замесили мы хлеба, наелись и повеселели. Пошли и в другой раз по одоньям и опять наскребли: значит. Господь Бог посылает. Не иначе как Он... И пошло, государи мои, опять все по-старому. Кто половчее, самогонку курить стал да обменивать на зерно. Ведь, признаться вам, при рабоче-то-крестьянской власти все мы были спекулянтами и с живого человека шкуру драли, а власти над нами никакой. Коммунисты да комиссары — кто за границу удрал, кого толпа прикончила, кто на аэропланах в армии погиб, ведь тогда, когда армия погибла, и голод шел по

Руси, такие еврейские погромы шли, что вспоминать и посейчас страшно. Начисто истреблял еврейское племя обезумевший народ, и остановить его было некому. И вдруг слух по селу: в России император объявился. Кто? Где? Доподлинно никто не знал. Слышно только стало, что зовут Всеволодом, что сам он молодой, прекрасный, как ангел, и спустился будто на белой лошади с Уральских гор, а за ним войско несметное, и все на лошадях, в серебре. И лошади белые, и сами в белом, а на груди и на шапках кресты. Никто не видал, а все знали и рассказывали так точно, как бы своими очами глядели. Под утро, — я еще пьяный, не проспавшись, на лавке лежал, слышу, — у волостного правления труба трубит. Я в кавалерии служил, значит, сигналы разбирать умел: сбор играют. Только труба не наша. Наша все сипела как-то, а эта сереб-роголосая — так и звенит, заливаясь. «Что такое, — думаю, — уж не опять ли война братоубийственная?» Так куды воевать, все еле дышат, что с одоньев сберут, тем и питаются. Стал я сапоги красноармейские обувать, с расстрелянного генерала мне достались. Не лезут. Что такое, —

ноги, что ли, опухли? Босой я остался. Подошел к оконцу, растворил. А весна, знаете, уже стала, дух от полей хороший, самое время пахать. По деревне староста Елисей Ермилыч, что при государе Николае II был, бежит, сам в лохмотьях, а цепь достал откуда-то, двуглавый орел на груди сияет.

— Всем, — кричит, — беспрерывно и незамедлительно на площадь итить!

— Что за митинг такой? — думаю. — Не приехали ли комиссары?

Так нет. Не одел бы при них Елисей Ермилыч цепь царскую. Красную повязку нацепил бы. Ну, думаю, быть беде: кончилась наша вольная волюшка! А сердце докладывает, кончился, мол, и голод лютой, смертоубийственный.

Старик задумался. Лицо его светлело, точно в памяти вставала неотразимо прекрасная картина. Никто не перебивал его. Никто не напоминал ему: знали, что сам скажет, что ищет в сердце своем тех слов, которыми рассказать то, что было.

— На площади, — продолжал дед Шагин, — солнышко светит. По углам травка-муравка зеленые иголочки показывает. Золотой напой стоит у самой церкви, священник в старенькой ризе, порватою, крест и Евангелие лежат. А рядом на белом коне всадник. Кафтан на нем белый, мехом опушен, шапка белая острая, собольим мехом отороченная. На середине крест осьмиконечный, православный, сияет. При боку сабля, вся серебром обложенная, конь под ним светло-серый, холеный, сытый, в серебро шерсть отливают. Сзади него человек двадцать солдат, так же, как он, одетых. Есть и молодые, и постарше. Ну, сурьезные такие, не похожи на Красную армию, ну и не добровольцы, те больше в английском ходили, а эти одеты все одинаково, чисто, богато. Кони под ними все как один, серые, чистые, гладкие, грызут удила. На седлах чепраки синие, белыми нитками шитые, и в заднем углу вензель под короной.

Собрался народ. Многие товарищи тоже дело понимали, пришли с винтовками.

— Все собрались? — спрашивает офицер у старосты.

— Все, — говорит староста.

— Снимите, — говорит офицер, — шапки! Ну, кто снял, а кто замешкался. Петухов, коммунист, вперед выдвинулся, ружье за штык за собой волоклет.

— Вы, — говорит, — товарищ, кто будете, что такую контр-революцию разводите?

А он поверх его поглядел и говорит:

— Снимите шапки. Гляжу, все сняли.

— И Петухов снял? — спросил порывисто Дятлов.

— Снял и Петухов, — ответил старик.

— Но почему, почему же сняли? — снова спросил Дятлов, и бледное лицо его покраснело. — Ведь вас, говорите, все село было... Много... А их двадцать человек...

— Нас... человек пятьсот, не считая баб, было. И поболе половины оружейные.

— А их только двадцать!

— Да хоть бы он и один был — все одно сняли бы, — сказал старик.

— Но почему? — спросил Дятлов. Он сильно волновался. — Ведь поймите, дедушка, тогда вы одним этим жестом, одной покорностью этой, от всех завоеваний революции отреклись. Под царскую палку шли! Как же это можно! Ведь это — реакция, реакция!..

— И слава Тебе, Господи, что так вышло, — сказал старик. — Вишь, какие мы теперь стали... Россия... Российская империя!..

— Ах, не понимаю этого! — воскликнул Дятлов. — Почему вы сняли шапки?

— Видим, что он настоящей офицер. Власть имеет. Не оборванец в английской шинелишке, что про завоевание революции кричит и тебя боится, а насквозь русский и чистый, белый. Зря не убьет, не ограбит, взятки не возьмет. Серьезный очень.

— И дальше? — спросил живо заинтересованный Клейст.

— А дальше стал он читать: «По указу Его Императорского Величества» — и пошло: всякая война прекращается, Красная армия распускается по домам, каждому обратиться к мирному труду, вспомнить Господа Сил и приступить к обработке той земли, которой владел до 1917 года, а дальнейшая прирезка будет сделана немедленно распоряжением сельского начальства. А сельским начальником этим — вот этот самый офицер. И приказал принести сейчас присягу на верность государю императору Всеволоду Михайловичу.

— И принесли? — спросил Дятлов и даже встал в волнении со скамьи, на которой сидел.

— Вышел Петухов, — сказал дед, — и говорит: «Товарищи, позвольте объясниться по текущему моменту». Офицер только руку протянул, выскочило два молодца, схватили его под зебры и убрали. Ну... мы присягнули. И Бога, и Царя мы обрели тогда!

— Цельную неделю мы говели, Богу молились, во всех грехах каялись, потом в субботу приобщились, — продолжал свой рассказ дед Семен, — такой был приказ от начальства. За эту неделю лошадей рабочих пригнали, коров, машины привезли, роздали по хозяйствам и записали за каждым: кто сколько должен отдать хлебом. Отчистили и починили хлебный магазин, нашему лавочнику Игнату Карвовскому разрешили лавку открыть со свободной продажей, и поехал он в город. Объявили, что всякие деньги: царские, печатанные после 1916 года, думские, керенки, советские, донские, деникинские, украинские, северо-западные, архангельские — никакой цены не имеют и могут быть уничтожены, а выпущены новые деньги-ассигнации — золотая, серебряная и медная монета, которая только и имеет хождение. За каждую работу нам платили по расчету восемь гривен рабочий день, а сколько часов — дадут урок, и твоя воля, хоть в три часа понатужься и кичи, хоть полсуток возись... Ну, только урок не особо большой был — кончить можно.

Весна стояла хорошая, ясная, теплая. Вышел от государя приказ землю пахать. Ну, кто вышел, а кто и поленился. Хоть и охочи мы были до земли и соскучились по ней, а только при коммунистах отвыкли работать. Я не вышел, остался в избе, сижу, думаю, как это обернулось, к хорошему или к худому? С одной стороны, какая же это свобода, когда все по приказу, с другой стороны — проработал я на кладбище два дня, трупы мы хоронили, могилки обдывали и украшали, рубль шесть гривен получил, зашел в лавку к Карвовскому, а у него ситцы разбирают.

— Почем аршин? — спрашиваю.

— Двадцать три копейки, — отвечает. «Это что же, — думаю, — благодать». Хлеба у нас не было, — по одоньям-то все забрали, а у Карвовского мука, — четыре копейки фунт, — жить можно. Лежу это я на полатах, размышляю себе, вдруг староста кличет. Выхожу. Бледный он такой, расстроенный.

— Вы, — говорит, — Семен Федорович, что же не выступили на пахоту-то?

— А ну его к бесу, не желаю и все.

— Начальник вас просит.

Любопытно мне это стало. Как это так, меня, свободного человека, после завоевания революции и заставить, чтобы свою собственную землю пахать! Пошел. Стоит у моей полосы начальник, на коне, и с ним трубач.

— Вы, — говорит, — Шагин, почему не пашете? Вы приказ мой знали?

— Знал, — говорю. — А только не захотел.

— Теперь, — говорит, — не ваша воля, а государева, и что именем государя указано, то и будет.

— Ну, это, — говорю, — ладно. Мы еще посмотрим!

— Ах, молодец, — вырвалось у Дятлова.

— Н-да... И хотел я идти. А он, спокойно, не повышая голоса, говорит:

— Если завтра к двенадцати часам ваша полоса не будет вспахана, заборонена и подготовлена к посеву, то я с вами разделаюсь.

— Это, — говорю, — мой интерес, и вас не касается. И выругался я, знаете, по коммунистической манере, скверным словом. Нахмурился начальник.

— Шагин, — говорит, — эти большевистские приемы и ухватки бросьте. Народ озверел теперь. За такие слова языки режут, и нам с ним не управиться. Да и прав он:

грех великий семью поносить!

Я повернулся к нему спиной, засвистал и пошел, заложив руки в карманы. Твердо решил ничего не пахать.

— Правильно! — сказал Дятлов.

— Погоди хвалить, барин, — презрительно произнес, подчеркивая слово «барин», Семен Федорович. — Иду назад, а у самого села Петухов, коммунист, со мной стрекнул. Морда опухла, в синяках вся, сам шатается.

— Где же вас так, товарищ? — говорю я. Мычит только. Кулаками на село грозит. Рот открыл, а там, страшно глядеть, — вместо языка черный обрубок болтается. Ну, понял я, что не шутки. Коли народ миром да за дело взялся, да царя поддержать хочет, тут беда. Побежал я домой, запряг лошадь, мне назначенную, в плуг, забрал борону и поехал. До ночи пахал, при луне боронил — все Богу молился: пронеси, Господи! Лошадь домой привел, прибрал, почистил, а сам с граблями, да землю-то еще вручную граблями бархатил до рассвета. И стала она у меня к полудню что твой сад. Пух, а не земля. Навозом подбросил, аромат идет — прямо «разочарование» одно. В двенадцать часов стал я на флангу своего поля и жду. Вижу, едет. Я шапку скинул и вытянулся по-солдатски. Он улыбнулся ласково и говорит:

— Ну, спасибо, Шагин. Знал, что не обманешь. Хороший мужик.

И верите, — мальчишка он, ему лет двадцать, не больше, я мужик здоровый, могучий, крови пролил этой самой буржуйской без числа

и меры, а стало мне от его ласкового слова тепло на душе. Крикнул я что есть мочи:

— Рад стараться, ваше благородие.

И знаете, то ли Бог смилостивился над нами, то ли боялись начальника, пахали, боронили, засевали, окучивали мы тщательно, то ли семена нам дали хорошие, ну только осенью такой урожай был у нас: и на хлеб, и на лен, и на картофель, и на капусту, и на все не только хватило, но стали ссыпать в магазин, долги платить за лошадей, за скот, за машины, за семена. Поправились мы... В ту же осень задумал я жениться по-настоящему, по-православному...

Старик остановился, потому что дверь открылась и в нее вошел принарядившийся Федор Семенович и за ним девушка лет двадцати, рослая, полная красавица, с густыми, в две косы заплетенными волосами, в голубом сарафане, со снежно-белыми рукавами, в черных козловых сапожках на каблучках. Она зарумянилась от смущения, нахмурила темные брови над большими карими глазами и оглядывала всех гостей.

— Проси, Грунюшка, за хозяйку, хлеба-соли откусать, — сказал Федор Семенович, молодцовато становясь рядом с девушкой у дверей.

Грунюшка покраснела еще больше, от чего мило выделился ее белый круглый подбородок, тяжело вздохнула высокой здоровой грудью, улыбнулась алыми губами, сверкнув белизной крепких ровных зубов и, сложив руки под грудью, поклонилась в пояс на три стороны и певучим голосом сказала:

— Просим милости не побрезговать, крестьянской хлеба-соли отведать, отобедать чем Бог послал с нами!..

XXIV

— Прошу, господа, — распахивая широко дверь из сеней в большую горницу, сказал Федор Семенович, — с гордостью могу сказать: все свое, не покупное.

Большой белый простой стол, накрытый чистыми холстами, вышитыми по краям пестрым узором, был заставлен дымившимися паром блюдами. В лице стола, за красно-медной кастрюлей, дымящейся свежей ухой, растянулся на железном черном противне чуть не дышащий, тонкими пузырями запекшейся корки покрытый и сухарями усыпанный сочный пирог, нарезанный с края большими ломтями.

Видны были белые пушистые края и начинка. Пирог был наполовину с капустой, наполовину с белыми грибами. За ним, желто-коричневый, лоснящийся в своей прожаренной кожице, обложенный кашей, стоял поросенок с воткнутой в него большой вилкой. Дальше, окруженное венками из пестрых георгинов и нежных лохматых щток-роз, стояло блюдо с румяными яблоками, золотистыми длинными грушами и темными, сизым налетом покрытыми, сливами, за фруктами стояла индейка, зажаренная в своем соку, белели вареные цыплята в просе, и все заканчивалось большой толстой ватрушкой с крупными изюминами, выложенными так, что выходило: «Добро пожаловать».

Во главе стола, против дверей, стояла полная женщина с головой, покрытой шелковой ярко-желтой кичкой, с румяным лицом, с которого приветливо смотрели большие карие глаза, пухлым, чуть вздернутым носом и медовой улыбкой, раздвинувшей алые губы и обнаружившей чистые белые зубы.

— Супруга наша, — сказал Шагин, — Елена Кондра-тьевна.

Елена Кондратьевна поклонилась в пояс и сказала:

— Не обессудьте, гости дорогие, чем Бог послал. Изготовили с Грунюшкой, как умели.

На ее белой полной шее и груди трепетало монисто из янтаря, цветного стекла и золотых монет.

Для чествования иноземных гостей были приглашены соседи — учитель Прохвятилов, стройный высокий человек, коротко, по-солдатски, стриженный и с выправкой хорошего пехотного ефрейтора, и местный священник, осанистый батюшка лет сорока, с черными густыми волосами. Мальчик Сеня уже был здесь, все так же одетый, в белой рубашечке и свежих липовых лаптях, пахнущий полем, цветами, овцами и парным коровьим молоком. В горнице было от большого стола тесновато. Окна были растворены настежь, и желтеющие березки гляделись в них. За ними видны были огороды и бесконечная ширь полей, буграми, с пологими скатами, уходящими вдаль. По буграм вилась дорога, и кудрявые яблони и раскидистые, с длинными темными листьями, вишни росли по сторонам ее, аллеей уходя в синюю даль. Ширью, покоем и тишиной, ядреным теплом солнечного осеннего дня веяло от природы. Разместились по скамьям против приборов, обернулись к золотому киоту, у которого теплилась лампадка перед иконой благословляющего Христа, и примолкли.

Священник прочитал предобеденную молитву и благословил стол.

— Спаси Христос, — со вздохом сказал хозяин.

— Господи благослови, — перекрестясь сказал дед и уселся в голове стола.

Женщины и Сеня не садились. Учитель сел рядом с Кореневым, по другую сторону его сидел Клейст, дальше Эльза, мисс Креггс, Курцов и Бакланов. Против Коренева был Дятлов, и оставлено пустое место для Аграфены Федоровны.

Елена Кондратьевна с большим красным лаковым подносом с видом Москвы, нарисованным блестящими прозрачными красками, стала обносить гостей. На подносе стояли хрустальные графинчики и рюмки. За ней шла Аграфена Федоровна с подносом, уставленным множеством маленьких тарелочек с закусками. Тут были и белые грибы в сметане, и соленые мутно-зеленые грузди, и рыжие рыжики, и сметки, жаренные в масле и хрустящие, как сухари, и птичья печенка, и малороссийская колбаса, ворчащая на сковородке, и зеленые огурчики нежинские, и лук зеленый, и луковицы луковые, и икра черная паюсная, и золотая икра сиговая, и вареные ершики, распластанные спинками без костей, и сельдь соленая, и шамая копченая.

— Просим милости, — кланяясь, говорила Елена Кондратьевна, — это простая очищенная, а то рябиновая на прошлогодней ягоде, морозом битой, настоенная, а там травничек бальзамный, душу согревающий, сливянка домодельная, кушайте на здоровье, родные!

— А вы по каждой, — говорил, потряхивая красивыми кудрями хозяин, — потому вся своя настойка, домодельная, не покупная.

После закуски принялись за уху.

Хорошая еда, водка, вино смородиновое и крыжов-никовое, яблочный хмельной сидр развязали языки и загудели голоса по всей горнице.

— Как достигли вы, — сказал Клейст, обращаясь к учителю, — в такое короткое время такого благосостояния? Сорок лет! — и уже полная чаша в доме крестьянина.

— И заметьте, — сказал священник, — крестьянина среднего, не богача, не купца, а простого землепашца.

— Разумной школой, на вере Христовой основанной, — сказал Прохватов.

— У вас школа обязательная? — спросил Дятлов.

— Да, обязательная и платная, — сказал Прохватов и сейчас же добавил: — Вернее сказать, была обязательной. Лет тридцать тому назад и пороли, и штрафовали, и на работы отправляли за то, что не посылали детей в школу. Теперь она обязательна только на бумаге: все сами в нее посылают детей, и сами деньги платят.

— Какая же у вас школа? — спросил Клейст.

— Наша школа преследует воспитание русского в любви к родине, повиновении царю и вере христианской; это первая ступень — четы-

рехклассные училища, которые имеются в каждой деревне; обучение практически тому труду, которому посвящает себя человек, — это средняя специальная школа, вторая ступень, не обязательно для всех; и высшая государственная школа.

— Мальчики и девочки, юноши и девушки у вас учатся вместе? — спросил Дятлов.

— Нет. Опыт дал печальные результаты. Притом Господом Богом указано женщине особое место, и мы не идем против Господа. Науки наших женских школ, училищ и высших школ иные, чем науки, преподаваемые в мужских учебных заведениях, — сказал священник.

Дятлов поморщился.

— По «Домострою» учите? — сказал он. Учитель заметил его гримасу, но сказал спокойно:

— Если хотите, — да. Но по «Домострою» конца двадцатого века. Женщина — мать и подруга, помощница в жизни мужчин во всем. Так и школа у нас распределена. Например, в средней сельскохозяйственной мужчина учит полеводство, лесоразведение, травосеяние, знакомится с машинами, учится чинить их, изготовлять отдельные части, практически проходит кузнечное, шорное, слесарное дело, постройку домов, а женщина изучает садоводство, огородничество, пчеловодство, сохранение семян, заготовку плодов, уход за скотом и птицей, сыроварение и т.д. — такая пара, сочетавшись браком, и создает тот уют, ту полную чашу, которую вы видите здесь.

— Наша церковь, — сказал священник, — молит об изобилии плодов земных. Христос заповедал человеку труд.

— А как поставлен у вас вопрос о государстве? — спросил Дятлов. — Неужели дети у вас не изучают политики, не ознакомлены с партийной жизнью и борьбой партий?

— Эх, барин, — сказал Шагин, прислушивавшийся к их разговору, — прости меня: типун тебе на язык. Зачем напомнил то, от чего была распря великая, от чего погибли миллионы людей и русская земля одно время в низость произошла? В нашем царстве — одна партия: братья и сестры во Христе. Мы воспитаны в труде и смирении, и мы стараемся, сколько можем, любовь иметь в сердце своем к каждому. Посмотри на мою Грунюшку: красавица — ей-Богу, так! — не отцовская гордость говорит во мне, — высшие курсы кончила в Пскове, а без гордости, с лаской стоит у печки, месит тесто, чистит коровник, курятник... А партия?.. Батюшка нам много такого про партии рассказал, что и вспоминать срамно. Нет у нас никаких партий. Самое слово-то только разве еще старики помнят.

— Этот вопрос, — сказал священник, — я думаю вам хорошо разъяснит здешний сельский начальник Стольников. У него отец помнит всю историю кровавого мартовского бунта 1917 года, он был очевидцем и участником его. Он вам объяснит, почему все партии полетели кувырком и в России заниматься политикой так же неприлично, как заниматься воровством, спекуляцией или содержать банк или игорный дом.

— Это очень интересно, — сказал Клейст.

— А вот не дам вам больше, — смеясь, говорила Грунюшка, отодвигая бутылку с вином от раскрасневшегося и ставшего шумным Бакланова. — Довольно с вас. А то озорничать станете. Нехорошо будет.

— К-расавица! Аграфена Федоровна! У! Матушка родная! Да поймите вы меня: родину увидал, — и вы — моя родина. Пойдемте к нам, на Тихий Дон... — бормотал Бакланов, и вдруг, как бы встрепенувшись, спросил: — А что у нас на Дону?

— Было ужасно, — сказал дед Шагин. — Казаки живьем, головой в землю закапывали крестьян, которых поселила к ним Советская власть. Луганская и Царицынская губернии увидели ужасы необычайные, ну а потом, когда появился царь, подтвердил все прежние грамоты на землю, — успокоились казаки. Теперь там в сто раз богаче, чем у нас. А тихо... Ну верно, что Тихий Дон.

— Ну налейте, красавица моя, еще одну маленькую рюмашечку... За Тихий Дон с вами выпьем... А поехали бы вы со мной к нам, на славный Тихий Дон?... Эх, и слова-то здесь идут мне на ум все русские, все складные, кажется, песню бы запел и о-го-го, как запел бы ее! — говорил Бакланов.

— А вот пойдем, Григорий Николаевич, на посиделки — там и песни послушаем, там и песни споем, — сказала Грунюшка.

Вдруг загремели все скамьями и табуретами. Со стаканом пенного вина поднялся старый дед. Елена Кондратьевна и Аграфена Федоровна поспешно разносили гостям стаканы.

— Сеня, — сказал Федор Семенович, — соедини провода.

Сеня спустил плотную войлочную занавесь на окне против икон. Какие-то фарфоровые и медные кнопки показались на ней, и сеть красных и синих проводов уходила под потолок.

— Готово, батюшка, — сказал мальчик, нажимая на кнопку.

И сейчас же войлок как бы набух, напитался светом и стал казаться прозрачной золотистой далью, глухой шум где-то стучащего мотора раздался на минуту и стих.

— Во здравие, — торжественно, дрожащим от волнения голосом провозгласил старый Шагин, — державного хозяина земли русской, государя императора Михаила Всеволодовича!

На занавеси, постепенно выдвигаясь из глубины, сначала мутное, потом все яснее и яснее, появилось, как живое, лицо. Большие серо-голубые глаза смотрели с неизъяснимой добротой. Чуть моргали веки, опущенные длинными ресницами. Чистое красивое лицо, обрамленное бородой, было полно благородства. На плечах была порфира, из-под которой проглядывал темно-зеленый мундирный кафтан.

Все слышнее и отчетливее становились звуки величественного русского народного гимна, исполняемого громадным оркестром и хором.

Оба Шагина, мать и дочь, священник, учитель и маленький Сеня подпевали ему и кричали «ура!» И когда кончили, побледнел портрет, исчезло сияние далекого света на экране, все затихло и опять висел только белый войлок, покрытый сетью алых и синих проводов.

— В каждом доме, в каждой квартире, в каждой избе, — говорил тихо Клейсту учитель, — есть такой прибор светодара с дальносказом. Это неизменный подарок государя каждой брачующейся чете.

XXV

Вечером Клейст, Коренев, Дятлов, Эльза и мисс Креггс были у сельского начальника Стольникова. Было решено по дальносказу, что они будут у него и ночевать. Бакланов и Курцов остались жить у Шагина. Шагин нуждался в рабочих и охотно взял Курцова, просившего об этом, Бакланов попросился гостить у Шагиных.

— Не могу, — говорил он, запинаясь, Кореневу, — не могу, Корнюшка мой милый, уйти. Видит Бог, влюблен по уши. Ведь это, помилуйте, красота-то какая! А поступь, а повадка, а ласковость волшебная... Я присмотрюсь, поучусь, да и того... просить руки буду.

— И навсегда в деревне! — сказала Эльза.

— Господи! Да ведь это не деревня! Рай земной. Да... Очарование-то какое!.. А потом пойдут детишки... маленькие такие цыпляточки, а там своим домом станем... Вот оно, Счастье-то, где. Это не статьи по 30 пфеннигов писать в «Голосе эмигранта», в органе демократической мысли. К черту демократию, коли она ничего такого

создать не могла и только налоги набавляет! Из тридцати пфеннигов десять пфеннигов Steuer'a* отдай!

Он провожал компанию до околицы села и все мечтал и говорил:

— Поступь гордая, грудь белая — лебединая, очи ясные — соколиные... Корнюшка, друг, слова русские в память лезут, забытые там, на чужбине, слова... Пчельничек разведем, сады насадим, а там весной за плуг, как Лев Толстой, босыми ногами по жирной теплой земле, и сивка-бурка вещей каурка в плуге новом...

У начальника их ждали с чаем. Обстановка была роскошная. Гостиная была уставлена французского стиля мебелью, столиками красного дерева и шкафчиками с бронзой, изогнутыми креслами и диванами, которые в России носили название александровского стиля. В столовой мебель была проще, из мореного дуба, и низко висела над столом лампа с бледно-синим абажуром. Хозяйка, пожилая женщина, представила двух дочерей, бледных девиц, молчаливых и скромных, и занялась разливанием чая. Хозяин, Павел Владимирович Стольников, был одет в казакин темно-синего сукна, такие же шаровары и черной шагрени высокие сапоги. Он был выше среднего роста, имел лицо чисто выбритое, с энергичными чертами, прямым носом и зеленоватыми стальными глазами, обличавшими несокрушимую волю и твердость характера.

За столом служили две девушки и парень, чисто одетый в серый казакин с откидными рукавами, из-под которых выходили рукава белой, с мелкими горошинами, рубахи. Хозяйка и барышни говорили мало и скоро ушли готовить комнаты для приезжих, хозяин, тоже молчаливый, пригласил гостей после чая в кабинет.

В кабинете было полутемно. На полу лежали шкуры волков и медведей, прекрасная пестрая шкура рыси с отделанной головой была брошена на тахту. Над тахтой висели ружья, охотничьи ножи и кинжалы. Стройная борзая, лежавшая на тахте, тонкая, пушистая, белая, встала, потянулась, изогнув спину, и тихо подошла к хозяину, как бы спрашивая, как отнестись к гостям.

— Тихо, Держай, — сказал хозяин и погладил собаку по голове. — Садитесь, господа, если не устали, покалякаем за рюмкой старого вина. Я думаю, скоро и отец приедет... Его расспросите, а мы расспросим вас... Ведь, поди, мы вам людьми с другой планеты кажемся. За китайской стеной живем... А как устроились! Старое счастье снова нашли! Да — что имеем, не храним, потерявши плачем! А как долго блуждали мы, — образованные русские! Почти два века

блужданий в потемках. От Радищева и Бакунина, через декабристов, до Маркса и Ленина мы все искали топора, который был за поясом. И до каких пропастей мы докатились!

— Скажите, Павел Владимирович, — обратился к начальнику Дятлов, — каким образом вы дошли до такой жизни и до монархического образа правления?

— Я вас немного поправлю, — сказал сельский начальник. — Если взять и прикинуть нашу жизнь к вашим европейским образцам, то в противовес вашему понятию «демократическая республика» я поставил бы «аристократическая монархия»... Вы помните, социалистические деятели придумали выражение — «рожденный ползать — летать не может». Это совершенно верно, на этом и погибли все начинания демократии. В лучшем случае демократические учреждения топтались на месте, обычно — они разрушали. Связанные партией, вожди не имели свободной воли, рожденные в тесных условиях бедноты рабочего квартала, руководители судеб народных не имели широкого полета мысли, пасовали перед окриком и трепетали за свое личное благополучие, за свое незапятнанное служение лозунгам партии. За ними всегда стояла толпа, которая связывала их в их решениях и снимала ответственность за ничегонеделание. В период образования у нас государственности мы следили за тем, что происходило в странах с демократическим образом правления. Мы наблюдали за Чехословакией, Германией, Францией и другими — там было то же, что у нас, в Советской республике, но у нас это было в карикатуре и сдобрено кровью и разгулом распоясавшегося русского мужика, а там все делалось чинно и мирно. Но — проживалось достойно, накопленное веками мудрого управления целого ряда королей и императоров, власть распылялась, убийства, грабежи, воровство, взяточничество, уличные драки, столкновения в парламенте и различного рода союзах терроризировали лучших идейных людей, и везде выступал на первое место кулак, и наглость спекулянта и шибера имели главенство над всем. И мы, оставшиеся в глуши России, видя это, отменялись от социализма.

— Вы его не признаете? — спросил Дятлов,

— Мы его считаем вредным учением, — сказал Стольников.

— Преследуете и казните за него, — сказал с нехорошей усмешкой Дятлов.

— Нет. У нас смертной казни нет. В начале, в первые годы царствования в Бозе почившего императора, были случаи жестокой расправы народной с коммунистами, но тому удалось положить предел и восстановить правосудие.

* Налога (нем)

— Заткнули глотку!

— Нет, воспитали народ. Если бы теперь Карл Маркс или Ленин вышли на площадь и стали проповедовать, — их никто не стал бы слушать и спорить с ними не стал бы.

Просто шли бы мимо и смотрели на такого человека, как на человека, делающего непристойность на улице. Их проповедь осталась бы гласом вопиющего в пустыне. Они напрасно надрывали бы глотку.

— Довели, значит, полицейский режим до совершенства. Молчать и не рассуждать.

Стольников снисходительно покачал головой и, улыбаясь, как улыбаются взрослые на глупую выходку дитяти, сказал:

— Нужно пережить то, что пережили наши отцы и деды в России в эти страшные годы, чтобы понять, что сделала эта кучка патриотов с патриархом и царем во главе. Да вот приехал мой отец. Он вам подробно расскажет, как погибло; около ста миллионов человеческих жизней и демократия всего мира закрыла глаза на их гибель во имя партийности.

Стольников побледнел и закрыл глаза.

— О, — сказал он как бы про себя, — если бы Христос не учил нас любить ненавидящих нас и прощать оскорбившим нас, как отомстили бы мы тем, кто допустил гибель целого народа... И мы... могли бы теперь отомстить!

За окном с опущенной шторой слышалось фырканье сытых коней и погромохивание бубенцов. Потом заскрипел песок под колесами, вздохнули полной грудью довольные лошади, и зазвенели дружным хором бубенцы. Коляска покатила от крыльца.

XXVI

В кабинет вошел могучий, громадного роста старик. Седые, стального цвета волосы лежали шапкой на голове. Они вились и блестели серебром на висках. Лицо красное, обветренное, с крупным носом, большими, кустами растущими, бровями и длинными седыми усами с подушками было полно благородной старческой красоты. Круглый небольшой подбородок и щеки были тщательно выбриты, шея короткая, красная, изобличавшая силу, упорство и здоровье, упиралась в шитый серебром воротник. На нем был темно-зеленый, длинный, стянутый в талии суконный казакин с откидными рукавами, из которых выходили черные рукава шелковой рубахи, серо-синие

рейтузы с узким белым кантом, высокие сапоги со шпорами. На плечах были погоны с вензелем покойного императора и серебряные аксельбанты, свесившиеся с правого плеча.

Он поцеловался с сыном и, бодрый, веселый, пахнувший свежим воздухом полей и ночи, обернулся к гостям.

— Спасибо, сынок, — сказал он, — что сообщил мне по дальнему сказу, что у нас гости дорогие, зарубежные. Рад, господа, видеть русских снова на родной земле. Счастлив оказать гостеприимство в первую ночь под русскими небом. Устали, родные? Ну никто как Бог, никто как Бог! Представь мне, Павля, гостей дорогих, а я — воевода большого полка и ловчий Его Императорского Величества, Владимир Николаевич Стольников, начальник Псковского отдела пограничной стражи, — каков есть, таким и полюбите.

Путешественники один за другим представлялись старому воеводе.

— Дятлов? — повторил названную фамилию старик. — Постой, постой! Каких Дятловых будешь? В Царицыне, во времена Деникина, был такой писака Дятлов. Шустро писал, да в тон не попадал. Пишет против большевиков, ругается страшно, а между строк говорит: «А все-таки, мол, большевики — свой брат, социалисты, все-таки они от народа и, ежели, мол, царь или Ленин, так еще подумать надо».

— Это мой отец, — сказал Дятлов, смущенный обращением на «ты» и не зная, как ему ответить старику.

— Ловил я твоего отца тогда, и счастье твое, что не поймал. А то и тебе на свете не пришлось бы быть. Родился-то где?

— В Берлине, — сухо, рывком ответил Дятлов, волком глядя на старика.

Отвернувшись от Дятлова и обращаясь ко всем, старый Стольников сказал:

— Вышел я, государи мои, в 1914 году восемнадцатилетним парнишкой из Николаевского кавалерийского училища в Гусарский полк. Сразу на войну. Два раза был ранен. Во время бунта не присягнул Временному правительству, и пытали, и мучили меня свои же солдаты. Убежал к казакам, служил в кавалерии Буденного, словом, лил, лил и лил кровь человеческую. Но в сердце Христа носил и царя ожидал страстно, и, как узнал, что проявился батюшка наш, солнышко ясное, — первый прибыл к нему и присягу ему на верность принес...

— Батюшка, — сказал Павел Владимирович, — гости очень хотят от тебя услышать, как появился у нас в России государь Всеволод Михайлович.

— А не утомлю? — спросил старик. — Вы ведь с дороги, а я человек привычный. Он взглянул на часы.

— Десятый, — сказал он, — ну, до двенадцати могу, а в двенадцать матушка наша царица обещала к дальню-зори подойти, ласковое слово сказать, в очи ясные дать поглядеть. Ведь я ее девонькой нянчил, верховой езде обучал, когда начальником конной школы был. Люблю я ее, звезду нашу северную... Так не утомлю?

— Мы хорошо отдохнули у крестьянина Шагина, — сказал Клейст.

— У Федора? Славный мужик... — сказал быстро старик. — Ну, садитесь, что на дыбах-то торчать. В ногах

правды нет. А ты, Павля, распорядись, чтобы боярыня твоя, Нина Николаевна, пуншиком нас обнесла... Вот курить, господи, попрошу воздержаться — потому святые иконы здесь висят.

Уселся, кто на тахте, кто в креслах, старик стал у окна, зажмурился, провел большой, широкой ладонью по лицу, крикнул, вздохнул и начал:

— На трех китах, государи мои, зиждется жизнь человеческая: земля, собственность и власть. И за них потоками лилась и льется кровь потоками густыми. И остановить эти потоки кровавые может только вера христианская, на любви основанная, и врагами этой веры являются социалисты.

— Это не совсем так, — сказал Дятлов. Старый воевода посмотрел на него, как на пустое место, и продолжал:

— Еще до освобождения крестьян от крепостной зависимости вселили мы народу русскому зависть к земле. Он и четырех десятин обработать не может, а ему подавай двадцать, ему сто подавай! И так разжигали эту страсть, что к началу нынешнего столетия все остальные чувства из души его вытравили. Одно лежало в сердце его: земля! «Земли!» — кричал батрак, «Земли!» — требовал киргиз, «Земли!» — требовал рабочий. — «Земля общая, земля Божья», — говорили социалисты, которые и в Бога не верили. — «Нет, в собственность!» — грозно вопил крестьянин.

— Под знаменем «Земля — трудящемуся на ней» прошел русский бунт 1917 года, и обогрелась земля русская кровью человеческой, как еще не обогрелась до той поры никогда. Шесть лет длилась смута, шесть лет бились за землю, брали ее, захватывали, а обрабатывать боялись, понеже чуяли, что земля не их. И земля не давалась им в руки и ничего не родила. Люди давились землей и умирали от голода. Положение государства, если только можно было назвать Советский союз государством, было отчаянным. Народ, забывший Бога, дикий, темный, невоспитанный, так распустился, что

стал опасен для самой власти. И вот тогда решено было бросить голодные орды за границу. Под лозунгами «Социалистическое государство не может существовать, если оно окружено государствами буржуазными, капиталистическими» и «Мы на горе всем буржуям — мировой пожар раздуем» были собраны на всех рубежах несметные полчища, вооруженные газовыми ручными гранатами. Организация этого похода была так плоха, что на третий день армия оказалась без продовольствия. В ней произошли бунты. Стали избивать начальников. Тогда коммунисты взвились над армией на самолетах и сбросили в нее бомбы с ужасными газами. Восемьдесят миллионов самого худшего, развращенного коммунистами народа — задохлось. Сами коммунисты сгорели на упавших самолетах... Вопрос о земле решил сам собой. Там, где без тесноты жило сто восемьдесят миллионов русского населения, осталось не более ста. Земли лежали пустыми, и говорить о земле не приходилось. С вопросом о земле решился и вопрос о собственности, и из рук социалистов было выкинуто самое главное их оружие. Да и социалисты почти все погибли вместе с голодным народом. Оставался вопрос о власти. Но принимать власть над умирающим от голода народом, над городами, лежащими в развалинах, ни у кого не было охоты. Вожди-большевики — одни были перебиты, другие бежали заблаговременно за границу, социалистов так презирали в народе, что они не смели возвысить голоса. Партии были рассеяны. Им не верили. Их главари были уличены друг другом в воровстве, хищениях, спекуляции и других гадких деяниях. Они так грызлись между собою, так обливали друг друга помоями, что никто из них не мог овладеть властью. Единственное чистое имя было — имя Патриарха, и около него и духовенства стали соединяться люди русские. В эти дни мы и услыхали о появлении императора.

Дверь растворилась, и жена Стольников, одетая в длинное, темное платье, усеянное самоцветными камнями и золотыми филиграновыми пуговками, в высоком русском кокошнике вошла в кабинет с подносом со стаканами и большим серебряным кунганом, наполненным пуншем. Она поклонилась старику, поставила поднос на небольшой столик и молча вышла.

Старик стал наливать пунш в стаканы и раздавать его гостям.

XXVII

— Император появился в Туркестане, — так продолжал Стольников свой рассказ. — Он сошел с Алатауских гор, а туда, по словам

одних, прибыл из Лхасы, по словам других — из Памира. Он был подлинный Романов, и никто не сомневался в том, что у него все права на престол. Это был юноша пятнадцати лет, с царственной осанкой, с прекрасным лицом, с большими лучистыми глазами. Он был одет в белый казакин тонкого сукна, шапку, отороченную мехом соболя, на нем была драгоценная шашка, украшенная золотом и бриллиантами. Около трех тысяч всадников сопровождало его. Все они и сам император сидели на небольших, белых, как снег, арабских лошадях. Сзади шел караван верблюдов. Императора сейчас же признали и присягнули ему на верность текинцы, выставившие два полка по тысяче человек на великолепных конях. Афганский эмир признал его. В Бухаре и Хиве Советская власть была свергнута, восстановлены эмиры, выставившие по полку конницы в распоряжение императора. Он, царственно дивный, юный, обворожительный, двигался на Фергану верхом, окруженный полчищами пестро одетых всадников. Он шел походом, медленно, как шел Тамерлан, и по мере движения его на север все покорялось ему, и все его признавали. Из своего конвоя он оставлял на пройденных местах людей, и сажал их на воеводства. Так образовались воеводства — Ферганское, Сырдарьинское и Семиреченское. На личности этих воевод я и должен несколько остановиться. Я не знаю, слышали ли вы о деятельности Скобелева, Кауфмана и Куропаткина в Туркестане, Ионова в Семиречье, Муравьева в Приамурье в царствование Александра II? Оказалось, что никто ничего не слышал. — Теперь у нас каждый мальчик про них знает, — сказал Стольников-сын. — Жизнеописания их, прекрасно составленные, со многими рисунками, — любимое чтение нашей молодежи. Я расскажу вам, пока батюшка отдохнет немного, два случая. Заложил Ионов, в бытность атаманом только что образованного Семиреченского войска, на месте киргизского становища Алма-Аты — город Верный и насадил подле него богатейший сад. Потом он должен был уехать по делам и, когда вернулся, нашел сад посохшим, так как казаки запустили орошавшие его арыки. Он собрал казаков и перепорол их на месте сада. После этого насадили сад снова, и сейчас этот полузапущенный таинственный сад-парк — лучшее украшение Верного... Куропаткин во время похода на Кульджу остановился недалеко от границы, в пустыне, у горного ручья Усека, и задумал построить город. Его туркестанские линейцы и сибирские казаки согнали та-ранчей и дунган, приказали копать арыки, распланировали военной правильности город с широчайшими улицами, проспектами, площадями, насадили сады фруктовые, аллеи тополявые и карагачевые, посадили джигду душистую, и возник город

Джаркент. Скобелев с Анненковым в один год проложили железную дорогу на тысячу верст по убийственной пустыне Закаспия — это в то время, когда инженерное строительство в России очень невысоко стояло... Это были люди, полные порывов творчества.

— Вы одобряете порку? — спросил Дятлов.

— Нет, сын мой хотел привести пример тому, что творчество требует единичной личности, героя, гения, творца. Творчество не терпит коллектива, комиссии, совета, творчество не демократично. Господь Бог единый творил небо и землю, творил звезды и солнце, воду и тварей земных, а не творил этот сонм духов, — сказал старый Стольников.

— Да, если верить всему этому вздору, — тихо проговорил Дятлов и отрицательно покачал головой.

— Россия лежала в обломках, — продолжал свой рассказ старик. — Души людей были запакощены, источены коммунистическим воспитанием, тела умирали от голода и болезней. Народ дошел до отчаяния. Россия нуждалась в творчестве, и потому никакой коллектив не мог ею управлять. Нужна была единая воля надо всей Россией, нужны были Куропаткины, Кауфманы, Ионовы, Муравьевы по всем ее областям.

— И это все сделал, — сказал Клейст, — юноша, почти ребенок, назвавший себя императором и таинственно появившийся откуда-то из недр Центральной Азии. Похоже на сказку!

— Сказка и была, — сказал Стольников-младший. — Было чудо милосердия Божия. Господь услышал молитвы грешных людей. Но было это совсем не так. Царственный юноша только шел впереди отряда, дарил улыбку и лаской чистого сердца, прикосновением руки снимал горести и заботы с изнемогших людей. Он был олицетворение сказки, он был «грезой мечты золотой», звавшей в царство радости и счастья, он только миловал и никогда не казнил. Он был Царь — Помазанник Божий, и его имя было священо. С ним шел и его именем распоряжался атаман Аничков. Его биографию вы найдете в каждом русском доме. Сын орловского помещика и русской цыганки, он еще до войны, служа в Туркестане, отличался силой воли, красотой подвига служения Родине, безупречной честностью и бескорыстием. На войне, на германском фронте, он покрыл себя славой подвигов исключительных. Солдаты и казаки его обожали. Когда случился переворот 2 марта 1917 года, Аничков собрал своих казаков и солдат, — он командовал партизанским отрядом, — и сказал:

— Вы кому присягали? Кому крест святой и слова Евангелия целовали?

— Государю императору Николаю Александровичу. Ему и будем верны.

Аничков ушел со своим отрядом с фронта и направился в Среднюю Азию. Четыре года он вел упорную войну с большевиками в Туркестане. Когда он узнал о голоде, он пошел в Лхассу к Далай-ламе. Здесь, в горном глухом монастыре, он нашел умирающего великого князя Михаила с сыном Всеволодом. Он остался при них. Почти год провел он в монастыре и здесь изучил многое, что знали тибетские монахи и чего не знает никто. Он научился читать в душах людей и узнавать их помыслы, глядя в их глаза. Он научился передавать свою мысль на расстоянии, и в глухом подземелье двадцатилетний монах открыл ему книгу будущего и списки людей, угодных Богу своей честностью. Аничков путем внушения вызвал этих людей со всего света. Остатки врангелевской армии, офицеры и солдаты корпуса Кутепова, томившиеся за границей, бывшие на сербской и болгарской службе, беженцы в Германии, умиравшие от голода на мостовых Константинополя офицеры вдруг получали необыкновенное желание, стремление двигаться, идти куда-то. Судьба толкала их из вагона на палубу парохода. То встреча с товарищем, давно забытым, которого считали умершим, то случайная работа, то добрый человек, то вдруг мелькнувший призрак родины вели этих людей через страшные выси Гималаев, через посты английской стражи, через пустыни Тибета к одной таинственной точке — монастырю Бог-до-Оносса, где они нашли своего умирающего императора. Тибетские мудрецы приняли в них участие. Они снабдили отряд прекрасной одеждой и лошадьми, они внушили им мудрость и знание людей. Это какая-то особая сила заставила моего отца и многих его соратников вдруг покинуть ряды армии Буденного и других красноармейских частей и устремиться на восток. Навстречу к тому, кто уже шел во всей славе своей.

Стольников-старший, прихлебывавший в это время из своего стакана пунш, поставил его на стол и стал продолжать прерванный рассказ.

— Способ управления был прост. Это был тот способ, который знал Моисей и о котором говорится в Библии. Над каждой областью, примерно над каждыми ста тысячами населения, ставился «тмы начальник», воевода, из числа людей, собравшихся со всей России и верных императору, и образовывалось воеводство. Воевода над каждыми десятью тысячами ставил «десятитысячного начальника» из местных людей, известных честностью и бескорыстием, дальше следовали тысяченачальники, пятисотенные, сотенные начальники, или

головы, — все эти лица были по назначению. Только десятские были выборными от десятков. Аничков разделил строго: или земля и собственность, или власть. Тот, кто имеет землю и собственность, тот не может начальствовать над другими. Тот, кто призван царем, должен, по завету Христову, оставить все имущество и идти за царем. Все то, что вы видите кругом: дом, сад, огород, пашни, лошадей, мебель, картина, посуду, белье — это все не мое и не моего сына, это все государственное. Вы видите на бокалах с одной стороны герб города Пскова, а с другой — две буквы «В» и «П» — Воеводство Псковское. Мы ничего не имеем. Этим пресечено желание обогатиться, этим уничтожено желание брать взятки, этим люди власти всецело отданы на служение государству... Так началась борьба с разрухой российской... Когда царь, окруженный войсками, переправлялся через Уральский хребет и стал двигаться по Каме к Волге, из Москвы к нему вышел навстречу патриарх, окруженный духовным синклитом, с чудотворными иконами, хоругвями, сопровождаемый народом. Куда ни приходили эти толпы верующих людей, всюду находилось для них достаточно хлеба. Перед Волгой произошла встреча государя с Патриархом. Была ранняя весна и четвертая крестопоклонная неделя Великого поста. В монастырском глухом скиту в Пензенской губернии, где ночевал Патриарх, ударили к ранней обедне. Снег в монастырском саду лежал рыхлый, ноздреватый, как бы покрытый черными точками. Ночью было тепло, и невидимые ручьи тихо шумели. Громадные трехсотлетние дубы и липы обители стояли голые, и с черных раскидистых ветвей на снег с тихим шорохом падала водяная капля. Небо было сумрачное, клубились тучи, и только на востоке чуть зеленела узкая полоска чистого неба, и черной щетиной рисовался на ней еловый лес. Желтыми огнями светились высокие окна с железным переплетом большого монастырского собора. Там, у древних икон с черными ликами, горели тоненькие свечки желтого воска и блистала со стен облезлая позолота старой резьбы. Низкий иконостас, вогнутые Царские врата, занавешенные ветхой, утратившей свой цвет завесой. Тускло мигал по верху, перед темными иконами, ряд цветных лампад, и в церкви, в глубокой тишине, среди голодного, полуголого народа шла литургия. Стояли женщины, покрытые лохмотьями. Из обрывков рубах видны были иссохшие бока, и коричнево-желтые ребра выдавались на темной коже. Почти не видно было юных лиц. Голод состарил всех. Босые, с черными ознобленными ногами, худыми, с выдающимися лодыжками, без икр, в рваных портах, лохмотьями спускающихся к коленям, острым, с торчащей вперед коленной чашкой, стояли мужчины. Нищета всех

сравнила. Нищета и голод стерли классовые различия, нищета и голод уничтожили партийную рознь. Собрались несчастные русские люди, собралась Русь, придавленная, голодная, дошедшая до отчаяния. На клиросе пел хор. После литургии по приказу Патриарха служили молебны. Под высокими, закоптелыми временем сводами старого храма затрелетали возгласы певчих «Тебе, Бога, хвалим!» «Царь едет!» раздался голос. Патриарх, сопровождаемый духовенством и хором певчих, стал выходить в северные ворота храма. Ободняло. Небо пылало золотом лучей восходящего солнца. Тучи клубились и собирались в облака, и розовая краска бежала по ним. В тихом утреннем воздухе всплескивали слова хора и летели к небесам, отдавались о черные сучья деревьев и злом отражались о каменные белые стены монастырской ограды... «Тебе вси Ангели, Тебе небеса и вся силы. Тебе херувимы и серафимы!» — неслось за Патриархом. По широкой, уже почерневшей дороге, между черных раскидистых деревьев, озаренные сзади лучами восходящего солнца, точно в ризе червонного золота, подвигались белые всадники и впереди них — царь. Желтый штандарт с черным двуглавым орлом реял над ним, и конь под ним казался отлитым из серебра... «Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенной исповедует святая Церковь», — порхали голоса хора под деревьями, и нам казалось, что уже не к Богу, Царю Небесному, а к царю земному взывает хор патриарших певчих... Толпа встала на колени...

У старого Стольникова слезы показались на глазах. Он не мог продолжать рассказа и знаком показал сыну, чтобы тот досказал за него.

— За царской ратью, — сказал молодой Стольников, — монголы гнали стада быков, коров, баранов, овец и лошадей, и каждое животное несло на себе в мешках зерно на целые два месяца — до новой травы, для своего пропитания. Этот скот, под ответственностью начальников, стали раздавать крестьянам. На Пасху, в Светлое Христово Воскресенье царь с Патриархом вошли в Москву и в Успенском соборе служили заутреню. После семилетнего молчания ожила Москва гулом колоколов всех сорока сороков церквей.

XXVIII

Без пяти минут в двенадцать часов старый Стольников поднялся.

— Хотите, — сказал он, — я представлю вас здесь молодой царевне, Радости Михайловне?

— Как же так? — спросил Коренев и вдруг почувствовал волнение, подобное тому, какое охватывало его в Потсдаме и Вердере перед таинственным появлением призрака.

— А вот увидите, — сказал старик. — Я думаю, царевна не осерчает на меня.

Он пригласил следовать за собой, и они вошли в большую залу. По стенам висели в тяжелых золотых рамах портреты царей московских и государей Всероссийских. Впрочем, разглядеть их не удалось, так как старик, взглянув на часы, поспешно подошел к выключателю и загасил горевшую наверху электрическую люстру. После этого он распахнул окно и спустил белую, матовую, туго натянутую штору. Резные тени листьев кустов, брошенные луной, упали на нее. Старик повернул какой-то глухо щелкнувший ключ, и тени исчезли. Занавесь начала светиться тусклым синеватым светом. Все молчали, в большом зале была тишина, и гулко о стены отдался кашель кашлянувшего два раза Клейста. Едва намечались черные тени столпившихся в десяти шагах от таинственного экрана людей. Свет то усиливался, то ослабевал и, когда усиливался, принимал золотистый оттенок. От экрана раздался сначала глухой шум, как тогда у Шагина, когда появился портрет императора, но сейчас же донеслось удаленное пение. Женский молодой, свежий голос пел старый романс Глинки «Северная звезда». Его слышали уже с середины. Чуть колеблясь донеслось:

Звезда — северная...

Голос становился слышнее. Одновременно на экране стали обрисовываться мутными, но становящимися постепенно более ясными красками очертания комнаты. Стали приметны бледно-розовые с шитыми белыми розами штофные обои, в золотых багетах картины и горящие подле них бра о трех свечах, золоченые диваны и кресла, крытые таким же штофом, фарфоровая лампа с большим абажуром и под ней брошенная работа — клубки шелка и материи, растянутой на пальцах, большой серый дымчатый кот, спящий у диванной подушки, ширмы, столик с бронзовой с фарфором чернильницей, тяжелая, под цвет обоев занавесь, из-за которой уже более отчетливо неслось:

Приздумалась, пригорюнилась,
На кольцо свое обручальное
Уронила она слезу крупную...
О далеком о нем Вспоминая...

Певца кончила, и несколько женских голосов сказали:

— Отлично!.. Прелестно!.. Какой восторг слушать вас, Лидия Федоровна...

И сейчас же портьера раздвинулась, и в комнату вошла молодая девушка. Она чуть прищурила синие глаза, опущенные длинными, загнутыми вверх ресницами, точно всматривалась в темноту, и сейчас же широко открыла их, и громадные, лучистые, ясные, они засияли на экране живым блеском. Русые волосы были расчесаны в две толстые косы с вплетенными в них голубыми лентами и нитками белого жемчуга. На тонкой, как у девочки, шее лежало широкое ожерелье из жемчужин. Глухое белое платье из атласа охватывало ее стройный стан и спускалось до самых пальчиков маленьких ножек, обутых в голубые сафьяновые туфельки.

— Спокойной ночи, батюшка воевода, Владимир Николаевич, — раздался с экрана хрустально-чистый голос.

Корнев почувствовал, что она повернула на него свои глаза, и узнал свой призрак.

Русые косы были через плечи брошены на грудь и вдоль рук спускались толстыми блестящими змеями. Грудь волновалась под мелкими камушками ожерельев, розовые щеки вдруг побледнели, в потемневших зрачках появилась тревога. Она сделала шаг назад, прикоснулась к чему-то на стене за портьерой, и ее образ стал бледнеть, краски платья тухли, сливались с материей обоев, теряли контуры и, наконец, исчезли.

— Я жду... — чуть донеслось с экрана, как тогда Вердере.

Все исчезло, и беспокойные тени колеблемых ветром кустов сада, брошенные луной, появились на белом полотне туго натянутой шторы.

Глухой стук тяжело рухнувшего на пол человеческого тела раздался в зале.

Стольников зажег огни. Корнев лежал на полу в глубоком обмороке.

— Не надо было, — говорил старый Стольников, — так сразу показывать чудеса нашей русской работы.

Притом же юноша устал с дороги, вероятно, и недоедал в пути.

Клейст, понявший в чем дело, нагнулся к Корневу и вместе с Эльзой приводил его в чувство. Пришли позванные Стольниковым слуги и бережно отнесли Корнева в комнату, отведенную ему вместе с Дятловым.

Корнев не приходил в себя и бредил страшными призраками.

Бакланов не мог уснуть. У противоположной стены горницы на широкой лавке, на мягком сеннике, мирно посапывал Курцов, а Бакланов лежал на спине, подложив руки под голову, и томился. Прямо в лицо ему светила луна, спускавшаяся к западу, он не подошел к окну, не задернул занавесок, не закрыл окна. Холод осенней ночи туманами крался к его постели и охватывал его разгоряченный лоб и щеки, — он подставлял лицо свое дуновению ночи и думал. В углу кротко мигала лампадка, и тени ползли по лику Богородицы, склонившейся к младенцу Христу. Старые вербочки были заткнуты за золотой венчик, и тени от них шевелились, и то надвигались на седой лик Николая Чудотворца, то спускались к Богородице. Бакланов вытащил из-под подушки портсигар с папиросами «Бассари». Он знал, что нельзя курить в горнице, где есть образа, но искушение было сильнее его, он чиркнул спичку, закурил и потянул с наслаждением сизый дым. Когда-то он ухаживал за этой самой Бассари, венгерской певицей, и шатался чуть не ежедневно в театр опереток. Тонкая до худобы, жгучая, стройная, полуцыганка Бассари его околдовала. Шел в Россию, а думал о ней. «Вернусь, — думал, — и опять буду добрым буршем сидеть в театре, отбивать ладони и в воскресенье ездить на Ванзее и следить, как на парусной яхте, в купальном костюме скользит она по голубому озеру, и худощавая головка с копной черных волос и тонким носом и сухими губами резко рисуется на белом парусе».

Теперь... Он затаился папироской, носящей ее имя, и еще глубже задумался. В Индии есть предание, что всемогущий Будда творит души парными — вот, как две половинки яблока, разрезанного пополам, или орехи-двойняшки, которые немцы называют «Филиппхен». Эти души всю жизнь ищут друг друга и как же бывают счастливы, когда находят. В этом сродство душ, в этом притягательная сила одного человека к другому.

Вчера как каким-то током потянуло его к краснощекой широколицей смешливой Грунюшке, с могучими плечами, полными руками с маленькими пухлыми ладонями, с тонкими пальцами, с широкими бедрами и крошечными ножками. «Богиня Геба» — сказал про нее художник Корнев. А он усмотрел другое, точно одна душа кивнула другой и сказала: «Это ты?» И радостный раздался ответ: «Я... да, это я». И души-двойняшки нашли друг Друга.

Он был пьяненький. Грунюшка насмешливо-ласково ухаживала за ним, и как тепло было от ее слов. Грунюшка стелила ему постель,

Грунюшка принесла ему свое одеяло, синее, стеганное на вате. «А то кабы холодно не было. Изба-то нетопленная», — сказала. И в каждом слове он находил что-то невыразимо-милое, русское, родное. Теперь не спал, может быть, потому, что днем, после обеда, сладко выспался на сеновале.

Луна зашла за избу, и стало темно на дворе. С трудом можно различить телегу, стоящую в углу, и будку, где спит без всякой цепи Барбос. Сарай, гумна, птичьи клуны, а за ними три громадные скирды хлеба рисуются на темном небе, покрытом звездами, резкими черными силуэтами. «Есть и у декадентов правда в рисунке, — подумал Бакланов. — Все сейчас черно в природе, линии резки, и звездный узор причудливо великолепен. Оглобли от телеги черными столбами тянутся выше крыши, а на шесте от скирды над самым хлебом сухая ветка, точно ведьма, вцепилась в шест. Кажется, что чувствуешь, как несется земля в беспредельную черную тьму навстречу лукаво мигающим звездам».

Бакланов встал с постели и подошел к окну. Он стоял босыми ногами на гладком оструганном полу и обеими руками ухватился за подоконник.

«Как можно было не верить в Бога? — подумал он. — Как можно жить одним знанием?»

В эту ночь он понял, что нельзя без Бога. Глупо без Бога, а с Богом легко и радостно. С благодарностью посмотрел на образа, и темные лики их показались ему значительными.

На дворе светлело. Свет был без теней, и от этого предметы казались плоскими и слегка кружилась голова. Выдвинулись сарай на ставшем зеленым небе, телега стала казаться одушевленной, и жаль стало ее, переночевавшую прямо на пыльном дворе. Стала видна черная лужа, и какой-то отблеск показался на золоте хлеба, сложенного в скирды. И ведьма уже стала не ведьмой, но засохшей веткой рябины, привязанной к шесту. Природа начала просыпаться.

Первым проснулся петух. Он прокричал под сараем «ку-ка-ре...» — и не закончил. Хрипло, сердито заворчал что-то и хлопнул два раза крыльями. Может быть, посмотрел на небо и почувствовал, что рано. Прошло немного времени, и вдруг так, что больно стало глазам смотреть на него, загорелся мокрый от росы блестящий шест скирды, и небо за ним стало бледно-синего цвета, и погасла скромная одинокая последняя звездочка. Луч солнца озарил вершины скирд и крытые железом крыши амбаров. Петух решительно и восторженно прокричал, и пение его показалось Бакланову отчетливо выговариваемыми по-русски словами:

— Как хоро-шо-о! — прокричал петух. И ему ответил другой с соседнего двора таким же звонким:

— Как хо-ро-шо-о!

И Бакланов почувствовал, что и действительно хорошо. Он уже не мог оторваться от просыпающейся природы и смотрел жадными глазами на двор. Сел на лавку за окном и наблюдал, скрываясь за занавеской, как просыпался двор.

Барбос медленно вылез из круглого отверстия конуры, потянулся, сладко зевнул и снова улегся, но уже на дворе, в пятне золотого света, в мутной радуге косых лучей. Вся повадка его говорила: «Рано еще. Посплю немного, утренний сон сладок».

Белая, с серыми и черными пятнами, большая пушистая кошка, ночевавшая где-то за амбарами, с блудливым виноватым видом, беспокойно озираясь, пробежала медленной рысью, вся растянувшись вдоль стены, и скрылась за домом.

В конюшне подымались лошади, и слышно было, как стучали они по деревянному полу ногами и тяжело вздыхали. Медленно и коротко промычала корова, и заблеяли, вставая, овцы.

А с другого конца избы, из сада, дружным хором чирикали наперебой птицы.

Косые лучи солнца прорезали двор. От дома до самых сараев, закрывая телегу, протянулась синяя влажная тень, крыши сараев, вершины скирд блестели золотом, все еще влажные от росы. Легкий пар подымался от крыши. С дома медленной каплей падала на песок двора вода.

— Как хо-ро-шо-о! — снова пропел петух. На двор вышла Грунюшка.

XXX

Она была в длинной белой, ниже колен, рубаше из простого полотна. Каштановые волосы были распущены, перевязаны прядью под затылком и падали волнистым пухом на спину. Босые, загорелые, маленькие ноги мягко ступали по песку. Лицо было раскрасневшееся от сна, с мило набегающими на лоб завитками волос, с еще сонными глазами, черными от большого неспящегося зрачка и густых, кверху загнутых, ресниц. Гибкой, легкой походкой, как горная серна, без малейшего усилия ступая по земле, как бы не касаясь ее, держа в руке большую плетенку с зерном, она подошла к курятнику и открыла сквозные двери.

— Цып, цып, цып, — говорила она ласково и бросала полными горстями зерна на землю.

И сейчас же все население курятника всех цветов и возрастов высыпало на двор и пестрым ковром, как стекла калейдоскопа, окружило стройную белую девушку. Грунюшка наклонялась, рассыпая зерна, гладила своих любимцев, ловила и целовала маленьких желтых цыплят, отбивала от них жадных уток. Весь левый угол двора наполнился птицей. Черная крупная наседка, окруженная одиннадцатью крошечными цыплятами, сильными, крепкими ногами, точно расшаркиваясь, разгребала песок, откидывала зерна, и цыплята кидались толпой, ловя желтыми клювами отброшенное зерно. Пестрая утка хотела подойти ближе к этому семейству. Наседка злобно кинулась на нее ихватила в бок, и утка, переваливаясь, отбежала в сторону, недовольно крякая. Стадо гусей, серых и белых с оранжевыми клювами, важно переваливаясь и гогоча, прошло к воротам.

— Пить? Гусики милые! Петр Петрович, пить? — обратилась Грунюшка к гусям, и они громко ответили ей дружным гоготаньем и захлопали, охорашиваясь, крыльями.

Грунюшка пошла за дом, и скрипнули тесовые ворота.

Барбос давно уже стоял, виляя хвостом, точно ожидал ласки, и едва отошла Грунюшка от ворот, пропустив гусей, как он кинулся к ней клубком и прыгал, теребя ее рубашку.

— Сейчас, Барбос Иваныч, сейчас. Сегодня косточки будут, — сказала, лаская его, Грунюшка.

Кошка появилась откуда-то и шла, пожимаясь, горбя спину и подняв султаном хвост, и мяукала, точно говорила слова приветствия.

— А, Марья Максимовна, и вы появились? Где пропадали ночку? Опять мышек в полях ловили?

Каждому животному она находила слово ласки.

На конюшне услышали ее голос и нетерпеливо стучали копытами лошади, точно хотели сказать: «Душно нам, пить!» Свиньи хрюкали и визжали, и корова кричала «м-му-м-мы, м-мы», ожидая удоя.

Петух ходил между черных кур, встряхивался золотой грудью, поднимал голову с алым гребнем и кричал что есть мочи:

— Как хорошо!.. Как хорошо-о!..

Грунюшка носилась среди всего этого птичьего царства, открыла двери конюшни, носила туда воду, подала на вилках охапку свежего сена, открыла коровник, и теплый запах навоза и молока вместе с паром пошел по двору. Грунюшка исчезла в коровнике, и оттуда раздались плавные звуки журчащего потока молока. На улице послышались руганья пастушьего рога. Коровы мычали, блеяли овцы.

Грунюшка выпускала своих из коровника, и они шли, тихо мыча, к воротам, за ними толпой бежали овцы.

Первые потребности животного царства были удовлетворены, все, что осталось, жевало, чавкало, рыло клювами, все насыщалось, щуря глаза и наслаждаясь теплом.

Грунюшка подняла рубашку выше колен, подвязала ее шнурком, обнажив белые с половины икры ноги, подтащила тачку и стала лопатой выгребать навоз из коровника. И в этой грязной работе, раскрасневшаяся, с выбившимися на лоб и щеки черными космами волос, с мечущейся по спине, как темная грива, распушенной косой, она казалась еще прекраснее.

«Настоящая Геба, — думал Бакланов, — богиня земли и плодородия». Сладкая истома сжимала сердце, и если вчера он еще мог сомневаться, любит ли он ее или нет, то теперь, глядя на ее сильный стан, на упругие движения ног, он чувствовал, что любит до боли.

В избе стучали посудой, гремело железо, кололи дрова.

Отец Грунюшки, Федор Семенович, в рубашке навыпуск и суконных портах, обмотанных онучами, и по-будничному в лаптях, вышел на двор. Он был умыт, причесан. В руках он держал бумагу.

— Груня, Грунюшка, — позвал он ее, — почитай, что в приказе писано. Есть что до меня аль нет, я без очок-то не вижу.

Груня подошла к отцу и взяла бумагу.

— «Приказ № 218, — прочитала она, — селению Котлы. Напоминается, батюшка, что завтра Усекновение главы Иоанна Предтечи и сегодня в шесть часов вечера будет отслужена всенощная... А дальше... Все не до нас... Со второго десятка выслать двух рабочих с подводами для возки хлеба на станцию железной дороги. Крестьянину Ивану Шатову объявляется от имени родины и государя выговор за появление в нетрезвом виде на деревенской улице». Все не исправится Ванюха-то, батюшка. Озорной.

— Дрянь человек, — сказал Шагин. — Дождется он, что его на работы отправят...

— Вам, батюшка, благодарность, — краснея, сказала Грунюшка, и глаза ее засияли счастьем, — за христиански-радушный прием путешественников.

— Ну, это ни к чему, — улыбаясь сказал Шагин, — сами понимаем свой долг перед Господом, царем и родиной. Что, встали господа-то?

— Не видать, — сказала Грунюшка.

— Ну, ступай, Груня, умывайся да одевайся. Скоро чай пить будем, гостей поить. Мать самовар уже наставила, хлеба вынимает, а я запрягать буду, за сеном поеду с Сеней.

Грунюшка поставила вилы в сарай и ушла, и Бакланову показалось, что солнце померкло на небе и скучным стал наступивший день.

— Как хорошо-о! — пропел петух.

— И ничего хорошего, — сказал Бакланов и пошел в сени умыться.

XXXI

Грунюшка с волосами, заплетенными в одну блестящую черную косу, перевитую лентами, в вышитой пестрыми нитками рубахе и синей со многими сборками юбке, в черных чулочках и небольших сапожках, сидела в саду на скамейке, под желтеющей липой, перед длинным дощатым столом, усыпанным красными пахучими яблоками, и острым ножом быстро и скоро чистила их и резала тонкими ломтями для сушки. Кругом стоял крепкий медвяный запах, и казалось, сама Грунюшка была пропитана им.

Бакланов сидел против нее, смотрел на ее тонкие пальцы, с одним маленьким колечком с бирюзой, покрытые сладким соком яблок, на ее руку, обнаженную выше локтя, загорелую, с нежными белыми волосиками на ней. На пятнах солнечного света кожа руки казалась золотистой, и видно было, как мягко шевелились мускулы под ней, когда она быстро перебирала пальцами, обрезаая кожу.

Темные глаза смеялись, счастье девятнадцатой весны брызгало от нее вместе с могучим здоровьем земли и свободы. На белый, чистый лоб сбегали волосы, и она откидывала их быстрым движением головы назад. Розовый подбородок дрожал, на шее встряхивались белые, желтые и красные бусы, и грудь колыхалась под вышитой рубашкой.

— Что вы смотрите на меня так, Григорий Николаевич? — сказала Грунюшка, и алым полымем вспыхнули упругие, пухом покрытые щеки.

— Вы читаете что-нибудь, Аграфена Федоровна? — спросил Бакланов.

Она не сразу поняла вопрос.

— Когда, — спросила она, — теперь? Теперь — некогда, да и всегда некогда.

— Но вы учились? Ваш отец говорил, что вы были в высшей женской школе.

— Вот и научилась работать и любить труд. А это главное. Да когда же читать? Особенно в летнюю пору? Встаю с петухами. Надо напоить, задать корма скотине, накормить птицу. Всякая-то тварь меня дожидается. А ведь это с чисткой помещений часа четыре

займет. Вот вам и все восемь часов. Тут уже надо на настоящую работу становиться.

— Какая же это настоящая работа?

— В каждое время года своя. Вот видите, хлеб убрали, теперь надо фрукты убрать, разобрать, что оставить, что продать, что впрок заготовить, надо капусту квасить, грибы солить и сушить — по дому работы без конца, затемно только и управишься. А там надо птицу загонять, опять все с поля вернулись, опять коров доить, отделять сметану, масло бить. Иной раз до полуночи провозишься. Вот зимой, на посиделках, когда работа комнатная, ручная, когда ткem, прядем, нитку сучим, вышиваем — вот тогда соберемся, и кто-нибудь нам читает, а мы слушаем. А то песни поем... А то еще балалаечники у нас хорошие, гармонисты — играют, и так проработаем, что и зимней ночи не заметим.

— Сколько же часов вы работаете в день?

— Не считанные часы у нас. Пока всего не переделаешь, и рук не положишь, — весело сказала Грунюшка.

— А в Европе повсюду семичасовой день, — сказал Бакланов и только тут, среди кипучего муравейника работы, почувствовал, как это глупо.

— То-то, слышать, пухнет Европа от голодухи.

— Ну а на фабриках, на заводах как у вас работают?

— Ходили наши парни и на фабрики. Вот Маша Зверкова — через дом от нас живет — и сейчас работает там. Там тоже свобода. Этого рабства, как в нехристианских странах, нет.

— Но ведь есть, Аграфена Федоровна, производства, работа на них тупит и утомляет человека.

— Знаю, — сказала Грунюшка. — Это когда человек при машине стоит и сам как бы винт этой машины. Там разное: есть, что по четыре часа стоят, восемь отдыхают и опять четыре при машине; есть, что по шесть часов работают, есть по восемь. Ну, а там, где работа ручная, творческая — там запоем работают. Маша Зверкова на Императорском фарфоровом заводе работает по лепке. Иной раз: есть, что по четыре часа стоят, восемь отдыхают; домой придет усталая, бледная, бросится в постель и спит, спит. А потом опять к станку, глаза горят, руки дрожат от волнения. Как же тут через восемь часов бросить: вдохновение потеряешь. Мы это пережили — восьмичасовой день и бредни о нем. Это государство обратит в свинушник.

— Но неизменно явится эксплуатация.

— Не забудьте, Григорий Николаевич, — серьезно сказала Грунюшка, — что у нас фабриканты и заводчики — христиане, что у них

совесть есть. У нас нет спекуляции, нет банков, нет адвокатов, нет профессий, где бы можно было без труда иметь деньги. Каждый человек очищен у нас трудом и верой Христовой, в каждом Бог, а потому очень трудно у нас эксплуатировать человека. Да порядочный рабочий сам даст все, что он имеет. Мы воспитаны в духе гордости своей родиной, Русью великой. Наши фабрики не похожи на фабрики прошлого или на фабрики Запада, как мы о них читаем. Фабрики разбросаны среди природы, у каждого рабочего есть свой кусочек земли, свой сад, огород, животные. Рабочих случайных, бродяг, пролетариата, у нас нет.

— Куда же он девался?

— Он побит. А новому не дают народиться. Быть без дела молодому, здоровому, сильному человеку — это такой позор, что никто его не перенесет.

— Но есть же люди, которые не способны к работе. Усидчивости в них нет. Вольный дух в них живет.

— Таланты?

— Нет, просто непоседы.

— Мало ли подходящих занятий? Идут в солдаты. На рыбные промыслы, на охоту, обозы гужом гоняют, почту держат. Но без работы у нас нет людей.

— Ну, не нашел человек работы?

— Да как же это может быть? Не забудьте, у нас все люди разбиты на десятки, и в каждом десятке есть старший — он и позаботится.

— А чужие? Пришлые? Вот, как я. Куда я приткнусь?

— На это есть волостные и губные старосты. На это есть градоначальники — там каждого человека приставят по его способностям.

— Что же, меня свинопасом поставят? Я ничего не умею.

Грунюшка рассмеялась.

— И свинопасом быть, Григорий Николаевич, надо тоже знание иметь. А то свиней перепортишь.

Но сейчас же стала серьезна. Ласково посмотрела на Бакланова. Умолкла.

— Гляжу я на вас, Аграфена Федоровна, — тихо заговорил Бакланов, — слушаю вас и поражаюсь. Крестьянка вы, а как говорите! Как выглядите! Как мыслите! Королевна вы! Королевна земли!

Бакланов порывисто схватил маленькую ручку Грунюшки, запачканную яблочным соком, и со слезами на глазах стал целовать ее то сверху, то в ладонь.

Она не сразу отдернула руку. Пунцовым цветом залились ее щеки и стали как те яблоки, которые лежали перед ней на столе.

— Оставьте, оставьте! — прошептала она. — Что с вами такое? Ах, какой вы озорной! Срам какой!

— Простите, Аграфена Федоровна... Чудная, волшебная девушка сказочного царства, простите меня. Околдовали вы меня... Буду писать о вас, буду писать, как ранним утром, когда солнце бросило первые косые лучи с небосклона и засверкали в золоте его лучей верхи стогов и жерди, — выходит на двор богиня земли и плодородия, и все живое хором приветствует ее появление. Гогочет Петр Петрович, трется о ее ноги Мария Максимовна, ржут лошади, мычат коровы...

— Вы видали все это? Какой срам!

— Что вы, Аграфена Федоровна! Срам в труде?! Нет грязного труда, потому что всякий труд святой! — воскликнул Бакланов. — Я второй день здесь... Я второй день в этом волшебном царстве, и я никуда не пойду от вас, мне никого не надо, только вас.

— Бросьте, бросьте, — говорила, отмахиваясь руками, Грунюшка. — Ох! Искушаете меня... И не введи меня во искушение, но избави от лукавого! Бросьте, оставьте.

Счастье брызгало из карих глаз. Лицо улыбалось против воли. Она встала из-за стола и отодвинулась к липе. Бакланов тоже стоял. Он опустил голову. Лохматые, непокорные волосы путаными прядями сбивались на лоб он походил на молодого бычка, который хотел бодаться.

— Ну, простите меня, простите, Аграфена Федоровна... Но видит Бог... Вот ей-Богу... Я счастлив... Я на родине.

— Солнце и радость осеннего дня опьянили вас, — сказала тихо, раздельно произнося слова, Грунюшка. — А придет непогода, налетят осенние бури, прикатит зима со снегами и морозами, и все позабудете.

— Нет, Аграфена Федоровна... Не знаю, как это у вас делается... Вижу по всему, что не так это просто, как у нас... А буду просить вашей руки... Потому что полюбил вас горячо и бесповоротно...

— Ой, Боже мой! Срам-то... Срам-то какой! С родителями надо прежде поговорить... Ой, ужас какой! — воскликнула Грунюшка и, закрыв лицо руками, как вихрь, умчалась в избу...

XXXII

Все путешественники разбрелись. Судьба перетасовала их по-своему. Корнев лежал, больной тяжелым нервным расстройством.

вом, у Стольников. Эльза и дочери хозяина ходили за ним. Клейст и мисс Креггс уехали в Санкт-Петербург. Клейст получил от Стольников рекомендательные письма к химику Берендееву и поехал знакомиться с новыми изобретениями. Мисс Креггс помчалась открывать отделение своего общества. Напрасно Стольниковы говорили ей, что государство Российское так поставлено, что в нем пролетариата нет, что все имеют носовые платки, мисс Креггс заявила, что их общество «Амиуазпролчилпок» имеет десять тысяч филиальных отделений и потому оно должно развить свою деятельность в России, стране, которая, в силу своего образа правления, должна быть отсталой. Дятлов устроился при школе изучать школьное дело и тайно надеялся пропагандировать учителя, для чего в ранце своем имел маленький подбор социалистических брошюр. Курцов нанялся ехать с обозом в Псков. Бакланов остался у Шагина. Он не на шутку задумал жениться на Грунюшке. Он склонил на свою сторону местного священника и всю семью Стольниковых.

Оказалось, что в Российской империи сделать это не так просто. Свободная во всем, девушка была связана целым рядом обычаев и без разрешения отца и матери не могла распорядиться своей судьбой.

Бакланова посветили в тайны этих старых обычаев, ему пришлось засылать сватов к Федору Семеновичу и Елене Кондратьевне, и хоть знал он, что сказала ему Грунюшка заветное «да» и все устроила, а все волновался, когда поехали Стольников, батюшка и Дятлов просить руки Аграфены Федоровны.

— Ну что? — спросил он, когда те вернулись.

— Обождать приказали, — сказал Стольников.

— Ах, Боже ты мой! Да как же это так... — заволновался Бакланов.

— Обычай такой, Григорий Николаевич, — успокаивал его Стольников. — Нельзя же так, сразу. Не коня покупаешь, а счастье семейное строишь. И терпеть недолго. Послезавтрева и ответ.

Ответ был благоприятный. Но со свадебными приготовлениями завозились так, что и осень прошла, надвигалась зима, а свадьбы все не было.

Корнев поправился и вместе с переехавшим со дня сватовства к Стольниковым Баклановым собирался ехать к Шагиным справлять рукобитье.

Бакланов все эти дни находился в торжественном, повышенном настроении. Он чувствовал, что создались у него особые сердечные отношения к семье Стольниковых, она стала ему родной. Страстное

влечение к Грунюшке крепло и спаивалось родственными связями, в них утопала Грунюшка, но становилась от этого еще дороже. Так прекрасная жемчужина становится еще прекраснее, когда попадает в драгоценную оправу.

По настоянию Стольников Бакланов обрядился в русский костюм. Он сшил себе черный архалук с открытой грудью, шаровары темно-синего сукна и высокие сапоги. Дочери Стольников подарили ему расшитые по вороту и рукавам шелковые рубахи, и эта русская одежда ему была к лицу. Он учился говорить по-русски и избегать иностранных слов, он учился русским обычаям и русским песням. Все это ему нравилось. Он чувствовал свое сердце моложе и чище и самую любовь свою чувствовал выше, лучше и красивее. Оделся по-русски и Корнев. Один Дятлов протестовал и продолжал носить свою потрепанную берлинскую тройку.

— Религия — опиум для народа, — говорил он. — А эти обычаи — это какой-то кокаин, с ума сводящий и анестезирующий.

— Но, милый Дятлов, — говорил размягченный Бакланов, — разве там у них, в демократической республике, люди, чтобы жить, не отравляют себя опиумом и кокаином, не ходят по нахт-локалям, не ищут забвение в изломах страсти и вине... Куда же этот наркоз — если это наркоз только здоровье. От него такое сладостное и приятное пробуждение.

Не каждый день он видел Грунюшку. Каждый раз показывалась она ему в новом виде, и он удивлялся ее многогранности. Так бриллиант сверкает днем по-иному, чем при искусственном свете.

Грунюшка-мужичка, Грунюшка — богиня земли, Геба, тонушая босыми загорелыми ножками в навозной жиже, окруженная алыми орловскими, палевыми кохинхинами, светлыми брамами, черными лонгшанами, крапчатыми плимутроками, старыми тульскими и белыми холмогорскими гусьями, знающая всем ласковые имена и окруженная шумным обожанием животного царства, — сменялась Грунюшкой, серьезно говорящей о литературе, показывающей всю мудрость русского женского ума... И вечером, на праздниках-посиделках, являлась Грунюшка — девушка, знающая обряды и обычаи, Грунюшка — светская барышня, умеющая танцевать и ловко, и умно ответить на шутку. Он видел Грунюшку в рубашке с небрежно подкрученными волосами и видел ее в парче и атласе, в пестрых монисто и с длинной косой, перевитой цветными лентами. И не знал, которая лучше. Он видел, как умеет она ответить на грубые шутки Курцова и как с достоинством говорит со Стольниковым.

«Да, — думал он, — это жена! Она нигде не уронит себя, она нигде не подорвет уважение к имени Бакланова».

На рукобיתье Бакланов и Коренев поехали со Стольниковыми. Барышни Стольниковы ехали туда с восторгом, и Дятлов с удивлением отметил, что между Стольниковым и Шагиными не было никакой классовой розни. Они мечтали вслух об угощении, которое будет у Шагиных, о песнях и танцах, о прекрасном высоком голосе Васи Белкина и о новых романсах и старых песнях, которые там будут петь.

С утра шел снег, и к вечеру, хотя дорога была еще не укатана, приказали запрягать сани. Сани были громадные, белые, с подхватами, покрытые пестрыми коврами, с низкими сиденьями, с мягкими, малинового бархата, подушками и с большой медвежьей полостью, застегивавшейся на две стороны. На заднее сиденье сели вчетвером:

Стольникова, ее дочери, Лидочка и Катя, и Эльза, против них — Стольников, Бакланов, Коренев и Дятлов.

— Трогай! — крикнул Стольников хриплым голосом.

Полозья закричали по песку, зашуршали по снегу, а когда вынеслись на шоссе, сани стали скользить и стучать по гололедке и раскатываться по сторонам. Эльза от испуга визжала. Дятлова, никогда не ездившего в санях, укачивало. Ему казалось, что он стоит на месте, а из-под ног его уносится назад белый путь с рыхлыми, глубокими, рассыпчатыми колеями. Этот путь качается со стороны в сторону, в тумане ночи мечутся обледенелые березы по сторонам дороги, и плывут за ними белью поля, сливающиеся с белесым небом. Он был рад, когда показались по сторонам темные избы и сад, ограда церкви, сани пошли ровнее и, наконец, остановились у калитки, возле ярко освещенного дома.

XXXIII

Снег блестящими белыми полосами лежал на перилах балкона, на сучьях деревьев. Он искрился и сверкал под лучами большого электрического фонаря.

— Нигде я не видал такого чистого снега, как в России, — сказал Бакланов.

— А пахнет как! — восторженно воскликнула Лидочка. — Вы чувствуете: это только первый русский снег так пахнет и пьянит.

Проход к дверям в сени был уже открыт, и по сторонам снег лежал невысокими сугробами. В ярко освещенных сенях густо висели девицы шубки, платки и шарфы, мужские шубы и кафтаны. Гул голосов

слышался из рабочей комнаты. Все гости были в сборе. Хозяин с Еленой Кондратьевной ожидали гостей у порога.

Вошли в горницу, перекрестились на иконы. Горница была залита светом от большой электрической люстры, выпуклым опаловым фонарем вделанной в потолок. Под ней стоял большой стол. На одном краю его был красной меди объемистый самовар, окруженный стаканами и чашками, а по всей длине стояли блюда со сладостями. Тут были пряники мятные, белые и розовые, круглые мелкие и большие фигурные, в виде рыб, коньков, свиней, петухов; пряники черные — медовые, политые белой и розовой глазурью; пряники — «мыльные», из миндаля, и действительно гладкие, как мыло, и вяземские печатные пряники с именами и словами: «Люби», «Люблю», «Не тронь», «Прости», и большие тульские, розовым и белым сахаром залитые и полные ароматной начинки изюма и корок дынных и апельсиновых, и плоские, овальные, копеечные и маленькие круглые, шоколадные. Тут лежали темно-серые маковники с волошскими орехами, грецкие орехи в сахаре и в белой начинке, и кедровые орешки, и круглые фундуки в патоке. Стояла пастила десяти сортов: ржевская светло-коричневая, вязкая, с белой коркой, плоская; «союзная» — полосатая белая с розовым и коричневым, полупрозрачная клюквенная и такая же абрикосовая и яблочная, горькая рябиновая, палочками, красная клюквенная и белая яблочная, квадратиками, душистая земляничная, черная липкая, червячками, сливовая и вишневая. Был мармелад фруктовый, душистый, в виде маленьких груш, яблок и винограда сделанный, был мармелад в виде желе, ароматный, прозрачный. Стояли варенья многих сортов: жидкие, сахарные и сухие киевские, был и мед отбитый липовый, были леденцы в бумажках цветных, золотой лентой обвитых... Много чего было на столе, от чего глаза разбежались у Бакланова и Коренева. «Все свое — не покупное, — вспомнили они слова Шагина на обеде по случаю их приезда. — Все русское, из русского матерьяла сделанное, русским умом придуманное», — думали они и вспоминали вечера у Двороконской на Курфюрстен-дамм, и сахар по карточкам, и серые кислые демократические шриппы.

Кругом стола столпились гости. Все больше девицы. Красные щеки, русые и черные косы, глаза, опущенные длинными ресницами, пунцовые губы, ровные белые зубы, сарафаны розовые, голубые, белые, расшитые рубашки, загорелые шеи и плечи, унизанные бусами и монистом, — все это мелькнуло перед глазами Бакланова, и он не сразу разглядел свою Грунюшку. Она стояла на самом почетном месте, под образами, в белом атласном сарафане с жемчужными

пуговками, в белой, шитой гладью белым же шелком, рубахе, с алыми лентами в темной косе, румяная, крепкая, здоровая, еще более прекрасная в белом уборе.

«Зима, олицетворение русской зимы, с румяным солнцем над белой равниной и алыми зорями», — подумал Бакланов.

Учитель Алексей Алексеевич Прохватилов, Курцов, вернувшийся из обоза с чугунным от мороза лицом, румяный черноусый хорунжий Антонов в белом кафтане поверх голубой рубахи и в круглых серебряных, котлетками, эполетах, массивный, с медно-красным лицом и сивыми усами староста порубежной сотни Щупак, в таком же кафтане, как у Антонова, но с голубыми погонами вместо эполет, несколько парней в черных казакинах и пестрых рубахах, Сеня, весь в голубом, с русыми волосами, застенчиво красневший подле сестры, батюшка в лиловой рясе и матушка в серебристо-сером глухом сарафане наполняли комнату.

— Здравствуйте, родные мои, — сказал, кланяясь, Стольников.

— Желаем много лет здравствовать, Павел Владимирович, — отозвались гости.

Вошедшие сели на лавку правее образов, девицы стеснились в углу комнаты. Шагины выдвинулись вперед, и Бакланов, напутствуемый священником, вышел к ним и в затихшей горнице до самых ног поклонился Федору Семеновичу и Елене Кондратьевне. Как только он отошел, поцеловавшись с будущими тестем и тещей, девушки запели звонкими крикливыми голосами свадебную песню:

По рукам ударили,
Заряд положили,
Грунюшку пропили,
Пропили и хвалятся:
Что ж мы за пьяницы,
Что ж мы за пропойцы...

С угла комнаты, где сидела Грунюшка, три женских голоса чисто, красиво и верно, печально и просительно ответили:

Родимый мой батенька,
Нельзя ли передумати?
Нельзя ли отказать?

И бойко, задорно и насмешливо ответил хор девушек:

Нельзя, мое дитятко,
Нельзя передумати,
Нельзя отказать:
По рукам ударили,
Заряд положили...

Стольников подошел к Бакланову и вывел его на середину комнаты. Шагин подошел к Грунюшке и повел ее за собой. Она шла тихими шагами, опустив глаза в землю. Мелькали из-под длинного платья маленькие белые башмачки. Ее мать шла за ней. Ее поставили по левую сторону жениха. Она стояла, порывисто дыша.

— Поцелуйте вашу невесту, — шепнул Бакланову Стольников.

Бакланов осторожно прикоснулся губами к горячей, огнем пышащей щеке Грунюшки. Шагины соединили руки их, и маленькая крепкая ручка Грунюшки затрепетала в руке Бакланова.

— Сын, — сказал торжественно Стольников, — вот тебе невеста. Да благословит Господь Бог союз ваш.

Сейчас же хор девушек, наполняя всю комнату звонкими голосами, грянул:

По рукам ударили,
Заряд положили...

В руки Бакланова и Грунюшки подали подносы с налитыми бокалами пенного вина, и они пошли обносить им гостей. Когда Грунюшка подала последний бокал, она бросила на стол поднос и побежала к девушкам.

— Догоняйте ее, Григорий Миколаевич, а то беда будет! — зашептал ему на ухо хорунжий, и Бакланов, увлеченный игрой, бросился за Грунюшкой.

Но Грунюшка, ловкая, проворная, белым сарафаном мелькнула между гостей и уселась, смеющаяся, веселая, среди девушек рядом со смешливой и бойкой Машей Зверковой.

— Торг! Торг! — раздались крики. Бакланов стоял, растерявшись, посреди комнаты. Вид у него был смешной. Он не знал, что ему надо делать.

— Идите, идите... — говорил, подталкивая жениха, хорунжий, принимавший участие в игре. — Идемте вместе выкупать.

Они подошли к девушкам. На трех лавках, поставленных одна за другой, сидел целый цветник котловских девиц. Ярko блестели белые

зубы из улыбающихся алых губ, задорно смотрели черные, карие, голубые и серые глаза.

— Мы купцы, — начал, разводя руками перед ними, хорунжий, и, нагибаясь тонким, как у барышни, станом, — ищем куньего меха на шапки. Не найдется ли у вас кунички?

— У нас одна есть, да не про вашу честь! — сказала белобрысая круглолицая девица-перестарок, серьезно глядя на Бакланова.

— Она у нас золотая, недешево вам достанется, — сказала хорошенькая девочка лет пятнадцати, загораживая руками Грунюшку и обнимая ее за ноги.

Хорунжий сунул в руку Бакланову золотую монету.

— Ну, — сказал он, — на ваш товар купец и золотой казны не жалеет; берите, Григорий Миколаевич, куничку, мы с нее славную шапку разделаем.

Бакланов подал белобрысой девице золотой, но девочка выхватила его из рук ее и отдала хорунжему.

— Золото золотом не купите, — сказала она. — Такой товар деньгами не получите. Угадайте несколько загадок, будет куничка ваша.

Девицы смеялись, а Бакланов, воспитанный в атеистическом государстве, не раз выступавший на митингах союза художников по политическим вопросам, был смущен перед этой группой девушек, жадно глядевших на него.

— Отгадайте одну из трех, куничка ваша, — сказала девушка с соболиными бровями и круглым курносом лицом.

— Где вода дорога? — быстро спросила девочка, прижимаясь лицом к ногам Грунюшки и снизу вверх глядя смеющимися глазами на Бакланова.

— Господи, твоя воля! — сказал, разводя руками Бакланов, — ну там, где ее нет, в пустыне, что ли? В степи безводной?

— Не угадали-с, — сказала девочка, — вода да рога там, где быки воду пьют... Как же нам быть с вами, барин?

— Что мягче пуха? — сказала из угла блондинка с бледным веснушчатым лицом. Маня Белкина, сестра певца и лучшая певица деревенского хора.

— Мягче пуха?... Пуха мягче?... Г-м... Ну, мох, что ли? — отвечал растерянно Бакланов.

— Ну и недалеко, Грунюшка, женишок твой, — смеясь, сказала белобрысая девушка. — Рука, боярин, мягче пуха. На пуху человек спит, а все руку под голову под-кладает.

— Плохо, бояре, плохо, — сказала девочка, ласкаясь к Грунюш-

ке. — Третью не отгадаете, и не выдадим вам куничку золотую. — Скажите нам, что слаще меду?..

— Поцелуй! — быстро ответил Бакланов. Взрыв дружного хохота приветствовал его ответ.

— Вот и не угадали! — кричала, заливаясь смехом, девочка. — И не угадали! Сон слаще меду. Сон, сон!..

— Для него, боярышни, поцелуй девушки слаще самого сладкого сна, — сказал Антонов.

— Ах, какой! А ну, нехай перецелует нас всех, — сказала белобрысая.

— А мне помогать позволите? — сказал хорунжий, охватывая девочку за плечи и поднимая ее к себе.

— Ах, девушки! Что же это такое! Какой нахал! — с визгом закричала девушка.

— Ах, Варвара Павловна! Ничего подобного! Это обычай такой!

— Обычай целоваться, а рукам воли не давать. Раздались визги, смех, и девушки, точно пестрая стайка птичек, разбежались, роняя табуреты и скамейки. Кто-то толкнул Грунюшку в объятия Бакланову, и он наспех чмокнул ее в косу. Она сердито-шутливо вырвалась из его рук. Игра в торг кончилась. Хозяева просили за стол.

XXXIV

Коренев вышел на крыльцо. Было душно в комнате, где пили третий самовар. Не прикрытые занавесами окна бросали красные прямоугольники на снег двора и сада. Над головой, в бездонной синей глубине, мигали кроткие звезды. Коренев отыскал Полярную звезду. «Звезда северная, — подумал он. — Так вот кто был тот призрак, который настойчиво звал меня на восток, на родину. Звездочкой явилась, звездочкой упала и сейчас висит русской северной звездой.

Так вот что нашел я на родине! Сытость, счастье, радость и довольство, серебряный смех и невинные шутки, как было всегда на Руси, пока не знала она «свобод», революции и III Интернационала...»

Он дома... Дома ли?

Коренев задумался. Вспомнил уроки истории, тайком читанные книги Ключевского, Соловьева, записки лекций профессора Шмурло. Россия шла до императора Петра своим путем. Отклонял царь Михаил Федорович лестные предложения Джона Мерика, и провидели русские торговые люди один убыток от его происков получить пути Волгой на Персию и рекой Обью и Иртышом на Индию и Китай. Своим

умишком жила Русь и берегла свое для детей своих. Боялись цари московские далеко вперед ушедшего Запада и медленно, но верно уходили от недвижимого покоя Востока.

Петр Великий слишком круто повернул российский корабль на Запад. Насильно, не дожидаясь, когда это придет само собой, одел он людей в немецкое платье, брил бороды и вводил немецкие обычаи в русский обиход жизни, веками установившийся.

Заходили в grosфатере* тучные бояре по ассамблеям, закрутились в немецком вальсе рыхлые московские боярышни, и понеслась матушка-Русь в Европу.

Русские оказались сильнее, могучее, талантливее народов Европы. Они стали побеждать и покорять. Народы Европы сначала недружно, поодиночке, стали стараться загнать смелый народ опять в московское подполье. Русь вышла на эту борьбу не готовая. Туманила русским барам головы Европа, кружили мозги немецкие философы, разбивали сердца молодым боярам польки, венгерки и француженки... Народ ждал от своих бар науки, а наука приходила гнилая, непригодная для русских мозгов: народ оставался московским, русским, и вожди его теряли родину, искали новых путей, путались в философии и политике, и бездна разверзалась между народом и его учителями. Город ушел от деревни. Деревня осталась все такая же дикая, какой она была до Петра, — город опередил Европу.

И когда ударила мировая война, когда потребовалось тесное содружество города с деревней, когда народ увидел своих вождей во всем европейском разврате их, — он ужаснулся. Все полетело прахом. Дикий зверь проснулся в народе и с воплем: «Га, мало кровушки нашей попили!..» — народ упился кровью своих вождей и залег на пожарище, охватившем всю Русь, одинокий и погибающий, как стадо без пастыря.

Эти новые вожди подошли к отправной точке — к допетровскому времени, вошли в деревню и, ничего не ломая, стали строить новую Русь по русскому обычаю, для которого немецкий порядок непригоден... И как будто хорошо вышло.

За окном притихли. Коренев заглянул в него. Гости повернулись к углу. Там стоял хорунжий Антонов. Рядом с ним сидел Вася Белкин и настраивал гитару. И вдруг Антонов красивым баритоном, или, как говорили, «средним голосом», потряс воздух так, что стекла задрожали и Кореневу было слышно каждое слово старой песни.

Антонов драматично пел:

Погиб аул!..
И с ним три бр-р-рата
Погибли, дева и друзья,
И шашка дивного булата,
Не расставался с нею я!

Хорунжий горделиво опирался на шашку и крепко сжимал ее темными, загорелыми пальцами. Старая песня, времен покорения Кавказа, будила чувства любви к родине и жажды мести. И когда смолкло последнее созвучие, гости затихли, и молчали девушки, глядя блестящими глазами на молодца-хорунжего.

Коренев слышал от Стольникова рассказы про то, как перед революцией, в начале двадцатого века, на смену героическим смелым песням русского народа пришли романсы «со слезой», как пирушку у костра на военном биваке в кругу удалых солдат сменил душный аромат отдельного кабинета, и неслась рвущая сердце тоскливая песня цыганки. С большими песенками Вертинского, с полными недоговоренности поэмами Блока и стихами Бальмонта пришли безграмотные пошлости Игоря Северянина, Маяковского и Мариенгофа, пропитанные издевкой над религией и родиной, стала Русь, «кокаином распята на мокрых бульварах Москвы», и полетела в тартарары большевизма. Поклонился хаму великий русский народ.

Из окна на крыльцо несли полный грудной женский голос. Высокая, некрасивая, с угловатыми чертами лица и узкими, темными, косыми глазами, в темном сарафане стояла на месте хорунжего Маня Шибаева и пела:

По старой Калужской дороге,
На сорок девятой версте,
Стоишь при долине широкой,
Разбитая громом сосна...

Новые государи российские сорок лет неуклонно возвращали Русь в ее старое русло. Старый Стольников при своих наездах к сыну часами сидел у больного Коренева и рассказывал ему, как вели русских к русскому новые цари. Он рассказывал, как особые комиссии разыскивали старину русскую по оставшимся архивам, как художники составляли рисунки костюмов, принаравливая их к теперешней технике, как продумывали русские слова на смену иностранным и как

* Так у П. Н. Краснова (примеч. ред.).

старались всех людей поставить на деятельную работу над землей. Россия для русских, Россия русская, старая, такая, какая она была, — вот чего требовали цари.

Коренев не смеялся над тем, что он видел. Свадебные обряды, песни, торг невесты, невинные шутки поразили его не пустотой своей, но глубоким значением — стремлением наполнить жизнь пустячками и придать пустякам значение. «А жизнь, — думал Коренев, — не пустяк?» Но «жизнь-пустяк» без ее пустяков становится пустой и нестерпимой, доводит до самоубийства. «Они, — думал Коренев про новых русских, — наполнили жизнь непрестанными мелкими заботами и создали красоту. Этим девушкам не придет в мысль искать выхода из жизни, нюхать эфир и кокаин и умирать на мокрых бульварах Москвы». Коренев видел, как щелкали здоровые зубы, разгрызая орехи. Вот пятнадцатилетняя девочка тихонько, не отрывая глаз от певичы, подвинула печатный пряник хорунжему, а тот отыскал ответ в куче пряников и двинул ей, и она смешливо пожала плечами и показала глазами на певичу. Это шел флирт, но флирт здоровый, и на страже девушки стояли все эти строгие обычаи и обряды брака...

Песни кончились, гости загремели скамьями и через сени повалили в большую горницу, из которой были вынесены столы, и только скамьи оставались вдоль стен. Коренев вмешался в толпу и вошел с ней в горницу. Девушки выбегали в сад и на двор, жадно вдыхали морозную свежесть ночи, звонко смеялись и опять бежали в комнату, освеженные, с пылающими щеками. Дятлов нервно курил на крыльце папиросу за папиросой.

В сенях усаживались молодые парни и мальчишки с балалайками. В горнице по лавкам сидели девушки и парни, девушки по одну сторону, парни по другую, и перекидывались шутливыми замечаниями.

Светит месяц,
Светят звезды,
Светит ясная заря...

Грянули плясовую балалаечники, и казалось, сами ноги заходили под лавками. Отчетливее, тверже отбивая такт, пристукивая костяшками пальцев по декам, рассыпаясь звонкими трелями, играли балалаечники, а середина горницы была пуста. Кое-кто подпевал игре вполголоса, обрывая и не договаривая слов, и все поглядывали на Грунюшку. Грунюшка, смущенно улыбаясь, то перекладывала свою косу через плечо, то небрежно бросала ее за спину. Снова медленно

и тихо, чуть перебирая струнами, начали песню балалаечники, и Грунюшка, точно подхваченная какой-то силой, с которой не могла больше бороться, встала и вышла на середину комнаты. Она только прошлась по ней маленькими шагами, чуть поводя плечами и улыбаясь одними темными блестящими глазами. Но было в ее походке что-то легкое, воздушное, нечеловеческое, проплыла она, как дух, и вдруг пристукнула каблучком, повернулась и пошла выступать, перебирая ножками и отстукивая такт, нагнулась, поклонилась и стала, гордо обводя круг зрителей глазами и поводя плечиками. Грудь вздымалась высоко, и трепетали на ней пестрые бусы ожерелий. И сейчас же, как бы отвечая на ее призыв, вскочил хорунжий и, подбоченясь одной рукой и закинув другую вверх над головой, потряхивая кудрями, пошел, часто стуча каблучками и звеня шпорами. На его стук шпор ускорили темп балалаечники, и хорунжий понесся, крутясь и пускаясь вприсядку, и выкидывая колена ногами, а кругом него плавно и важно ходила, помахивая платочком, Грунюшка. Из круга примкнула к танцующим еще и еще одна девушка, вылетели кавалеры и, вдруг, улыбаясь красным лицом, вышел староста Щупак и пошел разделявать казачка.

— А помните, — говорил старик Шагин сидевшему рядом с ним старому мужику, матросу кровавой «Авроры», — в дни Интернационала мы больше «ки-ка-пу» и «дри-тя-тя» танцевали.

— Поганные танцы, прости Господи, — сказал отставной матрос. — А то еще этот фокстрот наши девицы любили...

— Да... наваждение было... экую красоту забыли.

Дятлов смотрел красными воспаленными глазами на танцующих, и странные чувства боролись в нем... Он не мог отрицать того, что танец был красив, жизнен и говорил совсем другое, чем меланхолично-развратные уан-степ, фокстрот и чарлстоун, которые отплясывал он в ди-лэ с толстыми накрашенными девицами с обесцвеченными водородом волосами, пахнущими потом, рисовой пудрой и скверными духами. Но был ли это демократический танец, он не мог решить. А если на нем тоже штамп «его императорского величества»?

Танцы сменялись песнями, песни танцами, и так незаметно прошло время до утра. Когда ехали домой, голубели снегом покрытые поля, длинные узорные тени тянулись от берез, и желтое солнце лукаво поднималось из-за снегом покрытых холмов. Мороз окреп, деревья и кусты стояли в серебре инея и были дивно-прекрасные, точно изваянные из серебра, хрупкие и нежные.

Зябко пожимался Дятлов в санях в своем смешном, цвета пыли, пальто с кушачком, едва доходившем до колен.

На другой день вечером Дятлов сидел в комнате у учителя Прохвятилова. Учитель занимался своей любимой работой — мозаикой по дереву. Он клеил ларец для подарка Грунюшке на свадьбу. По верхней крышке он выкладывал из цветных дерев ветку, усеянную спелыми сливами. Стол перед ним был завален маленькими кусочками дерева, и учитель щипчиками подбирал их на большой, темного ореха, доске.

Дятлов долго мрачно глядел на работу учителя, наконец сказал:

— Можно курить?

Учитель покосился на образа, вздохнул и ответил:

— Курите уж... Бог простит.

— Скажите, Алексей Алексеевич, — заговорил между затылками дыма Дятлов, — что эта за комедия ломают все эти дни Шагины с Баклановым? Стольников, видимо, человек большого образования, и Шагин неглупый мужик, а разводят китайские церемонии и ходят друг подле друга, как котенок подле большого жука.

— Сватовство, рукобитие, «подушки», — сказал учитель, доставая синего цвета щепочку и показывая ее Дятлову. — Не правда ли, похожа на цвет сливы там, где налет обтерся. Я это синее дерево из Санкт-Петербурга выписал, только там, у братьев Леонтьевых в Гостином дворе, и есть.

— Подушки, — повторил Дятлов, — какая ерунда. Комедия.

— Вы на свадьбу званы? — спросил учитель.

— Шафером просил Бакланов или, как они говорят, «дружком», — сказал Дятлов. — Меня, Коренева и Курцова.

— А я со стороны Аграфены Феодоровны буду, я, хорунжий Антонов местной порубежной стражи и староста сотни Щупак. Со всем затмят меня своими праздничными зипунами.

— Глупо это все, — сказал Дятлов, нервно бросая папиросу на чистый деревянный подоконник. — У вас и пепельницы нет.

— Никто не курит. Я вам выточу как-нибудь лоха-ночку. Не говорите: глупо. Вы заметили, что у нас нет благотворительных учреждений. Ваша американка напрасно поскакала в Санкт-Петербург. Ей там нечего делать. Строй нашего государства таков, что мы не нуждаемся в общественной помощи со стороны.

— Ну уж и государство, — проворчал Дятлов. — Какой же это строй, когда у вас нет партийной жизни?

— России пришлось слишком много перестрадать от партийной борьбы. Опыт социализма ей обошелся более ста миллионов человеческих жизней.

— Потому что Европа не поддержала. Не может существовать коммунистическое государство рядом с государством капиталистическим. А у вас, в России, что? Мещанство!

— У нас — семья, — отодвигая работу и издали, прищуривая глаза, разглядывая пестрые кусочки дерева, сказал учитель. — Вся жизнь у нас зиждется на семье. Вот почему в Бозе почивший император так настойчиво вводил в воспитание все старорусские допетровские обычаи: смотрины, и сватовство, и сговор, и девишник, и подушки. Государь император Всеволод Михайлович и императрица Елена Иоанновна личным примером святой жизни и настойчивым проведением через православную церковь подняли значение брака как великого Таинства Церкви и оздоровили душевно и телесно народ.

— Разврат, — сказал, снова закуривая. Дятлов.

— Нет, — настойчиво сказал учитель, — семья. Позвольте я вам нарисую, что вытекает из того, что у нас впереди всего семья. Родился ребенок — у него есть отец и мать. А раньше сплошь да рядом у него была только мать. Если Бог сохранил родителей — есть дед и бабка, есть посаженные отец и мать, есть дружки, которые тоже входят в семью. Есть крестный отец и крестная мать, есть кум и кума, есть священник, который крестил. Я не беру боковых линий, дядей и теток, двоюродных дядей, тещи и тещи и их родных, — образуется то, что у нас называется родней. Случись с кем-нибудь несчастье, болезнь, пожарное разорение, — не приходится метаться по больницам, искать благотворительности: всегда поможет родня. В родне самой скромной семьи — сотни членов. Благодаря прекрасной и очень дешевой почте и обычаю поздравлять друг друга со всеми семейными празднествами — днем рождения, именинами, днем свадьбы, с большими праздниками, с Новым годом — связь между родными не остывает. В каждом городе найдется кто-нибудь свой, который и выручит в беде.

— Китай какой-то, — сказал Дятлов. — Затхлю мышьиной, амбарными мусорами, детскими пеленками непрветренных спален, няинскими сказками, изукрашенными царь-девицами да коврами-самолетами, вздором эгоистическим, сытым желудком и ожиревшим, бесчувственным сердцем несет от такой родни. Поди, и письма вы пишете, полные поклонов и приветов, боясь пропустить какого-либо дядю богатого или тетку знатную.

— Нет, — серьезно сказал учитель, — скорее масонством от этого веет. Но у масонов тайное подчинение кому-то неведомому и исполнение его планов, направленных на разрушение, у нас общест-

во, основанное на семейном начале, имеет главой государя всем известного. Богом благословенного человека, жизнь которого чиста, как хрусталь, и все помыслы его одно — благоденствие его народа и величие России!

Дятлов пожал плечами.

— А как же, — сказал он, — тем, у кого ни рода, ни племени? Как же, например, быть таким пришлецам, как я, как Бакланов или, скажем, Коренев?

— Мне кажется, вам не приходится жаловаться на наши русские обычаи, — сказал, краснея, учитель. — Коренева как родного приняли Стольниковы. Павел Владимирович и Нина Николаевна ему и Эльзе Беттхер стали как отец и мать. Бакланов на днях законным зятем войдет в семью Шагина... Вы... вы странный человек, господин Дятлов, без крещеного имени, сухой и надменный... Я предлагал вам дружбу, я устроил вас, но вы от меня отходите. .. Вы не любите людей, Демократ Александрович.

— Напротив. Но я люблю не «своих», а весь мир... Я люблю все человечество... А вы... вы... только семью, только родню. Тягостным путем прогресса, изучением государственного быта, стремлением создать истинное братство людей мы, социалисты, познали, что то, что предлагаете вы, есть рабство. Мы жаждем свободы.

— Но опыт был...

— Опыт... Его не дали довести до конца. Надо весь мир, понимаете, весь мир довести до сознания свободы... Невинная девушка!.. Святость брака... Исповедь... Причащение... Крещение водой... Волосики в воск!.. Ха... ха... ха... Простите меня, Алексей Алексеевич, но это бред, над которыми в Европе и Америке дети смеяться будут. Это попы и пасторы придумали. Это царская власть сочинила, чтобы эксплуатировать народ.

— Вы ничего не знаете и ничему не научились, — сухо сказал учитель.

— Все слова на «ны» требуют выпивки, например: «крестины», «родины», «именины», за исключением слова «штаны», которое требует починки... Вижу, Алексей Алексеевич, борется в вас христианское чувство прощения с отвращением ко мне. Вытолкали бы меня, да вот кротость братская не позволяет. Люби ненавидящих тебя — так, что ли? Обставить жизнь свою обрядами и суевериями, спрятаться от суровой социальной борьбы за праздниками и пошлыми полужызыческими, полухристианскими играми, искать успокоение духа в охоте, может быть, и войну кому-либо объявить во имя распространения веры Христовой. Эх, вы! Опустились в средневековье.

Бесов изгоняете, в уголек веруете, святой пятница кланяетесь. Вон, я заметил: обуваетесь вы, так все с правой ноги начинаете, а с левой боитесь... Душно мне... душно у вас в раздолье степей, в чудном воздухе полей, в медвяном аромате лесов. Душно! Черт меня подери, поеду в город. Посмотрю, что там, а у вас — обывательщина, мещанство... Смотрины, сватовство, рукобитье, подушки... Тьфу, пропасть! Отбуду канитель эту свадебную, посмотрю, что делается в городах...

— Там то же самое, — тихо сказал учитель.

— Ну, тогда... тогда... буду бороться. В борьбе обретать право свое...

— Какое право? Какая борьба? — сказала учитель. — Сумасшедший вы человек. Мир, счастье и радость кругом.

— Пошлость, мещанство, обывательщина. Мой долг перед партией — пробить эту затхлую кору! — вставая, сказал Дятлов.

— Куда вы? Скоро чай пить будем. Анна Григорьевна придет. Поболтаем.

— Увольте. Об ученических тетрадках? О том, что буква «ѣ» не дается Вере Сониной... Это тогда, когда мы давно повалили вашу проклятую «ѣ», на церковку старую, на погосте поставленную, похожую... Пойду проветрюсь немного. И никого, никого в этом проклятом царстве с духом протеста. Все сыты, все довольны, все благополучны!.. О, черт!..

Дятлов схватил свой суконный белый высокий колпак, надвинул его на уши и, на ходу застегивая и кушачком затягивая пальто, выбежал из комнаты.

XXXVI

Накануне свадьбы, вечером, перед заходом солнца Грунюшка одна пошла за село на кладбище. Было теплее, иней пропал, и, точно тонкие нити, свешивались темные ветви плакучих берез. За каменной оградой стояли ряды крестов. Одни были старые, покосившиеся, другие были новые, каменные. Во многих были вделаны иконы и горели в цветных фонариках лампы. Грунюшка шла на могилу своей бабки. Это была единственная могила, которую она знала на кладбище. Бабушку она хорошо помнила. Старуха всегда ходила в черном, молилась целыми днями и ночами, стоя под образами. Она часто говорила Грунюшке: «Молись за меня, родная внучка! Вымоли

мне прощение, сними с меня страшную кровь...» Незадолго до смерти бабушка передала в церковь дорогие бриллиантовые вещи, «господские» вещи... «Ох, — говорила она в ту же ночь Грунюшке. — Молись, Груня, за бабу. Хорошо ли сделала, что в церковь отдала? Кровь... Кровь на них...» Груня не знала, чья, какая была кровь на них. Когда была в школе и проходила «историю большевицкого и социалистического бунта в России в 1917 году», узнала, что не было в те времена человека в России, руки которого не были бы обгажены кровью. Но чья кровь мучила бабушку, этого Груня так и не узнала.

В теплой шубке на сером заячем меху стояла Груня на коленях у могилы, прижималась лбом к холодному гладкому камню креста и молилась за бабу. И о себе молилась она. Вот так же, как баба, ляжет и она однажды в холодную землю и будет лежать в ней тихо и неподвижно.

Когда? Когда совершит путь свой, когда призовет ее Господь Бог... Она молилась о себе, о женихе, спрашивала бабу, хорошо ли сделала она, что так вдруг полюбила пришлого из Неметчины русского человека. Просила Бога дать ему счастье, просила Бога научить ее, как дать ему счастье. Хмельные поцелуи вчерашнего дня лезли в голову, кровь прилиwała к лицу, и Грунюшка крепче прижималась к холодному камню креста на могиле своей бабушки.

В доме Стольниковых в это время, со смехом и шутками, в большой кухонной печи пекли каравай — с ванилью, с изюмом, с коришкой, с дынной коркой, с орехами. Кухарка Агафья Тихоновна и обе барышни хлопотали с ним. Коренев, Алексей Алексеевич, батюшка, сам Стольников с Ниной Николаевной зажгли восковые венчальные свечи и держались за лопату, на которой устанавливали форму с каравайным тестом. Красные отблески бросала печь на лица Стольниковых и их гостей. За окном надвигался зимний закат.

— Готово, Агафья Тихоновна?

— Подавайте, батюшка барин, все готово.

— Запевайте, девушки, каравайную, — смеясь, сказал Стольников и мягким баритоном завел:

Каравай-мой-раю!

Барышни, Агафья Тихоновна, Нина Николаевна звонко подхватили:

Сажая, играю,
Сыром посыпаю,
Маслом поливаю...

Стольников звонко, раскатисто смеялся.

— Что, нравится, Петр Константинович? — обратился он к Кореневу, и, не ожидая ответа, продолжал:

Каравайное тесто
Побегло к месту,
По мед, по горелку,
По красную девку...

Когда каравай был готов, его торжественно уложили на поднос, укутанный полотенцем, и все пешком пошли к дому Шагина. Бакланову весело было идти сумерками вниз, под горку, за людьми, несшими каравай. Морозный воздух бодрил, мысль, что он опять увидит невесту, радовала его. Он не чуял ног под собой.

Грунюшка сидела в это время в большой горнице. После посещения кладбища ей было грустно. Не шла из головы старая бабка, мучимая чьей-то кровью. На голову Грунюшки надели красивую высокую шапку, отчего лицо ее стало старше, строже и значительнее. В ее косу подруги вплели золотой косник. По горнице порхала и прерывалась, как плач над умершей, грустная песня. Пела Маша Зверков а:

Кукуй, кукушка, не умолкай,
Недолго тебе куковать...

Девушки, их было пятнадцать, пристраивались сдержанными головами:

От велика дня до Петра
Плачь, Грунюшка, не умолкай,
Недолго тебе девовать:
А с вечера до утра,
А с утра до обеда,
А с обеда часину —
Там тебе косушку расплетут,
Шелковый колпачок наденут...

Грунюшке становилось грустно... Завтра свадьба... Навсегда.

Пришло шествие с караваем, вошел жених, и девушки умолкли. Пили вино и мед, и было в горнице так, как бывает в доме, когда настало время выносить покойника. Панихида кончена, священник

снял ризу, оставили свечи, а все не берутся за гроб, точно боятся нарушить покой его, топчутся на месте и говорят ненужные слова.

Девушки, наконец, разобрали вещи из приданого, но понесли они не прямо на половину будущих молодых, а вышли на улицу и обошли с песнями все село. И всюду выходили люди, смотрели, и все знали, что Аграфена Федоровна завтра будет венчаться с Григорием Николаевичем, пришедшим из Неметчины.

Только что народившийся узкий косой месяц низко висел в мутном небе, светились огнями окна изб, снег хрустел под мерными шагами девушек, несших приданое, и они звонко пели:

Оглянися, мати,
Каково у тебя в хате:
Пустьм-пустехонько,
Дурньш-дурнешенько!
Сестрицы-подружки,
Да несите подушки,
Сестрицы-Катерины,
Да несите перины.
Метеная дорожка метена —
Туда наша Грунюшка везена!
По дорожке василечки поросли,
Туда нашу Грунюшку повезли,
Повезли ее, помчали,
В один часочек повенчали!

Бакланов шел поодаль с Дятловым. И знал он, и понимал теперь, что завтра его ожидает не шутка, а великое таинство — брак. Он хотел спросить, что думает теперь после всего этого Дятлов, но Дятлов сам сказал свои мысли.

— Ерунда! — воскликнул он. — Ни в одном демократическом государстве невозможна такая ерунда. Это черт знает что такое! Это... Это рабство!

XXXVII

Бакланов одевался, чтобы ехать в церковь. На душе у него было умирительно-тихо. За эти два месяца он познал всю прелесть религии. Он родился в Берлине еще тогда, когда там доживал при посольской церкви старый священник, и был крещен. По бумагам он был право-

славный, и метрика его была в порядке. Но старик священник, которым держалась русская церковь в Берлине, умер. Новая, прекрасно отстроенная, о трех куполах, церковь была продана с молотка и обращена в кинематограф. Приходы переругались между собой из-за того, какая церковь правильная, и постепенно отошли от церкви. Во главе колонии стали социалисты и атеисты. Демократическое и молодое большинство доказывало, что в государстве, отрекшемся от христианской веры, стыдно содержать церковь, что ее имущество надо поделить между «бедными» и вообще все передать «бедным». Меньшинство, оказавшееся шестью беззубыми тихими стариками, помнившими лучшие времена, протестовало, но им «партия вольных велосипедистов», мечтавшая устроить гоночный трек на церковных землях возле кладбища, пригрозила «угробить» их, а так как привести в исполнение угрозу над бывшими сенаторами, губернаторами и генералами в демократическом государстве можно было, ничем не рискуя, меньшинство смолкло, и церковь закрыли. Имущество ее продали. Царские врата и иконостас купил богатый еврей и поставил в большом ресторане у входа в столовый зал. Религия была отвергнута, и смешно было в суде доказывать, что это священные предметы. Священного и святого в Западной Европе были только права пролетариата и лозунги революции.

С тех пор эмигранты постепенно забывали, что они православные христиане. Дети не получали крещение, и неудивительно было, что Дятлов носил имя Демократа, а одна его приятельница, дочь православных родителей, в угоду покровителям-евреям, была названа Рубинчиком. Браки совершались и расторгались у одного из двух комиссаров — российского или советского. Оба спорили, кто из них законный, и обоих снисходительно признавало германское правительство. Хоронили после гражданской панихиды, и уже не на Тегельском кладбище, на месте которого «бедные» устроили загородный сад с русской водкой, конфетами, балетом, цыганским хором и оркестром балалаечников, а сжигали в берлинском крематории, так было проще и чище.

Православная церковь с ее службами, обрядами и таинствами была новостью для Бакланова. От него потребовали, чтобы он отговел перед свадьбой, и он, с полным усердием неопита, целую неделю посещал церковь, терпеливо выстаивал часы и вслушивался в малопонятные слова молитв, произносимых скороговоркой на славянском языке. Первый день ему было скучно. Бурные мысли о Грунюшке его отвлекали, он ничего не понимал, что читалось, и ему казалось, что читается какая-то тарабарщина. Священник выходил из

Царских врат в одной епитрахили и черной рясе, с наперсным крестом на груди, говорил слова благословения и снова скрывался в темном алтаре.

Вернувшись, Бакланов попросил Лидию Павловну, старшую барышню, растолковать то, что читали в церкви. Она достала свои учебники, псалтири и молитвословы на русском языке, и слово за словом рассказала ему весь смысл службы. С ним говорили Коренев и Курцов. Коренев тоже прослушал урок молоденькой девушки.

Когда Бакланов пришел с Корневым во второй раз, в быстром чтении дьячка они уже улавливали смысл, и, странное дело, в пустом и тихом, полутемном и сыром, пахнущем ладаном, лампадками и особым церковным запахом тления храма, на них сошло совсем особое настроение. И определили они его оба одинаковым словом: радостное. Вся служба, все молитвы, слова, движения, образы, эмблемы, свечи, лампадки, дым кадильный — все говорило им, что земная жизнь ничто, маленький эпизод, за которым следует какая-то неведомая жизнь будущего века. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», — повторяли они слова Символа веры. Еще не понимали их, но чувствовали в них нечто умирительно-прекрасное.

— Корнюшка, милый, — сказал, выходя из церкви после исповеди, Бакланов, обращаясь к задумавшемуся, ушедшему в себя Корневу. — Помните, в Берлине мы глубоко верили, что есть только тело и со смертью оканчивается все.

— Да, помню, — раздумчиво сказал Коренев.

— Здесь я начинаю чувствовать, что не одно тело есть у человека, но есть и душа. И душа бессмертна. Там у меня в мыслях преобладал пессимизм. Для чего жить, трудиться, стараться быть добрым, когда за гробовой крышкой только мерзость тления и ничего больше? Здесь меня все сильнее и могучее захватывает здоровый оптимизм. Если прекрасна, если удастся эта жизнь — как дивно хороша будет будущая! И если эта не удалась, там, за гробом, найду радость и утешение.

— Если даже, — как бы отвечая на свои мысли, сказал Коренев, — религия — опиум для народа, то какой здоровый она опиум и какие сладкие сны навевает она.

На другой день они шли приобщаться. Когда думали об этом раньше, оба — и Коренев, и Бакланов — думали с какой-то насмешкой и над собой, и над таинством. Казалось это им устарелым, смешным в конце двадцатого века обрядом, но когда Грунюшка, разодетая в белое платье и как-то не по-земному счастливая, вошла

в церковь (она приобщалась тоже), когда по-праздничному одетые Стольниковы, Шагины и Эльза пришли в церковь, праздник установился в сердце Бакланова. Исчезла насмешка.

От вечера субботы, когда он исповедовался после длинной всеюшной, ему не давали ничего есть. Когда после долгого чтения молитв открылись врата и появился священник с чашей, и он, позади Грунюшки, подошел к Царским вратам и стал повторять слова молитвы, какой-то трепет охватил все его тело.

«...Не бо врагам Твоим тайну повем... Ни лобзание Ти дам яко Иуда», — говорил он с умилением.

Сладостно было слушать, как тихо говорил священник: «Приобщается честные Тела и Крови Христовых раба Божия Аграфена...»

У него дрожали колени, когда он подошел к чаше. Он не помнил и не видел ничего, как «это» совершилось. Его обступили Шагины и Стольниковы и поздравляли его. Грунюшка протянула ему маленькую, отошедшую от загара ручку и крепко пожала его руку. Он был как именинник. Ему казалось, что народ, бывший в церкви, ласково смотрит на него, и когда он выходил, ему почтительно давали дорогу. Какая-то старушка перекрестилась на него, поймала полу его кафтана и поцеловала, умиленно шепча: «Причастник Божий».

У Стольниковых ждали с чаем. Перед его прибором лежала особо для него вынутая большая белая просфора. Все за ним и за Корневым ухаживали, прислуга, улыбаясь, поздравляла их, в окно светил мутный ноябрьский день, и неслись мерные удары колокола.

«Если даже, — думал Бакланов, — все это неправда, — то какая это хорошая, сладкая неправда... Да может ли быть это неправдой?..»

XXXVIII

И теперь, одеваясь к свадьбе, он опять испытывал то же умиленное настроение и не думал о том, что будет после свадьбы. Духовный свет радости пронизывал его тело, и душа веселилась в нем. Действительно, таинство его ожидало.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Бакланов, застегивая крючки своего нового красивого малинового, позументом шитого, кафтана, подаренного ему воеводой Владимиром Николаевичем.

Вошел Курцов. Он был в серой свитке, опоясанной длинным белым полотенцем, таких же шароварах и пахучих, черных, смазных

сапогах. Курчавые волосы его были примаслены, и сам он был веселый, блестящий, точно лаком покрытый.

— Славно мы принарядились, Григорий Миколае-вич, — говорил он, оглядывая Бакланова и охорашиваясь перед зеркалом.

— Это кафтан тебе кто подарил? Стольников-ста-рик? Он добрый... Сказывают, у него от царя деньги такие особые, чтобы благодетельствовать неимущим. Меня как обрядил — во как! Важно!.. Не по-немецки! А ловко, Григорий Миколаевич, — ни тебе шнурочков, ни завязо-чек — просто и красиво. Коли готов — идем. Я за ведуну назначен. Батюшка с крестом ожидает. Старый Стольников с иконой. Коренев в синем кафтане, и не узнаешь тоже, ловко выглядит — молодчиком. Один Демократ Александрович чучелом нарядился. В пиджаке — совсем неладно. Ты бы ему сказал. Что обедню портит. Пра-сло-во! Чудак, ваше благородие.

В гостиную старый Стольников и Нина Николаевна благословили Бакланова образом. Он стал на колени, перекрестился и поцеловал образ. На него нашло умиленно-бессознательное состояние, он видел все подробности, замечал многие мелочи и в то же время был страшно рассеян. Действительно, ему был нужен ведун, который предупреждал бы его о порогах.

В церковь пошли пешком. Впереди всех шел священник, за ним Бакланов с ведуном-Курцовым, мальчики из школы несли благословенные образа с пеленами, кругом шли Стольниковы, Эльза, Дятлов и Коренев — вся сторона жениха.

Бакланов видел серебряный рог месяца на бледном небе, видел снежную дорогу, спускавшуюся к селу, тускло мерцающие желтым светом окна сельского храма, откуда неся веселый, радостный перезвон колоколов. Мальчишки на санках катились с горы и остановились, затормозив ногами, чтобы посмотреть на поезжан. Было холодно ногам, и снег скрипел по-морозному, по-ночному. За селом клубилась зимними туманами долина полей и чуть намечался черной полосой лес. На селе было оживление. Промчался на тройке прекрасных, как снег, белых лошадей офицер. Он стоял за облучком, и рукава его кафтана развевались, как крылья. Бакланов понял, что это шафер невесты — Антонов; подумал: «Верно, Грушенька за чем-либо послала», но сейчас же его внимание отвлекла звонко лаявшая и вилявшая хвостом собака, и он забыл про тройку.

В притворе церкви, у иконы Воскресения мертвых, он задержался. Ему показалось, что что-то надо сделать. Он вспомнил, беспокойно полез за пазуху, чтобы достать свой паспорт и метрическое свидетельство, и, останавливаясь, сказал Стольникову:

— Расписаться надо... Паспорт... Стольников остановил его.

— Вам ничего не надо, — сказал он. — Священник после свадьбы внесет вас в книгу о брачующихся, а паспортов в императорской России нет.

— Как же без бумаг-то? — растерянно сказал Бакланова.

— Все то, что было, и то, что будет, — значительно сказал Стольников, — крепче бумаги. В Российской империи — люди, а не документы.

Он указал Бакланову войти в церковь. В церкви был таинственный полумрак. Люстры не горели, и она освещалась только рядом зеленых, синих и малиновых лампадок, длинной линией тянувшихся по верху иконостаса, да большим паникадилом, уставленным сплошь тоненькими свечками у иконы св. Александра Невского, покровителя всего здешнего края. Большой сельский хор толпился на правом клиросе. Бакланов различал мальчиков и девочек школы, учительницу, толстого регента, на минуту показалось любопытное лицо Мани Зверковой. Маленькой кучкой по левую сторону от аналая, к которому дорожкой тянулся ковер, стояли гости жениха. Все молчали, изредка перекидываясь тихим шепотом сказанными, короткими словами.

Вправо от дорожки все приходили и приходили люди. Почти все село собралось на стороне невесты. Пестрой толпой стояли девушки, и Бакланов видел длинные, толстые русые, черные, рыжие, совсем белые льняные косы с заплетенными лентами и широкие крепкие спины в голубых, розовых, алых, серых сарафанах, из-под которых высовывались сборчатые белые юбки и видны были черные и цветные сапоги.

Дверь в церковь то и дело распаивалась, дуло холодом зимней ночи, и входили новые молящиеся. Когда открывалась дверь, в молитвенную тишину храма доносился звон бубенцов, тпруканье ямщиков и визг полозьев.

На клиросе дьячок читал отрывисто молитвы, но и он был, видимо, занят какими-то заботами и часто прерывал чтение длинными перерывами.

Широко распахнулись ворота храма. Послышался бешеный топот конских ног, фыркание круто осаженных лошадей и звонки колокольцев. Сразу вспыхнули все люстры по храму, и в нем стало радостно и светло, и хор весело запел, восторженно, наполнил всю церковь ликующим звуками. Кто-то подле Бакланова сказал взволнованным голосом:

— Невеста приехала!..

В темной арке растворенных ворот храма, в прозрачном, голубо-сером, клубящемся морозным паром сумраке показался маленький мальчик с кудрями выющихся волос, в белой шелковой, шитой золотом рубашке, таких же штанах и голубого сафьяна сапожках, прекрасный, как херувим. С его плеч спускался парчовой плат с золотой бахромой, и на нем лежала усыпанная жемчугом и камнями, в старом золотом окладе, икона. За ним медленно, опустив голову, на которой сияла камнями диадема, с волосами, заплетенными в густую косу и украшенными лентами и золотыми украшениями, в снежно-белом сарафане, окутанная белым газом, в облаке пара — сама, как дымка, как облачко, как мечта, шла невеста. Опущенное лицо было бледно и строго, брови насулены, и за длинными ресницами не видно было глаз. Грунюшка казалась старше своих лет. Губы ее были сжаты, ноздри раздувались, она шла медленными шагами, точно боялась упасть. Подле нее нарядный, в праздничном зипуне белого сукна, расшитом золотым позументом с кисточками, с небольшой собольей шубкой наопашь, при блестящей сабле на боку шел Антонов, дальше показалась вся семья Шагиных.

Хор продолжал петь. Одиноким голос Мани Зверковой несся к высоким куполам, и в него вступал ликующими созвучиями многоголосый хор. Служба началась, и Бакланов почувствовал, что его потянуло куда-то, откуда уже нет возврата, но это «куда-то» было светлое, яркое, праздничное.

Его поставили рядом с невестой, и они обменялись кольцами. Священник взял их за руки и повел к аналою. Как сквозь сон, замечал он, что все вытянули шеи и напряженно смотрели на них. Он знал, что что-то такое надо сделать теперь, о чем-то подумать, и забыл совершенно. Кругом поднимались на носки и следили за ними. Дьячок, ловко согнувшись, расстелил перед аналоем на полу розовый атласный коврик. Грунюшка замялась, выжидая, приостановился и Бакланов. Грунюшка ступила первая.

— Ах, ах! — раздалось на стороне жениха. На стороне невесты улыбались. Бакланов вспомнил, что, по поверью, кто ступит первым, тот будет главой в доме. Он не опечалился. «Пусть Грунюшка правит, — подумал он. — Ее дом. Пусть хозяйничает в нем».

Уже держали венцы над головами, и Бакланов чувствовал то ловкую руку Коренева, то тяжело, чуть не надвигая ему на голову, держал венец Дятлов и шептал ему на ухо: «Смерть курить хочется! Поди, и вам, Бакланов, тоже...» То сопел над ним Курцов.

— Григорий Миколаевич, — прошептал Курцов, когда священник стал подходить к ним. — Коли не желаешь, передумал, еще отказать можно, пока не перекрутили.

Бакланов досадливо мотнул головой. Зачем передумывать? Так все хорошо было!

— «Исаие, ликуй!» — пел хор.

Бакланов шел за священником вокруг аналая. Рядом, с опущенными глазами, своя и чужая, бесконечно милая, родная, желанная, холодная, строгая, неприступная, подвигалась Грунюшка. Староста Щупак звенел шпорами и тяжело дышал, неся над ней венец.

«Исаие, ликуй!» — взывали певчие.

«Григорий, ликуй!» — вторило сердце Бакланова.

Давил ему венцом на голову неловкий Дятлов. «Все кончено, — думал Бакланов, — я женат. Вот оно что!.. Таинство! Таинство!»

Будто старше стал он, разумнее, будто по-иному все стало.

«Моя Грунюшка! Моя, моя, навеки!» — и опять задумался.

Как в чад, принимал, стоя на амвоне у Царских врат, поздравления. Стольников-старик целовал руку Грунюшке, и это казалось странным. Девушки из хора торопливо, пересмеиваясь, бежали в притвор.

— Смотри, не промахнись, Григорий Миколаевич, — целуя его в губы свежими, купоросом пахнущими губами и до боли прижимаясь к его зубам своими зубами, говорил Курцов. — Не посрами невесту. Главное дело, не пей много.

Девушки завладели Грунюшкой. Ее, бледную, изнеможенную, почти страдающую, повели в притвор. Там ее усадили в кресло, и женщины расплели ей косу, разобрали волосы надвое так, что белая дорожка показалась на затылке, и, заплетая в маленькие косы, укладывали волосы по-женски, на затылок, сооружая там что-то, сильно изменившее лицо Грунюшки. Но было оно прекрасным, по-новому, как-то значительно-прекрасным. На голову ей надели золотой повойник. А кругом девушки грустно и голосисто, не по-церковному пели:

Не золотая трубушка вострубила,
Рано на заре восплакала Грунюшка
По своей черной косе.
Свет моя косушка черная,
Что родная маменька плела,
Она мелко-на мелко переплетывала,
Мелким жемчугом усаживала...

Грустная песнь, грустное лицо Грунюшки — щемили за сердце. За дверьми топотали кони. Молодые парни садились на украшенных лентами, разжиревших зимой лошадей. Тройка снежно-белых, вся в лентах, стояла у самого крыльца. Сзади была соловая стольниковская тройка, гнедая тройка старосты, несколько одиночных саней. Бакланова с Грунюшкой усадили в первую тройку. С ними сели Дятлов и Алексей Алексеевич. Курцов гарцевал, сидя на попонке, на толстом мохнатом выкормке. Антонов вскочил на своего стройного текинского коня, староста Щунак молодцевато сидел на большом караковом коне.

— Ну! Аида те! Вперед! — крикнул Антонов. Белые кони рванули. Бакланов и Грунюшка ударились о спинку саней и понеслись в каком-то волшебном забвении. Близко было бледное, суровое лицо Грунюшки и казалось далеким. Дальше, чем было. «Моя Грунюшка», — думал Бакланов и не смел ничего сказать. Через ее плечо был виден стройный Антонов, рукава зипуна и шубка, одетая наопашь, развевались и казались крыльями, он низко нагибался на высоком седле, из-под старой барашковой шапки с мотающейся серебряной кистью на голубом шлыке смотрело румяное улыбающееся лицо, и он говорил что-то Грунюшке, а что — не было слышно. Не слышала и Грунюшка. Звенели бубенчики, заливались колокольцы, храпели в такт скоку лошади, летели комья снега и ударяли в ковры по бокам саней. Рядом с Баклановым, болтая ногами, скакал Курцов. Лицо его блаженно улыбалось, белые зубы сверкали на месяце, и он что-то кричал Бакланову. Не слышал Бакланов. Быстрее тройки неслись его мысли, и уловить их не могло сознание. Волшебной сказкой казалась жизнь в императорской России, чудными людьми эти Богом хранимые русские. Сзади визжала Эльза, смеялся Коренев.

— Ух, ух!.. Пади!.. Берегись!.. — вопили, сами не зная для чего, ямщики, и так все давали дорогу.

Звенели бубенцы и колокольчики, бухали комья снега в натянутые, кожей подбитые ковры, кто-то дико кричал, джигитуя на скачущей лошади. Было что-то безумно веселое в этой бешеной скачке саней и верховых поезжан.

— Это вам, — сказал, обращаясь к Дятлову, Алексей Алексеевич, — не митинг протеста под красными знаменами.

— Глупо, Алексей Алексеевич, — передергивая плечами, проговорил Дятлов и всю дорогу до дома Шагиных молчал.

На крыльце молодых встретили Шагины и Стольниковы с хлебом-солью. Ярко горели фонари и лампы. Высоко подняли Шагин с Еленой Кондратьевной каравай хлеба, образовали арку, и, сгибаясь, под нее проходили Бакланов с Грунюшкой, а за ними и все поезжане. Едва только Бакланов нагнулся, на него полетали зерна, колосья пшеницы, хмель, орехи, пряники и мелкие монеты.

— Богато! Богато жить! Дай Бог, богато, — говорил батюшка.

В столовой было накрыто для свадебного пира. Когда все стали по своим местам, намеченным маленькими записочками, где кому сидеть и с кем беседу держать, священник благословил яства и питья. Курцов, Сеня, девочка, подруга Грунюшки, и еще две девушки стали обносить вином. Поднялся старый Стольников, все встали и затихли. Щелкнули ключи выключателя у оконного экрана, трубачи порубежной стражи в сенях торопливо продули трубы.

— За здоровье, — торжественно проговорил Стольников, — державного вождя Земли Русской государя императора Михаила Всеволодовича!

Грянуло «ура». На экрана появилось благородное лицо в короне и порфире, и звуки гимна, играемого звукодаром, слились с мощными аккордами трубачей.

Когда кончили кричать и петь святой народный гимн, поднялся опять Стольников и провозгласил:

— За здоровье воеводы Псковского, его высокопревосходительства тысяцкого Анатолия Павловича Ржевского.

И опять — «ура»! Трубачи играли марш Псковского воеводства.

Тосты шли за тостами, и наконец раздался главный, давно жданный тост.

— За молодого князя и княгиню! К Бакланову и Грунюшке потянулись родители Грунюшки и Стольниковы с подарками.

— Вот тебе, родной Гриша, — сказал Шагин, подавая дорогую мерлушковую шапку с белым верхом, в которой был вложен синий пакет, — дарственная на осиновые верхи... Об весну вместе с Грунюшкой под яровые распахнете.

— Примите, Григорий Николаевич, — сказал Стольников, — от меня с Ниной Николаевной бычка холмогорского и двух телок. Начинайте свое хозяйство.

Учитель Алексей Алексеевич поднес свой ларец с художественно сделанной из дерева инкрустацией и сказал стихи. В них говорилось

о том, чтобы Грунюшка была счастлива, богата, красива и плодоносна, «как эта слива».

Старый дед Шагин поднялся с кубком вина.

— Желаю здравствовать, — сказал он, — князю молодому с княгиней! Княжному отцу, матери, дружке со свахами и всем любящим гостям на беседе. Не всем поименно, но всем поровенно. Что задумали, загадали — определи, Господи, талант и счастье: слышанное видеть, желаемое получить в чести и радости нерушимо!

Кругом раздались голоса:

— Определи, Господи!

— Помогай святая Богородица!

Гости потянулись к молодым с бокалами вина.

— Горько! — крикнул Антонов.

— Горько! — зычно заревел Курцов.

— Горько! — чокаясь с Баклановым, сказала Эльза и закатила к потолку голубые глаза.

Бакланов целовал Грунюшку и не узнавал ее. Не те румяные, горячие губы, которыми целовала она его шутя, шая, на «подушках» мягкие и влажные, отвечали на его поцелуи, а прикасались к нему сухие, тонкие, податые, холодные губы, трепет пробежал по ее лицу. Лицо было холодное, суровое.

«Ужели разлюбила?» — думал Бакланов.

— Горько, горько! — кричали гости.

Девушки пели песню:

Ой, заюшка, горноста́й молодой! Молодых повели на их половину.

ХLI

В столовой шел пир горой. Шумели гости, но уже и шуметь устали. Хриплыми голосами заводили девушки пятый раз все ту же песню:

Ой, заюшка, горноста́й молодой!

Курцов спал, облокотясь на стол. Антонов, по обряду, с обнаженной саблей стерег у дверей в покои молодых.

Скучный сидел Стольников. Он устал-таки. Елена Кондратьевна то была бледна, как небо перед утренней зарей, то вспыхивала пятнами и сурово поджимала губы. Пора гостям расходиться, а не уходят. Отставной матрос с «Авроры» разгулялся и все хотел спеть частушку про «клешника», старик Шагин его успокаивал.

— Ну, — сказал наконец Стольников, поднимаясь из-за стола и обращаясь к Федору Семеновичу, — друг, рассвет уже близок, далека наша дорога. Пора и покой дать. Да благословит дом ваш Господь Бог! В добрый час повенчали мы дочку вашу. Пусть родит сынов великому государю нашему.

— Спасибо на добром слове, ваше превосходительство, — вставая, сказал Шагин, — будешь у государя, расскажи ему, — воспитаем внучат, чтобы любили царя и Россию.

Пошли подниматься и другие гости, говорили ласковые слова хозяевам.

— Эх, — размахивая рукой, кричал старый матрос, — вспомнились мне песни, да все непотребные слова в них! Не было молодости у меня. Съел ее кровавый Интернационал. Спойте, родные, что-либо, чтобы душу мою залить радостью вашенской, чтобы забыть мне паршивые напевы краснобалтских песен.

— Как по Питерской! —

запел хорунжий.

По Ямской-Тверской,
С колоко-ольчиком! —

звонким колокольчиком зазвенел голос Маши Зверковой.

Разъезжались гости. Румяная, улыбающаяся, счастливая, провожала их Елена Кондратьевна, самодовольно разглаживал бороду Федор Семенович.

В избе стало тихо. Последнего усадил с собой в сани хмельного матроса Антонов и повез. Все махал рукой старый матрос Краснобалта и пел, улыбаясь пьяной улыбкой:

По Ямской-Тверской,
С колокольчиком...

Мутный свет позднего утра сизыми волнами полз во двор. Пел хрипло петух, тосковали куры. Ждали Грунюшку.

Кормить их вышла Елена Кондратьевна в высоких белых валенках на босу ногу и в шубе, накинутой на рубаху.

Разметавшись на широкой постели, крепко спала Грунюшка. Улыбались румяные щеки, светлые зубы белой каемкой окружали пунцовый рот. Неслышно дышала она. Райские сны снились ей.

Рядом, уткнувшись лицом в подушки и торча из их белизны черными спутанными волосами, лежал богатырь Бакланов.

Кротко мигало пламя лампы, и лик Богородицы глядел на молодое счастье.

Солнце бросало косые лучи на спущенные белью шторы, и зимний день, тихий и сладостный, входил в избу на смену полной восторгов торжественной ночи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Спустя два дня после свадьбы Бакланова Коренев с Дятловым вечером попросили разрешения у Павла Владимировича поговорить о деле.

— В чем дело, родные мои? — ласково сказал Павел Владимирович, указывая им на софу.

Дятлов ходил по мягкому ковру и нервно курил, останавливался, потирал большие красные, мокрые руки и смотрел вопросительно на Стольников. Коренев смущенно повел речь. Как большинство эмигрантов, он не умел говорить просто по-русски и уснащал свою речь словечками «вот в чем дело», «как вам кажется», «понимаете», «ausgeschlossen», «aber gar nicht»*, «ничего подобного» и т.д.

— Вот в чем дело, — начал он, останавливаясь против Стольникова, который сел в большое кресло у письменного стола. — Вот в чем дело... Зажились мы у вас. Вы благодетельствовали нас сверх меры, одели, обули, денег надавали, пора подумать и о том, чтобы долги отдавать.

— Деньги, которые я вам дал, — сказал Стольников, — не мои. Это царские, государственные деньги. В распоряжении каждого начальника есть особая сумма для того, чтобы помогать тем людям, которым никто не может помочь. Случай на Руси, где все родством считаются, довольно редкий. Казну вы не обремените, но если отдадите когда-нибудь эти деньги, вы докажете, что вы понимаете свой долг перед родиной. Сумма у меня определенная, и возвращенные вами деньги дадут мне возможность помогать и дальше. Что же вы думаете делать?

— Ехать в Петроград, — сказал Коренев. — Я хочу поступить в какую-нибудь Академию живописи. Я уже выставился в Германии с успехом.

* «В целом», «никак нет» (нем.).

— Я хочу писать в газетах, — хмуро кинул Дятлов.

— В час добрый, — сказал Стольников. — В Санкт-Петербурге есть Императорская школа живописи и ваяния, на Васильевском острове, у Николаевского моста. Я дам вам письмо начальнику школы. Это очень старый художник военных событий, баталист, как говорят у вас, художник Самобор Николай Семенович, чудный, добрейшей души человек. Вам сделают испытание — заставят нарисовать карандашом с гипса, сделать набросок красками с живого человека и снять снимок красками с одной из картин наших хранилищ. Имейте в виду, Петр Константинович, что каждый год в залах школы Великим постом устраивается выставка. Чтобы попасть на нее, надо пройти через осмотр преподавателей школы. Лучшие картины поступают в передвижную выставку и путешествуют по России. Найти покупателя легко. Богатых людей много. Русские любят украшать стены своих домов картинами. Все казенные здания тоже ими украшены. Лучшие размножаются особым способом, и быть художником в России — очень выгодно, не говоря о славе и почете.

Стольников помолчал немножко и веско добавил:

— Но надо иметь талант и много работать. Без этого лучше сапоги чистить или белье стирать... Что касается вас, Демократ Александрович, ваше дело труднее. Что вы думаете писать в газетах?

— Я считаю себя обязанным информировать товарищей по каждому текущему моменту. Войти в тесный контакт с рабочими кварталами, ориентироваться во всех дефектах жизни, которая под царским режимом должна быть одиозна. Я соберу нужные мне анкеты, и, базируясь на них, я укажу публике всю бездну нашего социального падения. Инкриминирую народу его легкое подпадение под власть царизма и зафиксирую все это в своих статьях. Нездоровыми темными рабочими кварталами, где доминирует тайный порок, где капиталист сосет кровь пролетария, жалкими крестьянскими полосками, нивами несжатыми, бедняцким хозяйством, угнетаемым кулаками, я подойду к читателю и внесу в его сердце необходимый корректив для оценки его социальной проблемы. В классовой борьбе под красными знаменами революционного Интернационала к кровавым всплескам мятежа против насилия я буду звать трубным голосом свяшенно-смятенной души. Я опытный политический журналист, и мне мое метье хорошо знакомо.

— Баю-баюшки-баю! — неожиданно и совершенно спокойно сказал Стольников.

— Что-с? — обиделся Дятлов. — Простите, я вас не понимаю.

— Няниной сказкой, — в тон его длинной, нескладной речи заговорил Стольников, — страшными рассказами о далеком прошлом, о кро-

вавом начале двадцатого века, о политической розни веет от ваших слов... Таких газет у нас давно нет. Припомните развитие газетного дела в России. Почти полная свобода слова во времена первой Империи. Газеты во время войны с Германией, подготовившие смуту... Полная разнузданность так называемой левой печати в первые месяцы бунта 1917 года, преследования газет, позволявших себе сместь говорить правду при Керенском. Вы, если вы изучали историю газетного дела в России, вероятно, помните закрытие бурцевского «Общего дела», обличившего изменника и предателя Ленина. Потом четыре года несчастная Россия ничего не читала, кроме кликушеских выкриков «Правды» и «Известий». Статьи из этих газет преподают теперь в средней школе как образец безграмотности литературной и государственной. Это страшное время охладило читателя к газете, и у нас выработался совершенно новый тип газеты. Вот, посмотрите наши местные «Псковские областные ведомости».

Стольников подал свежий лист большого газетного формата хорошей глянцевого бумаги со многими рисунками.

Дятлов устремил на нее жадные глаза.

По внешности газета была безупречна. Но чем больше он смотрел, тем менее что-нибудь понимал. Он даже побледнел и осунулся, пробега глазами эту, «с позволения сказать», по его мнению, газету.

«Высочайшие приказы». «Назначается, производится, увольняется». Прекрасно исполненный портрет мужчины лет пятидесяти, с седой окладистой бородой, в длинном черном архалуке, с Владимиром на шее. Подписано:

«Избранный городским головой города Великие Луки и высочайше утвержденный почетный гражданин Николай Саввич Заюшников». Внизу краткая биография: «По окончании курса высших торговых наук в городе Пскове в 19.. году занялся торговыми предприятиями... основал фабрику бус в Великих Луках... изобрел новый способ выщелки самоцветных камней... имеет магазины стеклянных галантерейных изделий в Спасском, Покровском, Рождественском... член «Общества любителей русской старины»... основатель школы прикладной живописи в родном своем селе Широкие Логи...»

— Эксплуататор, — подумал Дятлов, — и партии, партии какой?

«Со всего света — по государственному иглосказу».

«Тьфу, черт, — подумал Дятлов, — недостает прочитать: «Самопер попер до мордописни».

«Англия. Лондон. Во время вчерашней свалки между синфейнерами и представителями английской народной партии отрядами

— Да, есть волки, медведи, рыси и кабаны. Охота здесь великолепная, — отвечал Стольников.

— А чьи это леса? — спросил Дятлов.

— Государственные, — коротко сказал Стольников. Лес прекратился не сплошной ровной стеной, но островами еще выдавался тут и там и темнел в лунно-серебристой дали. Пошли снежные поля, бугры, вдоль дороги стояли вежи, указывавшие ее направление, не-вдалеке гудела проволока электрических проводов.

— Это телеграф? — спросила Эльза.

— Нет. Вся скорюпись у нас беспроводная. Это провода громовой силы — световой, сельскохозяйственных приборов и дальнотелов, — отвечал Стольников. — Социалистическая советская власть мечтала устроить электрификацию, но вместо этого разорила и то, что было. Без Бога — не до порога. Молитвенный разум иеромонаха Сергиевской пустыни Святослава сделал новые открытия, и сейчас двенадцать монастырей заняты производством приборов для грозовой силы. Я не могу вам сказать, какое последнее их открытие, потому что не имел времени прочесть присланную мне книгу, заметил только, что оно касается медицины, предпоследнее, сделанное тридцать лет тому назад, — был прибор, вызывающий в любое время тучи на небо и дождь на землю. Теперь ни одно селение на юге России не обходится без такого прибора, и мы не знаем, что такое засуха.

Кругом лежала снежная пустыня, и странно было слушать в ней о новых великих изобретениях.

Эльза спросила Стольникова, и сомнение дрожало в ее голосе:

— Скажите, пожалуйста, почему вы, русские, за эти сорок лет так далеко шагнули в области науки?

— Причин несколько. Самая главная та, что раньше наука и религия, наука и Бог шли врознь. Ученый разум противопоставлялся Богу. В редком ученом кабинете вы могли видеть святые иконы, и не молитвой, постом и бдением готовился ученый к своему труду. Настоящей помощи Господа Сил поэтому не было. Теперь все наши ученые и изобретатели — прежде всего глубоко верующие люди, и силы бесплотные помогают им.

— Ханжи, — проворчал Дятлов. Стольников сделал вид, что не слышал его возгласа. Не было охоты спорить и убеждать.

— Другая причина, — продолжал он, — та, что раньше ученому приходилось часто жить в бедности. Теперь, когда восстановилась царская власть в полном ее блеске, вернулось то, что мы имели в великий век Петра и славный век Екатерины. Ученый попадает под

покровительство царской власти, и с него снимаются заботы земного существования — его мозг свободен для высших дум. И, наконец, третья сила, способствующая развитию у нас науки и искусства, — это страстная любовь к родине. Быть русским — это все, о чем можно только мечтать. Прославить русское имя — это мечта любого ребенка. Пятилетние карапузы говорят в зависимости от своих склонностей: «Я хочу быть Пржевальским, хочу быть Менделеевым, хочу быть Яблочкинским, хочу быть Беле-любским, Айвазовским, Гоголем, Пушкиным...» Это, конечно, результат школы, воспитания. Масса детских книг с талантливыми, яркими описаниями жизни великих русских — от богатырей Киевских до современных ученых и поэтов — пущена в народное обращение. Редкая книга у нас печатается меньше пятисот тысяч экземпляров.

Есть и еще одна причина. Очень странное душевное явление. В годы коммунизма, когда человеческая жизнь, и особенно жизнь ученого, образованного человека, ничего не стоила, ни во что не ценилась, когда люди жили в вечном ожидании ареста, казни, непра-ведного суда, оскорбления и пыток, как-то обострился ум, как-то стал он глубже проникать в явления, и даже в те времена уже стали проявляться гениальные изобретения и открытия.

Советская власть глушила их и не давала развернуться, а когда при императорской власти повяло свободой, все эти загнанные раньше в подполье ученые развернулись и покрыли своими изобретениями всю русскую землю. В Санкт-Петербурге вы увидите очень много интересного. Ваш старый Клейст писал мне, что он поражен русским гением.

— Вы сказали, Павел Владимирович, — проговорил Корнев, — «силы бесплотные помогают им». Как понимать это нужно?

— В самом прямом смысле: ангелы и души раньше умерших людей, которым открыто многое, чего мы еще не знаем.

— Но разве это правда? — сказала Эльза. — Разве не все кончается со смертью?

— Ив этой области, — сказал Стольников, — у нас большие достижения. Я не знаток этого дела. Мое дело — сельское хозяйство, а не духовидство, но знаю, слышал, что великая княжна Радость Михайловна, девушка святой, подвижнической жизни и необычайных дарований, имеет дар воплощаться в любом месте. Она может перенести свое тело, куда захочет, и только страшно слабеет при этом, так, что едва может говорить. Когда в Ферганском воеводстве были волнения в народе из-за того, что кто-то пустил слух, что она убита, она явилась на многолюдной площади и прошла, улыбаясь,

через толпу коленопреклоненных мусульман. А ведь это почти семь тысяч верст от Петербурга!

— А могла бы она... — прерывающимся голосом, задышавшись, спросил Корнев, — явиться в Германии... в Потсдаме... Вердере... Берлине?

— Я думаю, она может сделать все, что захочет.

— А что двигает ее на это?

— Особое внутреннее чувство христианской любви.

Корнев больше не спрашивал. Его сердце сильно, порывисто билось, и торопился он скорее попасть в эту волшебную страну чудес.

Дорога шла по пологому уклону. На горизонте длинной лентой, точно бусы волшебного ожерелья, замаячили яркие блестящие фонари.

— Станция Котлы, — сказал Стольников. Минут через двадцать мимо саней замелькали аккуратные каменные постройки магазинов и складов, домики станционного поселка.

Глухо лаяли собаки, огрызаясь на звон бубенцов. Поселок спал крепким зимним сном. Дома расступились, на площади стояли церковь, дом священника, школа, еще дальше было небольшое здание станции. Было багажное отделение со стойкой и десятичными весами, была маленькая будка кассира, где-то стучал телеграф и звонил автоматический прибор: дзень-дзень, дзень-дзень, совсем как это делается везде. В кассе им дали спальные места, и кассир, седой, угрюмый старик проставил им номера, справившись по какой-то таблице с откидными цифрами. Были залы чистой и черной половин.

— Однако, — сказал Дятлов, — классовое развитие у вас крепко проведено — дворянская и крестьянская половины. Белая и черная кость.

— Вы ошибаетесь, — сказал Стольников. — Это различие платья и денежной стоимости. Например: я был на охоте. У меня грязные сапоги, ружья, со мной собаки — не лезть же мне на бархатные диваны — и я сажусь на черную половину, хотя я и сельский начальник. А вот если бы Бакланов с молодой женой вздумали поехать в Петербург или Москву, он, вероятно, побаловал бы ее и взял бы место на чистой половине. Рабочий, который едет на работу, садится в колымаги черной половины, и тот же рабочий в праздник, со своей женой или невестой едут к родным в колымаге чистой половины. Это не классовое различие, пожелание дать возможность каждому жить так, как он хочет.

— У нас, в демократических странах, иначе, — сказал Дятлов. — У нас для всех равно: пожалуйста-ка в третий класс. Никаких чистых, господских половин.

— Aber gar nicht* — воскликнул Корнев. — Вы забыли, Дятлов, как в Западной Европе подают IV класс, и в него, как скотину, набивают бедняков всякого звания, главным образом, стариков, женщин и детей.

III

На путях мелодично ударил звонок. Двери на перрон открылись, и старый сторож с искусственной ногой, в медалях и крестах на черном зипуне, деревянным басом произнес:

— На Остров, Псков, Гатчину, Санкт-Петербург — почтовый поезд.

На перрон прошел бравый молодец лет пятидесяти, усатый, крепкий, отлично выправленный, могуче сложенный. Он был в темно-синем, крытом сукном, полушубке с красным витым аксельбантом, с алыми погонами и в мягкой красной суконной шапке, отороченной черным каракулем. Сапоги скрипели на его ногах, шпоры звонко звенели. На боку висела сабля и револьвер особой системы.

«Вот он, жандарм», — подумал Дятлов, и какие-то мурашки неприятно пробежали по его спине.

Перрон был очищен от снега. На деревянном, гладко оструганном помосте было густо посыпано красно-желтым песком. Три пути убегали вдаль. Два обыкновенных, третий с особенными, какими-то более тонкими и как будто хрупкими рельсами. Несколько красных товарных вагонов стояло на дальнем пути.

Вдруг послышался какой-то странный свистящий шум, точно от приближающегося артиллерийского снаряда.

— Смотрите! смотрите! — испуганно сказала Эльза, хватая Корнева за рукав его шубки.

Справа, сверкая яркими фонарями, страшно быстро по снежной пустыне неслось что-то, напоминавшее какого-то сказочного чешуйчатого змея. Широко распластались по сторонам беловатые крылья, похожие на крылья аэроплана, стука колес, шума пропеллера не было слышно. Странный крылатый поезд, не похожий на западноевропейские поезда, как бы летел над рельсами. Чуть звякнули метал-

* Но совсем нет (нем.).

лом колеса, вдруг сразу крылья паровоза и вагонов поднялись вверх и сложились, как крылья бабочки, и на каждом четко стал виден написанный красками большой государственный двуглавый орел. Вагон за вагоном мягко подкатывались к перрону. Первым прокатил громадный, ярко освещенный почтовый вагон. В окно были видны люди в черных зипунах с желтыми выпушками, торопливо разбиравшие почтовые посылки и письма. За ним катил багажный вагон, дальше два громадных темно-зеленых, с заиндевевшими, запорошенными снегом боками третьих класса, темно-желтый второй, синий первый, опять второй, и дальше шли третьи. Поезд был небольшой, считая с товарными, всего девять вагонов, но вагоны были громадные, четырехосные, и на крыше каждого было по три пары обширных заостренных крыльев, а спереди — тонкие заиндевевшие пропеллеры.

Стольников вошел вместе со своими гостями в вагон. Бравый проводник остановил у входа, отобрал билеты и показал отделения. В коридоре было светло, в отделениях над лампочками была приспущена темно-синяя тафта, и в мутном свете виднелись чисто постланные постели.

— Зачем над вагонами крылья? — спросила Стольникова Эльза.

— Наши почтовые поезда ходят по 190-200 верст в час. При такой скорости никакие колеса, никакие рельсы выдержать не могут, вот и придуманы крылья и воздушные винты, которые большую часть тяжести вагона берут на воздух, и вагон не идет по рельсам, а лишь слегка касается их. Это недавнее русское изобретение морского воеводы Кононова. Расстояния у нас громадные, население редкое, если бы не было быстрого сообщения, жить было бы трудно... Ну, храни вас Бог. Сейчас поезд трогается.

Стольников перекрестил всех, поцеловался с Корневым и Дятловым. Эльза сама кинулась ему на шею и поцеловала его в щеку.

— Благодарю, благодарю вас, — прошептала она, смутившись своей выходки.

«Динь-динь-динь», — меланхолично в ночной тиши прозвонил автоматический звонок. Человек в красной шапке поднял руку, и Корнев, стоявший с Эльзой у окна, не заметил, как тронулся поезд. Мимо поплыли окна станции, Стольников махал им шапкой, слабо звякнули колеса на стыке, ход стал быстрее, над головами мягко зашуршали, упавая, крылья, и сейчас же движение вагона стало такое плавное, что трудно было поверить, что поезд идет. В окно не было ничего видно, темная ночь мутной ватой затянула стекло. Корнев проводил Эльзу до двери, на которой было написано: «Женское отделение»,

и вошел в свое купе. Обе верхние постели были заняты, на одной из нижних раздевался Дятлов.

Корнев сел на свою.

Неотвязная мысль преследовала его. Зачем он был нужен Радости Михайловне? Что хотела показать она, трижды появляясь ему в разных местах Германии, чего ждет она от него?

В вагоне была тишина. Наверху кто-то залиvisto храпел, Дятлов тихо ругался, что курить запрещено. Вагон неся, и нельзя было ощутить его движения. Изредка чуть качнет его, звякнет что-то внизу, и опять ни стука. Вдруг металлически звякнуло внизу, и зажурчали колеса, застукали по стыкам и остановились. Сквозь спущенную занавесь стал чувствоваться на окне яркий свет, побежали тени. Чей-то хриплый, утренний голос проговорил за окном:

— Остров! Десять минут остановки!

По ногам потянуло холодком. Открыли наружную дверь, кто-то входил с вещами в вагон. Топотали ногами. Проводник сказал рядом:

— Шестое отделение, а барыня — пожалуйста в женское, там одна койка свободная.

— Паша, — говорил чей-то женский голос, — дай мне мою кошелку...

— Сейчас, матушка, вот носильщика отпущу.

— Все ли вещи, Паша? Ты пересчитал?

— Не извольте сумлеваться, сударыня, все шестнадцать, все уложил. Сундучки, вот они оба на сетке, тут сохранены будут, увязочка большая пока на диване положена, кошелочки я сюда подкинул, узелочек один тут, другой там, а три на сундуке. Корзина с яблоками в проходе постоит, здесь она никому мешать не будет. Носильщик поблагодарил кого-то и ушел. Холод перестал тянуть, снизу поддало жаром: пустили отопление. Рядом господин с дамой шептались. Корнев не слышал, как тронулся поезд. Он спал.

IV

Корнев проснулся от того, что проводник открыл ключом дверь и сказал:

Господа, вставайте. К Санкт-Петербургу подходим.

Над Дятловым кто-то быстро заворочался в одеяле, отдернул рукой тафту, затягивавшую лампочку, и посмотрел на часы. Лохматая голова со скомканной смятой черной бородой мутными глазами осмотрела Корневу. Обладатель ее пробормотал:

— Да, половина восьмого уже. Здорово я хватил хра-повицкого. От самого Киева не просыпался. Он толкнул своего соседа.

— Вставай, Николай Савельич. К Питеру подходим. Важно я поспал...

— Сейчас, — промычал его сосед и вылез из под одеяла.

— Хо-о-лод с-со-бачий, — потягиваясь, сказал он. — Хорошо шли. Без опоздания.

— Ну, это только ваши, украинские, опаздывают, юго-западные всегда в точку потратят.

— Ну-ну! Наши украинские. Все одинако — императорские.

Коренев оделся и вышел. За окнами было все так же темно. Лампы ярко горели в коридоре. Против двери стояли большие плетеные ивовые корзины, и резко, духовито пахло свежими яблоками. Полная дама с игриво выбежавшими из-под тонкой желтоватой косынки на помятое красивое лицо локонами, в небрежной кружевной распашонке прошла мимо, оставив за собой тонкий аромат каких-то не знакомых Кореневу духов. Эльза вышла одетая, в кокетливой русской меховой шапочке и теплом коричневом шугайчике на лисьем меху — подарок Столь-никовых. Ее свежее лицо ласково улыбалось Кореневу. Она стала рядом с Корневым и взяла его под руку. Погасли лампочки в коридоре, и стало как будто холоднее. Ночь не ночь, рассвет не рассвет были за окном. Было продолжение ночи, но не начало дня. Поезд шел, вероятно, со сложенными крыльями, потому что чуть встряхивался на рельсах. Мимо мелькали поля, пересекали широкую, совершенно пустую дорогу, обсаженную разлатыми черными ивами, прошли мимо березовой рощи, в глубине которой стоял темный одинокий дом, показались густо растущие деревья и кусты за каменной оградой, среди них стояли каменные кресты и памятники. Кое-где чуть светилась пестрой точкой лампадка. И вот он показался, освещенный огнями вокзал, люди в белых передниках выстраивались вдоль вагонов. Жандарм неподвижно стоял впереди. Коренев пошел к выходу.

— Вам где желательно выходить? — спросил его проводник.

— Нам на Николаевском вокзале, — сказал Коренев.

— Обождите маленько. Следующая остановка. Это Варшавский стан.

Интересная дама, одетая в длинную шубу с собольим широким воротником, прошла мимо и ласково оглянула Кореневу. Сзади нее в шубе и высокой шапке шел ее кавалер. Носильщик выносил вещи. Гулко под стеклянным навесом раздавались голоса. Кто-то обнимался, дети прыгали, офицер вел на цепочке прекрасную борзую, шли

мужики с котомками. Бегом провезли большую желтую тележку, нагруженную верхом пакетами и посылками.

Жандарм поднял руку. Люди отошли от вагонов. Поезд пошел назад, из-под колпака вокзала.

Шли вдоль канала. На него выходила широкая улица с бульваром посередине, с края ее стояла за каменной оградой среди широкой площади старая розово-белая церковь. На улице было пусто. Ехали вереницы саней с койками со снегом. Лошади были некрупные, почти все серые, очень красивые, с широкими выпуклыми грудями, волнистыми гривами и хвостами. На всех были тяжелые синие дуги с золотыми разводами, черная ременная сбруя была усеяна золотыми бляхами. Мужики у домов в туманной дымке скребли скребками и сыпали песок на тротуары. Фонари еще горели на улицах.

Потом пошли дворы, штабеля дров и каменного угля, доски под навесами и опять вокзал.

Клейст встретил их.

— Ну, как я рад! — говорил он. — Бакланов женился? И отлично сделал. Я вам две комнаты рядом приготовил. Забирайте ваши чемоданчики. Мы пешком дойдем.

— Много интересного, господин доктор? — спросила Эльза.

— Очень... очень... И для Германии важно. Сегодня у меня аудиенция у военного министра. На днях я буду принят Его Величеством в совете министров и с чрезвычайными полномочиями отправлюсь в Берлин.

— Здесь монархия? Действительно монархия? — спросил Дятлов.

— Абсолютная, — ответил Клейст. — Но какая свобода! Какой государственный ум! Какой размах! Понимание дела. Истинно русская широкая натура.

— А царь? — спросил Дятлов.

— Земной бог. Царь и патриарх — все.

— Воображаю, — сказал Дятлов и пугливо покосился на жандарма.

— А что мисс Креггс? — спросила Эльза.

— Совсем, бедная, с ног сбилась со своей благотворительностью. Тут бедных, нищих нет. Все разобраны. Кто по родным, кто по церковным приходам, кто по монастырям. Священник здесь — все. Какие храмы! Какая служба! Я был в Исаакиевском, в Казанском соборах, но прекраснее всех Собор миллиона мучеников на углу Гороховой и Адмиралтейской. Это нечто чрезвычайное по великолепию. Каждый человек имеет своего духовного отца, и, конечно, никакая благотворительность, никакая общественность не может с ни-

ми конкурировать. Наши союзы — это ерунда... А какие магазины, лавки, товары!.. Как едят...

— Благорастворение воздушных и изобилие плодов земных? — с иронией сказал Дятлов.

— Именно, именно, — не замечая иронии, оживленно сказал Клейст. — Ну вот, мы и пришли.

Они обогнули большой памятник. На громадном коне, упрямо нагнувшем тупую голову, сидел тяжелый, грузный человек в маленькой круглой шапке. Он спокойно и важно, упорно смотрел на восток. Памятник казался белым и бархатным от инея. Кругом росли кусты, большинство было укутано рогожами, некоторые заключены в деревянные футляры. Железная ограда окружала цветник. Старик в стальном шелоде, старинном бахтерце из стальных плиток и цепочек, надетом поверх сермяги, с саблей и ружьем медленно ходил вдоль цветника. На груди у него была колодка с черно-желтым ленточками и золотыми и серебряными крестами.

По ту сторону памятника стояли желтые с синими разводами вагоны трамвая. За ними было широкое крыльцо высокого белого дома. На доме золотыми большими буквами было написано: «Северная гостиница торгового дома Соловьева с сыновьями».

В просторном Hall'e* горела большая электрическая лампа. Пять человек в красных рубашках и синих портах чистили ковры. Одиноким ветеран в длинном кафтане, расшитом по груди широкими желтыми лентами с кисточками, вызвал мальчика в белой рубашке и приказал провести в 15-й и 16-й номера.

V

Корнев стоял у большого окна своего номера и смотрел на улицу. Он мог так простоять целый день. У стола Эльза суетилась, заваривая чай, Дятлов, сидя рядом в кресле, курил. Клейст, проводив приезжих до комнаты и заказав им чай, ушел. Он торопился. У него были дела.

Комната была угловая. Прямо напротив, за высокой железной решеткой с золотыми украшениями, на возвышении среди больших раскидистых лип стоял пятиглавый белый храм. Купола — один большой посередине, четыре поменьше по углам — были густо-синего цвета и покрыты золотыми звездами. На них притаился островами

снег, и его белизна еще более оттеняла синеву куполов и золото звезд. За собором были большие, пятиэтажные дома. На улице мутными желтыми шарами посередине и по краям еще горели фонари. Вдоль домов росли деревья. Посередине шел трамвай. По обеим сторонам трамвая далеко уходили ровные снежные дороги. Перспектива широкой улицы утопала в дымке не окончившейся ночи, не наступившего дня. Влево шла такая же широкая улица с бульваром красивых, в серебряном инее, деревьев.

Огни на улице погасали, стало светлее. Желтая полоска, предвещающая восход, загорелась за вокзалом с серой башней и большими круглыми часами. Стали яснее видны дома, широкие тротуары, стали зажигаться огнями большие окна магазинов.

По тротуарам шли мальчики в серых зипунчиках, в высоких цветных сапожках, в меховых шапках. За спинами их были ранцы, крытые тюленем, папки, линейки под мышкой. Шли девочки в шубках, из-под которых мотались синие, темно-зеленые или коричневые юбки и видны были ножки, обутые в маленькие боты. Они тоже несли книжки и сумочки. Одни шли степенно, другие бежали по улице, кидались снежками, гонялись друг за другом. Проехало несколько легковых саней. Крупный вороной рысак, часто выбрасывая ноги и распушив трубой хвост, покрытый синей сеткой, промчался, обгоняя извозчиков.

В санях сидел юноша в бобровой шапке с белым острым верхом и бледно-голубой шубке. Белый башлык с кистью мотался за его плечами.

Улица с такими же домами, как в Берлине, была ярче, пестрее своим народом.

За башней вокзала показалось низкое, желтое, круглое солнце, такое неяркое, что на него можно было смотреть.

Улица опустела, и на всем ее протяжении, теперь видном до самого конца, до какого-то причудливого здания с золотым куполом и длинным шпилем с золотым корабликом наверху, видны были только редкие прохожие. Но через час она снова наполнилась народом. Появились мамушки в голубых, бледно-розовых и белых шубках, расшитых золотом и мехами, появились барыни в красивых, мехом отделанных шубках, в кокошниках, шапочках, убранных золотом, жемчугами, самоцветными камнями, и с ними шли дети всех возрастов — от нескольких месяцев до десяти лет. Сколько было детей! Белые, как Снегурки, в заячьем или горностаевом меху, в белом ба-ранчике, серенькие эскимоски, одетые в белку, бледно-зеленые, синие, голубые, розовые, серовато-серебряные дети

* Холл (англ.)

шли, ехали в ручных саночках, плелись целыми вереницами, держались друг за дружку ручонками, шли парами, редко поодиночке. Они несли прозрачные, круглые красные и синие шары на нитках, несли кукол, тащили деревянных лошадей, шли куда-то дышать свежим морозным воздухом. Их сопровождали мохнатые белые лайки, длинные серо-белые борзые, пестрые веселые собачки неопределенной породы. Веселое верещание детей, лай собак, говор женщин наполнили улицу так, что и сквозь стекла было слышно.

А в одиннадцать было опять пусто на улицах.

— Да пейте ваш чай, — говорила Эльза. — Будет вам смотреть. Насмотритесь.

— Не могу, фрейлейн Эльза, — отвечал Коренев. — Так бьется сердце. Ведь это родное мне. Это мое! Русское! Это Санкт-Петербург, где родились, учились и служили мой отец, дед, прадед...

— Зоологические понятия, — ворчал сквозь зубы, затягиваясь папиросой, Дятлов. — Экая ерунда! Не все одно — Берлин, Санкт-Петербург, Нью-Йорк...

В половине двенадцатого за окном раздались бодрые звуки военной музыки. Из-за церкви на широкую улицу, мерно покачиваясь, вышел большой хор музыкантов, за ними шло человек шестьдесят солдат. Они были одеты в черные мягкие шапки, отороченные темным мехом, серые длинные полушубки с красными погонами и черными воротниками. За их спинами были ранцы. Они несли на плече ружья. Впереди несли длинную белую палку с обрывками материи, с большим серебряным орлом на ней и длинными желтыми и черными лентами. Прохожие, извозчики, стоявшие у тротуаров, снимали шапки и крестились, а рота солдат, твердо шагая, удалялась вдоль главной улицы.

Около часа опять, уже назад, шли дети с мамками и няньками, с собаками-игрушками, потом снова школьники, школьницы, и около трех широкая улица стала наполняться пестрой, густой толпой народа, больше стало извозчиков, чаще стали проезжать сани, запряженные где одним рысаком, где парой, где тройкой. Звенели бубенцы, гудели трамваи, солнце, незаметно переместившееся на другой конец города, бросало косые лучи на пеструю линию домов и на людей, толпившихся вдоль них. Правая сторона улицы была переполнена, левая была менее многолюдна.

В номер к Кореневу постучали.

— Herein!* — крикнул Дятлов.

— Войдите, — сказала, смеясь, Эльза. Вошел юноша лет восемнадцати, веселый, улыбающийся, здоровый, румяный. На бровях и над верхней губой, где такие же нежные, как брови, намечались усы, осел серебряный крепкий иней, большие серые глаза смотрели приветливо, весело, дружелюбно. На нем был белый меховой кафтан, обшитый по воротнику, борту и рукавам серым мехом, с алыми, золотом обшитыми, погонами, большой кривой нож торчал спереди в золотой оправе. Он скинул с головы алую шапку, отороченную серым мехом, с крестом на ней, щелкнул желтыми сапожками с кисточками и, кланяясь, сказал:

— Позвольте представиться: Школы боярских детей прапорщик Николай Демидов. Меня дядя Павел Стольников, котловский сельский начальник, прислал, не могу ли вам быть чем полезен? Нина Николаевна — родная сестра моего батюшки.

Все перезнакомились.

— Хотите, — говорил прапорщик Демидов, — совершим пешком прогулку по Невскому и по Морской — это зимой самое любимое развлечение, заглянем на набережную и оттуда на тройке на острова. Заедем к Яру, бывшему Фелисьену, там отобедаем, вечером я имею для вас ложу в Александрийский театр — дают новую драму Владимира Воронова «Во имя Бога и родины». Артистка Мирце-ва бесподобна в роли Марии Николаевны.

— Патриотическая драма? — поднимая одну бровь выше другой, сказал Дятлов. Демидов не понял его.

— Дивная драма. Эпоха Петра Великого. Постановка, игра — бесподобны.

— Я, кажется, не пойду, — протянул Дятлов, — что-то не хочется.

— Дело ваше, Дятлов, — проворно сказал Коренев, — мы пойдем. Очень, очень вам благодарны.

— Какой милый ваш дядя, — сказала Эльза.

— Помилуйте, — простодушно сказал румяный юноша. — Он даже деньгами меня снабдил, чтобы принять вас как следует. И пока не устроитесь, каждый день, после трех, я в вашем распоряжении. Это наш долг — помочь таким одиноким, как вы. Да, погодите, господин Коренев, мама, кажется, вам родню уже нашла. Вы завтра у нас обедаете, так сговоримся.

Эльза подала Кореневу шубку, чтобы он помог ей одеться. Все, и Дятлов, вышли на улицу.

* Войдите! (нем.).

Клейст взял трамвай \ 4 тут же, у самой гостиницы. За эти два месяца он отлично изучил Санкт-Петербург. После громадного Берлина, насчитывавшего к 19.. году семь миллионов жителей, грязного, кишасщего людьми и пороком, небольшой, очень чисто содержанный Петербург с его прямыми улицами, показался ему простым и маленьким.

В нем в 19.. году насчитывалось меньше миллиона жителей. Многие дома, разрушенные и сожженные во время бунта, за нерозыском владельцев, исчезнувших за границей, не возобновлялись, места были расчищены и обращены в превосходные сады и цветники. Все Марсо-во поле было обращено в парк, который сливался с Летним и Михайловским садами, захватывал скверы на Липовой аллее так, что Инженерный замок был окружен парком, перебрасывался через Фонтанку, обтекал здание Соляного городка и отдельными аллеями сливался с садами, возникшими на месте дома предварительного заключения, здания судебных установлений и доходил до Таврического сада. Это был парк, показавшийся Клейсту несколько меньшим, чем берлинский Тиргартен, но прекрасно содержанным, тихим, тенистым, полным красивых прудов, речек, павильонов и памятников. Обширные детские площадки гимнастики, спортивные городки привлекали сюда все детское население города. Троицким мостом этот громадный сад, носивший название Летнего, сливался с Александровским парком, далее — с громадными парками островов. Петербург позеленел и помолодел. По всем улицам были посажены деревья, мостовые сделаны по-английскому, лондонскому, способу и представляли плотно убитое шоссе. Повсюду были верховые дорожки. Императоры — и покойный, и царствующий — были любителями верховой езды, и верховая езда была самым модным спортом. На Неве в летнее время было множество парусных, гребных и моторных лодок: водной спорт процветал.

Что поразило Клейста — это отсутствие кооперативов, акционерных компаний и банков. Вместо этого были единоличные или, вернее, семейные «торговые дома», были «артели», всех субсидировал, всем помогал Государственный банк, имевший отделения не только в городах, но и в селах, и в деревнях. Всюду, где была почтовая контора, производились и банковые операции. Клейст, которого живо интересовало это молодое государство, так сильно качнувшееся от социализма к абсолютизму, расспрашивал купца, у которого каждый день

покупал закуски и пряники, которыми любил себя баловать к чаю. Купец, с виду простой мужик лет шестидесяти, благообразный, сытый и довольный, сказал ему:

— Это точно, и у нас кооперативами увлекались. Только ни к чему это вышло. Народа много, народ пришлый, толку мало. Знатоков нет. Он возьмется, к примеру, лавку устроить, где, когда купить, как улучшить, и не знает. Чужое им дело. Купеческое дело купца требует, в кооперацию лезли все, кому лень другим делом заниматься. К примеру, наше дело как пошло. Еще при императоре Александре I Павловиче мой пра-пра-прадед при Гатчинском полку апельсинами и сыром вразнос торговал. Нажил деньжонок и лавку открыл вот на этом самом месте. И с той поры от отца к сыну и пошло. Это наша гордость, чтобы все хорошо было, это родовая гордость, кооперация разве к сыну пойдет? Там все одно как чиновник.

Поразило Клейста и другое: это малое количество чиновников. Министерства или разряды были пусты. В громадных залах с восстановленными портретами, паркетными полами и солидной, несколько холодной мебелью александровского стиля ходили и сидели дьяки и подьячие, но их было очень мало. Все, как узнал Клейст, решалось на местах, все контролировалось особыми поверочными отрядами «ближних бояр», составлявшими государю доклады о виденном. Судили о жизни по самой жизни. Люди сыты, хорошо одеты, болезней нет, чистота, довольство, просвещение — и ладно. Гладили по головке воеводу. Всюду проводилась одна мысль: в здоровом теле — здоровый дух. Да и дела, по существу, кончались в Петроградском воеводстве петроградским воеводой, на Украине — гетманом правобережной и левобережной Украины, на Дону — донским атаманом, на Кубани — кубанским атаманом, на Кавказе — советом горских народов, возглавляемым наместником, и т.д. Имперские отделы давали только тон всему, сводили сметы расходов и доходов, уравнивали их, получали средства на содержание Двора, высших школ, войска и высшего духовенства, — все остальное решалось на местах. Бумага ненавиделась и презиравалась. Клейсту было предложено прочитать лекции о Западной Европе вообще и о Германии в частности в высшей школе. Ему сказал об этом как-то за чаем химик Берендеев:

— Карл Федорович, управляющий ученым разрядом, думный дьяк Ахлестышев, будет просить у вас об одолжении: познакомить нашу молодежь с государственным устройством Запада, с жизнью народа в Германии. Имеете ли что против этого? Каждая лекция вам, конечно, будет оплачена.

Клейст сказал, что он считает себя обязанным сделать это и безвозмездно, потому что и так он слишком многим пользовался от государства.

— Ну вот и отлично, — сказал Берендеев. В тот же вечер Клейста вызвали к телефону. В небольшой рамке с матовым стеклом, висевшей над трубкой, отразился старый, лысый человек, с бородкой клинышком, живыми черными глазами, стоявший с трубкой в руке в ожидании Клейста. Едва Клейст подошел, он приложил трубку ко рту.

— Доктор медицины и философии Берлинского университета Клейст? — спросил старик мягким голосом. Клейст представился.

— С вами говорит думный дьяк разряда народного просвещения Иван Павлович Ахлестышев. Очень приятно познакомиться. Мне Берендеев передал, что вы изъявили согласие обогатить наши знания своей просвещенной лекцией. Переговорим о программе у меня. Вы не откажете мне отобедать у меня завтра ровно в шесть?

Клейст поблагодарил.

— Отлично. Без десяти минут шесть мой рысак будет у подъезда вашей гостиницы.

Клейст составил программу. Программа была одобрена.

— Ничего не скрывайте, — ласково говорил ему старичок, — и о политических партиях подробно, и о столкновениях в Лустгартене, и о демонстрациях, и о красных знаменах — все... Мы теперь этой заразы не боимся. Я сам когда-то левым эсером был, на Марусю Спиридонову молился, с красным флагом по Ямской-Тверской шатался, большевиком был, «Карле-Марле» памятники ставил, а пошел как-то по Москве, поглядел на Кремлевские стены, снарядами разбитые, на Ивана Великого обезображенного, понял, что никогда не услышу меланхоличного перезвона часов на Спасской башне, и понял я, что я русский. .. И тогда и «Карлу-Марлу» побоку, и в старом стал искать спасения.

Старичок помолчал немного.

— По моему настоянию и часы на Спасской башне исправили. Приеду в Москву — непременно хожу слушать их игру. А как увижу в печати ли, в рукописи букву «ять», — смеясь, договорил старичок, — так сердцу радостно станет. Жива, матушка! И точно символом стала она для нас старой святой Руси.

Аудитория была полна. При входе Клейста все студенты, их было человек триста, встали. Клейст сконфузился и замахал руками, чтобы сели.

Лекцию его слушали внимательно. Большинство записывало. По

окончании лекции Клейст спросил, не имеет ли кто возразить что-нибудь.

Студенты молчали. Наконец сзади раздался чей-то бас.

— Премного довольны. Спасибо за повествование. У нас за государем императором, однако, премного лучше.

Клейст прочел двенадцать лекций. Последняя лекция была беседой. Студенты привыкли к нему.

— Как же, — спрашивали они, — идет народ на улицы с красными знаменами, поет «Интернационал». Неужели им самим не стыдно? В конце двадцатого века! Такая отсталость!

Их поражало отсутствие семьи, уничтожение влияния матери и отца, поражала частая смена власти и глав семейства.

— Наш Ахлестышев, почитай, двадцатый год разрядом правит. Собаку съел на своем деле. На испытание приедет — насквозь ученика видит. Да... вот вам и Европа! Хорошо, что мы чертополохом от нее отгородились.

На другой день после последней лекции к Клейсту пришел посыльный от разряда. Ему принесли благодарственное, от руки написанное, письмо Ахлестышева, и рассылный вынул из кожаной сумки тридцать шесть золотых империялов и попросил расписаться в книге. По той стоимости жизни в Санкт-Петербурге, которая была, это было целое состояние.

Все это вспоминал теперь ясным солнечным ноябрьским днем, едучи в трамвае, Клейст и думал: «Удивительное, удивительное государство».

На углу Невского и Литейной он вышел. У него была пересадка. На перекрестке стоял бравый хожалый в черном зипуне с оранжевыми выпушками. На боку у него была большая кожаная сумка с выжженным на крышке гербом Петербурга. Клейст знал, что в сумке лежат адрес-календарь Петербурга и план. Он не раз пользовался услугами «хожалых» при разыскании людей, которых ему надо было повидать... Сбоку была сабля. Клейст знал, что городская стража были самыми уважаемыми людьми. Это были бескорыстные, верные стражи порядка и свободы. Здесь понимали, что появление нестройно орущих толп с красными знаменами не есть свобода, но, напротив, насилие над свободой, и борцам против насилия сочувствовали.

Клейст сел в трамвай № 17, шедший от Финляндского стана к Балтийскому. Он доехал до угла Забалканско-го и Загородного проспектов и здесь слез против школы заводских десятников. Он перешел по снежной площади наискосок и прошел в широкие ворота.

«А любят русские поддерживать старину», — подумал он, глядя на большое, кубической формы, розоватое здание, стоявшее в глубине двора, где росли громадные липы. На здании сохранилась старая синяя вывеска с широкими золотыми буквами: «Пробирная палата». Это была лаборатория русского химика Берендеева.

— Пожалуйте, — сказал Клейсту старик-солдат, снимая с него шубу. — Дмитрий Иванович уже прошли к себе.

VII

Берендеев, высокий плотный старик с косматой гривой волос, ниспадавшей на воротник, с большой, небрежно расчесанной, неровной бородой, с крупным русским носом, острыми серыми глазами, глядевшими из-под кустов растущих бровей, в черном длинном глухом чекме-не и в высоких мягких кавказских чукьяках, разговаривал с молодым помощником, в русой бородке, с живыми смеющимися глазами, державшим перед ним большую колбу с мутной жидкостью.

— Ей-Богу, ничего, Дмитрий Иванович, всю ночь протомился, — говорил лаборант.

— А вы не божитесь, Степан Федорович, — сказал старик и поздоровался с Клейстом. — Богу-то молились?

— Молился, Дмитрий Иванович, — сказал лаборант.

— Святого Пантелеймона-целителя призывали?

— Призывал.

— Ну, что-нибудь да не так, — ворчливо сказал Берендеев. — Должно выйти. Он обратился к Клейсту.

— Вот видите, занят я отысканием нового элемента. Мы дополнили таблицу Менделеева. После радия и гелия уже открыты лидий, полоний, верий, голий, северий и гладий. Все очень важные. Я считаю, что эта мутная жидкость должна распасться на два элемента: гладий и еще какой-то, которого я ищу второй год и свойства которого будут драгоценны для нас, потому что он будет давать нам воду там, где мы захотим и где только есть кислород и водород. Для нас это очень важно. Вы, конечно, знаете, что после занятия нами Кульджи в 19.. году мы пересекли течение рек Текеса и Кунгеса — источников Или — поперечным рвом и обратили всю обширную пустыню между Кунгей-Алатау и Терской-Алатау в громадный фруктовый сад, перед которым Калифорния с ее знаменитыми фруктами — малютка. В нынешнем году Китай уступает нам пустыню Гоби. Вы понимаете, какое

значение имеет это открытие? Мы обратим пустыню в тучные нивы — тогда можно будет подумать о снятии чертополоха.

— Вы хотите завязать сношения с Западной Европой? — спросил Клейст.

— Мы хотим помочь ей кормиться, дать ей возможность жить, — сказал Берендеев.

— Отчего же вы раньше не делали этого? — спросил Клейст. — Сколько жизней вы сохранили бы!

Берендеев долго и как-то печально и укоризненно смотрел на Клейста, наконец, он тихо сказал:

— А вспомните, Карл Федорович, что делала Европа, когда над русским народом измывался III Интернационал? Вспомните вашего посланника графа Брокдофа-Ран-цау и Штреземана, вашего министра иностранных дел! О, сколько зла они сделали России, вот теперешней нашей России, когда они поддерживали большевиков! Вы знаете, Германия, Англия и Франция, а последние дни нашей скорби и Америка, сделали так много зла России и русским, что ненависть к иностранцам стала у нас обычным явлением. То, что вы называете «ксенофобией», охватило все слои населения, и не мы в этом виноваты. Лишь долгим христианским воспитанием нам удастся уничтожить понемногу ненависть к тем, кто так унижал русский народ, и особенно к вам, немцам, и полякам, так много сделавшим зла России в те ужасные годы коммунизма.

— Почему вы только теперь подумали завязать сношения с Европой?

— Потому, что только теперь мы достаточно сильны для этого.

Клейст вопросительно посмотрел на Берендеева.

— Теперь у нас укоренилась всемогущая, всесовершенная вера христианская, мы нашли свое государственное устройство, которое пристало нашему народу и отвечает учению Христа, — нам ничего не надо: мы все имеем свое, мы имеем прекрасную армию — подробности военного нашего дела вам сегодня расскажет воевода военного разряда князь Шуйский... Мы являемся в Европу не бедными родственниками, не учениками и подростками, а благотворителями и учителями.

— Но тогда для чего вам Европа?

— Причины две. Первая: христианская вера обязывает нас — «шедше убо научите все языки», мы должны схватить ваши кровавые руки и сказать вам: «Остановитесь, братья, мир Божий так прекрасен!» Вторая — население наше множится с чрезвычайной быстротой. Наши фабрики и заводы не успевают снабжать народ всем

необходимым. Развивать у себя заводскую промышленность в ущерб сельскому хозяйству не в наших расчетах. Мы хотим провести разделение труда и дать вашим рабочим работать на нас за наш хлеб и другие продукты земли.

— Тогда для чего вам войско? Вы знаете, что демократия всего мира отказалась от войны. Вы знаете, что мы признали Лигу наций и подписали «пакт мира».

— А сколько войн после этого вы вели?! Но на этот вопрос вам ответит Василий Михайлович Шуйский, через час мы будем у него. Кроме того, вам предстоит великое счастье представиться Его Величеству. Это будет на этой же неделе. Вам откроют все... А пока посмотрите. Я думаю, что мой молодой друг не все сделал так, как я указал. Посидите одну минутку. Карл Федорович.

Берендеев отложил в сторону колбу и прошел в маленькую комнату рядом с лабораторией. Сквозь незапертую дверь Клейсту были видны иконы, лампадки и аналой с книгами. Клейст сидел и оглядывал лабораторию с большими окнами, с химической плитой, со склянками, банками, порошками, жидкостями, тиглями, небольшим двигателем, ступками, проводами, штепселями, лампами, экранами — своеобразную комнату химика-практика.

Берендеев вышел из молельни с просветленным лицом. Косой луч солнца бросал свет в кабинет, и Клейсту показалось, что светлое сияние исходит от серебристых волос химика. Молча, сосредоточенно глядя на колбу, он подошел к столу, уселся в кресло и стал осторожно подогревать колбу. Маленький градусник показывал температуру. Пятьдесят, шестьдесят... Химик удалил колбу. Шестьдесят один... — движения руки Берендеева стали очень осторожны. Ртуть едва заметно поднималась. Шестьдесят два... Берендеев мягко отвел руку. Мутная жидкость в колбе стала прекрасно-синего цвета, как самый тонкий раствор медного купороса. Берендеев чуть колыхнул ее. Жидкость стала опускаться ко дну и густеть, и из середины ее выявился небольшой прозрачный белый кристалл правильной формы параллелепипеда.

Лицо у Берендеева сияло.

— Благодарю Тебя, Господи Боже мой! — вдохновенно воскликнул он. — Благодарю Тебя, что явил мне, недостойному рабу Твоему, чудо милости Твоей... — прошептал Берендеев.

Он повернулся к Клейсту. Слезы были на глазах старого химика.

— Божие чудо! — сказала он и вынул кристалл. — Возьмите. Попробуйте. Холоден, как лед, а вынут из теплой колбы! Не бойтесь, лизните. Без вкуса, а приятен. Это тот, кого я так страстно жду

шестой год. Это водий! Мой сын!.. Господи! Господи! За что Ты взыскуешь меня Своими милостями! Степан Федорович, ну давайте теперь эту корзину с песком.

Лаборант пододвинул к химику громадную корзину с совершенно сухим и мелким, как пыль, песком.

— Это, — сказал химик, — песок пустыни Гоби. Он взял едва заметную крупинку кристалла и закопал ее в землю.

Прошло несколько секунд. Песок потемнел пятном. Пятно стало делаться шире и охватило всю корзину. Песок стал влажен.

— Вы понимаете, — сказал торжественно Берендеев, — мы будем сеять воду в пустыне... Этот кристалл — это семена воды. Вы чувствуете, что мое открытие лучше и выше, чем открытие Бертольда Шварца. Это не смерть... а жизнь...

VIII

Клейст с Берендеевым вышли из пробирной палаты. У крыльца их ждал блестящий, отливающий на солнце в синеву, вороной рысак, запряженный в небольшие сани с полостью бурого медведя. Солидный мужик с русской бородой-лопатой, в темно-синем армяке, подпоясанный пестрым кушаком, и в круглой бобровой шапке сидел на облучке.

— Садитесь, Карл Федорович, — сказал Берендеев, отстегивая полость.

Они сели, и рысак, бросая ногами, помчался по снежному простору Забалканского проспекта к Фонтанке.

— Скажите, Дмитрий Иванович, — сказал Клейст, — почему я не вижу совсем в Санкт-Петербурге автомобилей?

— Их не любят, или, как говорите вы, они из моды вышли, — сказал Берендеев. — Нашим отцам и дедам они напоминали жестокие времена большевизма, когда каждый комиссар, каждая любовница коммуниста носились на самоходах. На них возили на пытки и расстрелы, и каждая оставшаяся нам от большевиков машина могла рассказать длинную кровавую повесть. Наши отцы были очень нервны. Да, — со вздохом проговорил Берендеев, — тяжелое наследство досталось в Бозе почившему императору Всеволоду Михайловичу.

— Но автомобиль — это так удобно, — сказал Клейст.

— Почему? — быстро спросил Берендеев, оборачивая свое покрасневшее от мороза лицо к Клейсту.

— Быстро, чисто, спокойно, — сказал Клейст.

— Быстро, но воняет, отравляет воздух нездоровыми газами, и безобразно, потому что неестественно, — ответил Берендеев. — Бог создал лошадей. Бог создал красоту. .. Да, там, где на лошади трудно, где большие расстояния, я бы еще понял самоход. Но там у нас железная дорога и самолеты. Карл Федорович, думный дяк разряда путей сообщения, если хотите, посвятит вас в это подробно, я же скажу коротко, почему покойный Государь пошел по иному пути. Когда вошел он в Москву — Москва, да и вся Россия, смердели трупным запахом. Худые, оборванные люди в рубищах не походили на людей. Это было такое безобразное, страшное зрелище смерти, что содрогнулась его юная душа. Забота была одна: кормить и одеть. Машины лежали разоренные, на последних целых удрали за границу комиссары. Ни керосина, ни бензина. Государь пришел с конной ратью, и он не задумался раздать лошадей для полевых работ и устроить повсюду конные заводы. Бог благословил его труды. В обширных степях, поросших травами, повелась прекрасная лошадь. Уже через четыре года конные полки его вернули лошадей. А мы — верхи, мы — бояре, отмеченные Богом и государем, — полюбили лошадь. Самоходов не производили. Все заводы стали на производство самолетов, и лошадь вытеснила машину. Вы видали наши тройки, пары с пристяжками, дышловые пары? Какая красота, не правда ли? Теперь Хреновский государственный конный завод и конные заводы Воейкова, Мятлева, Остроградского, Ванюкова, Стахеева, Стаховича и многие-многие другие производят рысистых лошадей. Бега — наша любимая забава. Многие крестьяне выращивают дивных рысаков.

— Вы любите лошадь?

— Очень, — сказал Берендеев, любовно заглядывая сбоку на побегу рысака. — Я всю неделю дни и ночи провожу в лаборатории или на уроках. Ночами за тиглями и колбами я сижу в отравленном воздухе опытной палаты. А в воскресенье после обедни любимая моя забава — сесть на бегунки и покататься, правя самому этим дивным животным.

— А у нас, — со вздохом сказал Клейст, — лошадь стала редким зверем, и ее показывают в зоологических садах.

— А что хорошего? — спросил Берендеев.

Клейст промолчал. Они пересекали Сенную площадь.

— Этот рынок, — сказал Берендеев, указывая на громадные здания, сделанные из железа и стекла, украшенные у входа мраморными группами, — я думаю, самый богатый и красивый во всем мире. Здесь вы можете достать все, что производится в Российской империи, и в Российской империи растет и множится все.

— А кофе? — спросил Клейст.

— По южным склонам Алатауских гор на орошенной недавно равнине вот уже двенадцать лет наш знаменитый ботаник и садовод Бекешин, Андрей Николаевич, разводит самые ароматные сорта кофе и какао. Он так сумел их акклиматизировать, что они легко переносят набегающие иногда с гор холодные туманы. Поезжай шагом, — сказал он кучеру. — Успеем. Вот, посмотрите — четыре отдельных здания, полных света, составляют рынок. Это все построено русским зодчим Воронихиным, правнуком знаменитого Воронихина, сыном внучки не менее знаменитого Растрелли. Направо — мясное и рыбное здание, налево — фруктовое и овощное и мучные лабазы. Хотите, зайдём на минутку в рыбное отделение?

Рысак остановился. Клейст и Берендеев вошли по мраморной лестнице в рыночное здание.

Клейст сначала подумал, что он находится в Берлинском аквариуме, но только увеличенном во много раз. Вдоль стен обширного стеклянного здания были устроены открытые сверху стеклянные водоемы, разделенные на клетки. По верху, по настланным доскам, ходили молодцы в белых передниках с сетками и сачками. Кругом толпились женщины — хозяйки и кухарки, с кошелками и мешками.

Маленькие, юркие, желтоватые большеголовые ерши, полосатые, точно тигры, красноперые, с золотыми ободками вокруг глаз, окуни целыми стаями плавали в первом отделении бассейна. Рядом то лежали на песке, между камней и тростника, то тревожно носились, выставляя белое брюхо, зубастые остромордые щуки — от маленьких, порционных, до громадных, в полтора аршина. Серебристые, в красных крапинах форели играли в кипящей от пропускаемого духа воде, рядом серые сиги тихо ходили, открывая и закрывая круглые белые рты. Большие сазаны, карпы, стерляди маленькие и большие, лососи, серебристая кета-рыба, тихо лежащие осетры, юркие золотистые черноморские пузанки, острая кефаль, мягкая скумбрия, большие плоские камбалы, черные угри — все это плавало, вытаскивалось на сетке, доставалось покупателям, сбрасывалось на мраморные столы и убивалось ножами...

Посередине, на громадных синеватых глыбах льда, лежала мороженная рыба. Инеем покрытые судаки были навалены целыми горами, лежала плотва, окуни, снеток, громадная белуга былаа разрезана ломтями. «Торговый дом Баракова», «Братья Грушецкие на Камчатке» — мелькали вывески.

— Какое богатство! Какое богатство! — говорил, идя рядом с Берендеевым в толпе покупателей, Клейст.

Крики продавцов, удары топора, звон гирь о чашки весов его оглушали.

— Сиги копчены! Корюшка копчена! — кричал в самое ухо им молодец у стола, заваленного как бы бронзовыми копчеными рыбами.

Рядом блестящими колоннами были расставлены жестянки с рыбными консервами.

— В Бозе почивший Государь, — кричал на ухо Клей-сту Берендеев, — обратил особое внимание на то, чтобы усилить производительность земли. Наши рыбные и охотничьи законы беспощадны. Стража неподкупна — и вот вам результат. Самый бедный человек может есть в России и рыбу, и мясо. Они дешевы. Вот чем достигнуто равенство — равенство сытости, а не голода.

— Вы казните смертью хищников? — спросил Клейст.

— Нет. Мы посылаем их на тяжелые работы и заставляем их там научиться уважать труд и собственность.

— А что делаете вы с социалистами? — спросил Клейст.

— Их больше нет, — отвечал Берендеев, — они были сосланы на Новую Землю сорок лет тому назад. Их снабдили всеми необходимыми орудиями труда и производства. Он основали там коммунистическую республику. Никто не работал, все только говорили, через три года половина вымерла от цинги вследствие недоедания. Десять лет тому назад разведка, посланная туда, нашла только триста семейств, но они не были коммунистами. Они просили прислать священника, чтобы он проповедовал им истинного Бога. Теперь там сидит воевода, и этот край снабжает Россию недавно открытыми там углем и нефтью.

Берендеев посмотрел на часы.

— Пора, — сказала он. — Когда-нибудь осмотрите все здание этого замечательного рынка... Как подумаешь, сорок лет тому назад здесь торчали обгорелые провисшие балки и груды кирпичей и вся земля была пропитана запахом трупов, умерших от голода, понимаете, от голода умерших людей.

По узкому Демидову переулку они проехали на Мойку, свернули направо на Гороховую и мимо грандиозного, из точеного мрамора со стеклянными куполами, собора, точно мечта северной сказки, повисшего на фоне зеленовато-голубого неба и серебряного инея деревьев Александровского сада, выехали на площадь. Четко горели на соборе слова, славянской вязью написанные: «Чаю воскресения мертвых». Был будень, но у собора толпились люди, они входили в широкие ворота, и там виднелись в сизом сумраке желтые огоньки свечек

и цветные огни лампад. Воскресший Христос, написанный на стекле, казался летящим по воздуху над толпой молельщиков.

— Страшное место пыток, мучений и крови, крови невинной, — сказал Берендеев. — Это вдовы, сестры и дочери... Есть еще и матери тех, кого замучили коммунисты... Здесь каждый день служится зауспокойная обедня, а панихиды не умолкают... Здесь вы можете увидеть и стариков-чекистов. Сорок лет тому назад они пытали здесь людей... Теперь покаются и молятся.

Рысак повернул налево и остановился перед розовато-желтым зданием с античными колоннами. На синей вывеске золотыми буквами значилось: «Военный разряд».

IX

Прием у тысяцкого воеводы, князя Василия Михайловича Шуйского, начальника военного разряда Российской империи, кончался. В обширных сенях, уставленных вешалками, два полковых начальника надевали шубы и пристегивали сбоку украшенные серебром шашки.

— Ничего, Святослав Игоревич, — говорил седобородый, но моложавый на вид человек, надвигая набок меховую шапку с желтым шлыком. — Все образуется. Бог не без милости. Сменит и Он свой гнев на тебя.

Другой, черноусый, с потемневшим лицом, уже одетый, хмуро посмотрел на Берендеева и сказал:

— И чем я виноват, что на пулеметных собак чума напала!

— А много подохло?

— Да почитай, все...

— Ну, Шуйский этого не спустит.

— Так что же делать?

— Просить о милости Государя.

— Эх! — с досадой сказал черноусый. — Ну, был я у праздника!

По лестнице спускался молодой офицер в темно-зеленом казакине с откидными рукавами, в сапогах со шпорами, с белым аксельбантом на плече.

— Боярин Берендеев, — сказал он. — В самый раз подоспели. Я уже шел на дальносказ, хотел шуметь вам. Думал, не забыли ли вы?

— Ну вот, — сказал Берендеев. — Что я? Мальчик, что ли?

Он познакомил молодого офицера с Клейстом.

— Очередной попыхач начальника военного разряда, подъесаул Васильев. Что, много еще народа?

— Только зимовая станица Донского войска и осталась.

В большом зале, в пять громадных окон, выходивших на Александровский сад, со столом, накрытым зеленым сукном, стульями по стенам, портретами государей, стояло семь человек, одетых одинаково в синие простые казакины, в шаровары с алым лампасом. Богато украшенное оружие было на боку у каждого. Четыре были в серебряных эполетах, и трое в темно-синих погонах. Клейсту особенно пригляделось лицо одного. Это был седой как лунь старик. Он был высок и прям. Вот такой, старый, иногда стоит среди поля зимой чертополох-могильник. Он высох, завял, покособился, побежали морщины по его стволу, посерели и стали сухими цветы, а все такой прямой, такой стройный и гордый, простирает он к небу серую чашечку цветов. И ни сломать, ни согнуть его никак. Так и этот старик стоял прямой и стройный, гордо устремив вдаль черные, острые глаза. На груди у него висела колодка, увешанная желтыми, с черными лентами, и золотыми и серебряными крестами и медалями. С ним-то в данную минуту и говорил человек выше среднего роста, одетый в богатый темно-зеленого сукна кафтан, поверх которого был надет стальной бахтерец с вензелем Государя из золота на средней плитке металла. Это и был воевода Шуйский.

— А где, дедушка, получил знаки отличия? — спрашивал Шуйский старого казака, когда Берендеев и Клейст вошли в приемную.

— Вот этот, четвертую степень, покойный государь-батюшка Николай II Александрович, упокой Господи святую душу его мученическую, пожаловал мне за дело у деревни Утайцзы, в японскую войну. В 24-м льготном полку я служил...

Старик говорил, и дыханием какого-то давно прошедшего времени веяло от его тихого почтительного голоса.

— Эту третью степень пожаловали мне за бои под Комаровом с австрийцами, а вторую степень я получил за дело с германской конницей у Незвиски, а первую степень мне пожаловали за конную атаку у Рудки Червище, ваше высокопревосходительство.

— Был ранен?

— Шесть разов был ранен, ваше высокопревосходительство. Ничего... выживал. Бог милостив.

— Двадцать шестого ноября, — сказал Шуйский, поворачиваясь к старшему из казаков, статному полковнику, — в Зимнем дворце будет парад георгиевских кавалеров. Пришлите, атаман, старосту Кобылкина во дворец к 11 часам в распоряжение полковника Ненюкова, на Иорданский подъезд.

Атаман поклонился.

— Царя увидишь, дедушка, — сказал Шуйский, обращаясь к старику.

— Сподоблюсь, ваше высокопревосходительство. Дай Бог ему много лет здравствовать.

— А ты, молодец, откуда? — обратился Шуйский к молодому казаку в погонах темно-синего сукна, пересеченных одной белой нашивкой.

— Приказный 3-го Донского казачьего Ермака Тимофеева полка Шаслов, станицы Старо-Григорьевской, — бойко ответил казак.

— Давно на службе?

— Второй год, ваше высокопревосходительство. Казак так тянул-ся, что капли пота проступили на его загорелом лбу под красивым вихром вьющихся каштановых волос. Шуйскому жалко стало его, и он отошел и, поклонившись всем казакам, сказал:

— Спасибо вам, вашему атаману, донцы, на добром слове... Счастлив был узнать от вас, что тьма донских полков в порядке, что задержки в получении вами всего полагаемого от российской казны у вас нет. Этой осенью я имел удовольствие любоваться 1-м и 2-м большими конными полками вашего войска на потешных боях под Смоленском. Не угасает казачий дух!

— И не угаснет во веки веков! — сказал, наклоня голову, полковник.

— Аминь, — сказал Шуйский. — И все по-прежнему, атаман!

— По-прежнему, воевода: здравствуй царь в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!

— Да, жива Россия своими казаками! — сказал задумчиво воевода. — Ну, до свидания, атаманы-молодцы!

— Счастливо оставаться, ваше высокопревосходительство!

Казаки поклонились и пошли к дверям. Шуйский подошел к Берендееву и Клейсту.

— Господин Клейст? — сказал он.

— Доктор медицины и химии Карл Феодор Иоганн Клейст, профессор Берлинского университета и член рейхстага.

— Слышал о ваших блестящих беседах в нашей высшей школе. Благодарю вас очень... Ну, пойдемте, господа, ко мне в горницу. В моем распоряжении ровно час на беседу с вами. Пожалуйста, господа.

Воевода широким жестом указал им на дверь, около которой неподвижно стоял посыльный в темно-коричневом длинном кафтане, расшитом желтой тесьмой с кистями.

В правом углу кабинета воеводы висела большая, художественно выполненная икона св. Георгия Победоносца, и перед ней в зеленом стекле дремало лампадное пламя.

Письменный стол, заваленный бумагами, картами, стоял против окон, позади стола был кожаный диван, кресла, и на особом мольберте висела карта Российской империи в сороковерстном масштабе.

Клейст, изучивший в Берлине историю и географию России, хорошо знакомый с разделами России по Версальскому миру и с постановлениями Лиги наций, с удивлением заметил, что бледно-зеленая краска, двойной полосой обозначавшая границу империи, не совпадала с линиями Керзона и границами самоопределения народностей. Он заметил, что местами, несколько более бледным тоном краски, были обведены земли, которые, по мнению Клейста, были уже за полосами чертополохов. То черное место, где на европейских картах было красными буквами написано «чума», оказывалось испещренным синими реками, коричневыми горами, зелеными линиями границ воеводств, черными железными дорогами и названиями городов и провинций. Вся громадная земля Евразии жила, как видно, кипучей жизнью и не думала о чуме. На карту были наклеены пестрые бумажные кружки, полукружки и треугольники, и Клейст догадался, что это были обозначены войсковые части, и по их группировке можно было догадаться о некоторых планах России. На севере, за чертополохом, вся Финляндия была обведена бледно-зеленой краской, и написано: «Великое княжество Финляндское». Рядом лежали воеводства Карельское, Обонежское, Поморское, Новоземельское, Печорское, Пермское. Там, где была Латвия, были надписи: «Воеводство Ливонское», с городами Колыванью и Ригой, и «Воеводство Тевтонское», здесь бледно-зеленая краска сходилась с черно-красной, окружавшей Германскую республику. Полоцкое, Витебское, Волыньское и Червонно-Русское воеводства врезались в Польшу, и над ними большими буквами стояла надпись: «Украина», а в скобках — «Земля малороссийских казаков». Буковина и вся Бессарабия были за зеленой краской. На юге зеленая краска захватывала Батум, Трапезунд и Эрзерум. Такие же выступы были и на Дальнем Востоке, где граница темная шла, отступая от моря, а граница бледно-зеленая захватывала всю

Маньчжурию и Монголию и непосредственно граничила с серединами Китая. На пустыне Гоби стояла свежеделанная надпись: «Воеводство Далай-лама».

Шуйский следил за взглядом Клейста и нарочно не мешал ему вглядываться в карту.

— Вы смотрите и удивляетесь нашему нахальству, — сказал он наконец.

— Нет, — сказал Клейст, — но в Европе никогда не думали о том, что Россия, которую мы погребли сорок лет тому назад, не только воскреснет, но и будет питать агрессивные цели.

— Один из великих государей российских, — сказал серьезно Шуйский, — в Бозе почивающий император Николай I Павлович сказал: «Где раз поднят русский флаг, он не должен опускаться». Европа, разрезая на части Российскую империю, выкраивая из нее новые государства, не способные к самостоятельной жизни, не спросила ни законных хозяев земли русской — Романовых, ни русского народа. Она краля достояние российской короны, как крадет вор имущество во время пожара. И украденное должно быть возвращено. Эти куски не так нужны русскому народу, как им самим необходимо приобщиться к великой христианской вере, русской культуре.

— Но как же вы сделаете это? — спросил Клейст. — Значит, опять войны, убийства, пожар и разорение?

— Вот чтобы побеседовать об этом с вами, чтобы через вас передать Западной Европе, что такое Россия, я и пригласил вас, — сказал Шуйский. — Садитесь, Карл Федорович, садитесь, Дмитрий Иванович. Скажите, вы согласны вернуться в Германию?

— Это мое желание, — сказал Клейст.

— Вы можете доложить германскому правительству о виденном?

— Я член рейхстага, и для меня это вполне возможно.

Шуйский подумал немного, как бы желая сосредоточиться, и наконец начал:

— По воле государя императора нынешним летом Россия снимает полосу чертополоховых зарослей, посылает свои корабли за море и предлагает гибнущим в безбожии народам Европы тесное, братское сожительство.

— Я боюсь, — сказал Клейст, — что это невыполнимо. Все государства Европы, вернее, наша демократия, пропитаны ненавистью к императорской власти и классовой борьбой. Я боюсь, что демократия наша потребует, прежде чем сноситься с русским народом, чтобы он сверг царскую власть и перестроился по демократическим принципам.

— Благодарю вас за откровенность, — сказал Шуйский, и искры непоколебимой воли сверкнули в его стальных глазах. — Я предвидел ваш ответ, и, значит, я не напрасно звал вас. Передайте народам

Европы, что Россия — единственное государство в мире, которое имеет настоящую армию. Наша армия — прежде всего школа любви к родине... Вы отказались от армий. Вы видели в военщине, милитаризме, как говорите вы, угрозу завоеваниям революции, но вы упустили то, что армия есть школа духа. Вы платите за отсутствие у вас этой школы полным рублем. Ваша крестьянская и рабочая молодежь разнуздана, она не имеет выдержки, отвыкла от труда, предана порокам. Так ли я говорю?

— Да, это так, — сказал Клейст. — От этого у нас и голо, и наша жизнь скучна.

— Мы восстановили воинскую повинность во всей ее тяжести и... красоте, — сказал Шуйский. — Три года — девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый — наша молодежь проводит под знаменами. Она приучается здесь любить родину, чтить государя, выковывать свою волю и приучаться к непрерывной тяжелой работе и лишениям.

Мы призываем ежегодно триста тысяч лучшей молодежи, и, следовательно, по общегосударственному сполуху мы можем выставить семимиллионную армию. Все ошибки прошлого нами учтены. Постоянное войско наше — на три четверти конница. Наше вооружение так совершенно, что ни один народ мира не может нам сопротивляться. Если бы государю угодно было, менее чем в год Европа была бы покорена.

— Сколько я вижу, вы и хотите это сделать, — сказал Клейст.

— Нет. Мы вернем только украденное у нас.

— Войнами? — спросил Клейст.

— Я думаю, достаточно будет приказать. Прошло то время, когда нами распоряжались, настали дни, когда мы можем диктовать свою волю глупо разоружившейся Европе. .. Я полагаю, нам для этого не придется поднимать по земле русской великого сполуха. Наше постоянное войско сможет выполнить задачу.

— Что же вы хотите, чтобы я передал германскому народу?

— Передайте прежде всего, что преступная по отношению к России политика поддержки коммунистов в России нами... забыта.

Шуйский тяжело вздохнул.

— Да, — сказал он, — то было ужасное время, когда в угоду капиталу немецкий народ в русской крови топил любовь к нему русских людей и старую дружбу! Ну... да что вспоминать!.. Много зла сделала нам близорукая политика ваших Штреземанов и Брокдорфов... Много зла она сделала и вам... Скажите, что Россия желает жить с Германией в мире и тесной дружбе, как жила сотни лет, что

она требует невмешательства в ее внутренние дела, что она сильна, богата и могуча, что она беспредельно предана своему государю. Скажите, что мы христиане и носим любовь в сердце своем, что с этой любовью мы идем к вам... Но скажите, что мы сильны и не мягкотелы и не потерпим ни малейшего надругательства над верой Христовой и русским именем.

Клейст молча наклонил голову.

— Слушаю, — сказал он.

Клейст сочувствовал всему тому, что ему говорил Шуйский, но он боялся, что в Европе его не поймут. Он боялся, что в ответ на его простой рассказ о виденном он услышит дикие крики, упреки в предательстве, измене партии, услышит крики: «Долой царя, пусть русские признают тысячу триста пунктов III Интернационала, пусть выгонят попов и разоружатся!»

«Ведь это надо видеть, как видел я, а иначе? Ну кто поверит, что здесь нет бедных, что здесь равенство не голодного, а сытого».

И было грустно на душе у Клейста.

— На третье декабря, — сказал, вставая и давая тем понять, что аудиенция закончена, Шуйский, — с соизволения его императорского величества вы приглашены на общее заседание разрядных дьяков в Мариинском дворце в присутствии государя императора. Я пришлю к пяти с половиной часам сани.

Клейст поклонился и вышел вместе с Берендеевым из кабинета воеводы.

XI

На двадцать шестое ноября, день святого великомученика и Победоносца Георгия, Клейст, Коренев, Дятлов, Эльза и мисс Креггс получили приглашение от стольного воеводы пожаловать в Зимний дворец на хоры, присутствовать на параде георгиевских кавалеров. За ними приехал и к ним был приставлен в качестве проводника их приятель, прапорщик Демидов.

В половине десятого они были уже во дворце и на хорах обширного Георгиевского зала.

Мутный свет зимнего утра едва проникал в залу и колебался сизыми полосами по углам. Двусветный зал с золотыми стенами и колоннами из прекрасной лапис-лазури был темен, и в нем зажгли громадную, увешанную хрусталями, электрическую люстру.

— На этукую люстру, — сказал Дятлов, разглядывая хрустали, выточенные в форме дубовых листочков с гирляндами, полушаром окутывавшими лампы, — можно целую деревню прокормить.

— Это, — сказал Демидов, — работа Петергофской гранильной фабрики. А камень весь русский. Это хрусталь Уральских гор из Екатеринбурга. Народ зовет его «слезами убиенного святого Императора Николая II».

— А правда, похожи на слезы, — сказала Эльза.

— К чему эта роскошь? Мир хижинам — война дворцам, — сказал Дятлов,

— Мир хижинам и мир дворцам, — ответил Демидов. — И если вы объявите войну дворцам, то война эта неизбежно отзовется на хижинах. Так было всегда. И мы, к несчастью, слишком этому учены.

— Ну для чего это все? Золотые колонны, хрусталь, лапис-лазурь и труд, пот и кровь бедных людей, — сказал с раздражением Дятлов.

— Для народа. На Петергофской фабрике работает и кормится несколько тысяч человек, не способных для работы в поле, целыми поколениями тесавших камень, они создают эту красоту дворцов и храмов для народа.

— Для царей, — поправил Дятлов.

— Нет, для народа. Государь этого не замечает, ему не до этого. А мы любимся этим и видим мощь России в этих дворцах со всем их великолепием. А вот идет и народ.

В соседней зале раздался мерный топот, легкий скрип сапог. Показался барабанщик, за ним шел офицер, дальше солдаты. Черные треугольные шляпы из фетра были надеты на головы с длинными, почти по плечи, в кружок стриженными волосами. Смуглые лица были обриты, и только небольшие черные усы были над верхней губой. Солдаты были молоды, загорелы, сухощавы, красивы той мужской красотой, которую дает постоянная тренировка тела в полях и хорошая пища. Без малого саженого роста, в темно-зеленых длинных, распахнутых у пояса кафтанах с красными отворотами на рукавах и золотыми пуговицами, в высоких ботфортах, у офицеров с большими металлическими щитами под шеей, с винтовками с красными ремнями у ноги солдаты эти прошли в зал и начали выстраиваться в четыре шеренги. Перед ними стало знамя на белом древке, увенчанном двуглавым золотым орлом. Два молодых офицера стали по бокам его.

— Преображенцы, — назвал их Демидов. За ними в таких же кафтанах, но с синим прибором на отворотах входили такие же рослые люди.

— У нас, — говорил Демидов, — в постоянном войске три вида зипунной одежды. Торжественная — того образца, какого была при создании полка, праздничная — старорусского покроя и обыденная — рубаха и штаны летом, полушубок зимой.

— Чего это стоит! — воскликнул Дятлов.

— А чего стоит Россия! Ведь это живая история славы и мощи России, — сказал Демидов. — На этом мы учимся.

Взвод за взводом входила пехота. За ней шли, звеня шпорами, взводы кавалерии, и скоро весь зал уставился небольшими правильными квадратами.

— Как это красиво! Боже мой, как это красиво! — шептала Эльза, не спуская глаз, смотревшая на солдат. — Откуда берут они таких рослых людей? Как неподобно красив русский народ! И смотрите, в каждом полку люди на одно лицо.

— Игра в солдатики! — ворчал Дятлов. Мисс Креггс молчала.

— Может быть, — наконец сказала она, — хоть эти люди нуждаются в носовых платках?

— Да ведь это сказка! — умиленно прошептал Коренев.

— Сказка, Петер, сказка! — вздыхая, сказала Эльза. По середине зала похаживал молодой воевода в Преображенском кафтане.

— Это, — сказал, указывая на него глазами, Демидов, — командующий войсками этой палаты — воевода большого полка, светлейший князь Апраксин.

— Светлейший князь, — фыркнул Дятлов. Апраксин внимательно посмотрел в глубь зала, откуда слышался неровный, торопливый стук ног, и вдруг вытянулся и громко крикнул:

— Дружины... смир... ррна!..

Чуть вздрогнули квадраты войск и замерли.

— Равняйся... — прозвучала команда. Люди обратились в автоматов. Волшебная красота их усилилась.

— Смир...рна! — командовал снова Апраксин и стал лицом к громадной двери, ведущей в соседний зал.

Отлетело телесное, жадное, скверное, осталось душевное, остался тот великий порыв, что создает подвиг. Музыканты Преображенского полка поднесли инструменты к губам.

— От матушки-сырой земли, — звонко командовал Апраксин, — к могучему плечу шара-а-хни!!

Брякнули в дружном приеме ружья, вылетела из ножен сталь палашей, сабель и шашек, и в ту же минуту громовые, бодрые звуки Преображенского марша раздались по залу.

— Этому маршу, — сказал Демидов, — без малого триста лет. С этим маршем связаны у нас воспоминания и о великой славе, и о великой ошибке. Но тот не ошибается, кто ничего не делает.

Странная в этих залах и вместе с тем страшная процессия показалась в дверях.

XII

Медленно и неровно, поддерживая друг друга, шли старики и калеки. Самому молодому в этой процессии было за шестьдесят лет. Худые и тощие, с косматыми белыми бородами, толстые старческой нездоровой полнотой, красные, бритые, лылые и долгогривые, одни выступающие старчески прямо, другие опирающиеся на палки, на костылях, с искусственными ногами, с пустыми рукавами, пристегнутыми к груди, с глазом, перевязанным черной повязкой, с серебряными крышками на черепах — это была коллекция калек и стариков. Были между ними люди красивые стариковской красотой и осанкой, были страшные своими старыми ранами, с обрубленными ушами, с лицами землисто-серыми от газового отравления. Они шли по три. Среди них узнал Клейст и молодца Ко-былкина, которого видел у воеводы военного разряда. Все они были одеты в короткие куртки землистого желто-серого цвета, погоны золотые и серебряные украшали их скромное боевое платье. Тут были и генералы, и полковники, и солдаты в алых, синих и малиновых погонах с желтыми и белыми нашивками. На груди у каждого были ордена. И неизменно каждая колодка начиналась или белым эмалевым, или золотым, или серебряным крестом.

— Идут те, — говорил Демидов, — кто пятьдесят лет тому назад простыми солдатами, юнкерами, редко молодыми офицерами, отстаивал родную землю от нашествия врагов. Каждый год со всей Руси великой съезжаются они на этот парад, на обед у Государя, а вечером на зрелище в театре... И их становится все меньше и меньше... Но страшны их рассказы о годах ужаса и лихолетья. Идет кровавое прошлое России, и мы склоняем перед живыми свидетелями его наши головы.

— А после не было войн? — спросил Клейст.

— Нет. Десять лет были походы для приведения в порядок русской земли и водворения воевод, а потом мир и тишина стали по всей Руси. Довольство и порядок.

— Так зачем же вы держите войско? — воскликнул Дятлов.

Демидов не понял его восклицания. Он с недоумением и сожалением посмотрел на Дятлова, как взрослый смотрит на несмышленного ребенка.

— Потому у нас тишина и порядок, — наконец сказал он, — что мы держим войско.

— Значит, — захлебываясь, воскликнул Дятлов, — ваш знаменитый монархический строй держится силой штыков. Темными закоулочками, где гнездится нищета, паучьими норами, затканными паутиной, выходит истина и бьет, и бьет ваш сытый аристократизм.

Глаза Дятлова стали злыми. Бледное нездоровое лицо его передегивалось.

— Нет, — просто сказал Демидов, не замечая злобы Дятлова. — Несовершенны люди, и не всякий может вместить полностью все величие веры Христовой, и вот, чтобы оградить людей, чистых помыслами, от людей порочных, мы имеем войско и государственную стражу. Нам за ними как за каменной стеной. Дурной человек, зная, что его преступление не может быть не открыто и он неизбежно понесет кару, сдерживается и часто совершенствуется.

— Сажают в тюрьмы?

— У нас тюрем нет. У нас рабочие дома. Лишение свободного труда мы считаем тягчайшим наказанием.

— А если я не захочу работать? — сказал Дятлов,

— Заставят, — сказал Демидов и сказал так, что Дятлов понял, что в Российской империи есть такие люди, которые могут заставить работать, и что тут не поговоришь с ними.

Зала во всю длину заполнилась стариками. Они торопились и не могли идти скорее. Безногие калеки не поспевали. Их прошло уже больше тысячи, а они все шли, музыка гремела старый марш, и невидимый придворный хор певчих сверху мощно пел слова этого марша:

Знают турки нас и шведы,
И про нас известен свет!
На сраженья, на победы
Нас всегда сам царь ведет.

Голоса хора, звуки медных труб, торопливое шарканье ног стариков и недвижно застывшая с поднятыми вверх ружьями молодежь в зале, в котором не чувствовалось мутного света северного ноябрьского дня, но который был залит электричеством, создавали непередаваемое впечатление. Точно мертвецы из могил, точно духи бесплотные из райских селений примчались в эти парадные нежилые

залы, страшные по своим кровавым воспоминаниям, и говорили об ужасе.

Смолкла музыка и сейчас же грянула мягкими, молитвенно-прекрасными звуками. Музыканты заиграли «Коль славен...».

В двери входили певчие в придворных кафтанах, за ними в золотых ризах, тяжелых митрах и шапках, с золотыми посохами медленно, величаво шло духовенство. Блистало золото и камни на ризах, на панаягах, на крестах, седые бороды спускались с темных лиц митрополитов и архиереев, и рядом юноши, прекрасные, как девушки, с завитыми, на плечи спускающимися волосами, с чистым, вдохновенным взглядом и с медленной поступью шли, поддерживая архиереев. Вставал Восток, золотая Византия, и несла под хмурое северное небо на берега Невы зной солнца юга и синий трепет босфорских волн. Было в этом движении православного духовенства что-то величаво-победоносное, и вносил этот ход, над которым реяли тяжелые хоругви, трепет в сердца, а вместе с ним умирительный покой.

Невольно вырвалось у Коренева:

— Чаю воскресения мертвых!

Вся старая Россия с ее великими святителями невидимо входила в зал и в облаках кадильного дыма, в звуках молитвы, играемой музыкантами, в всплесках хора певчих проходила перед молодыми солдатами и подготавливала к прекрасному и святому. Казалось, духи бесплотные, святители русские, Владимир и Ольга, Борис и Глеб, невинно убиенные, Сергей Радонежский и Александр Невский, царевич Димитрий в кровавой рубашечке, Серафим Саровский и тысячи, тысячи мучеников, за веру, царя и родину убиенных, витали по залу.

— Святой Боже... святой крепкий... святой бессмертный. ... помилуй нас...

Порхали слова среди грохота труб и треска барабанов и говорили о том, что будет.

Стих оркестр. Всплески пения еще доносились из соседнего зала, где так же звучали молитву трубы кавалерийского оркестра.

В наступившей тишине, оттеняемой звуками музыки и пения, из соседнего зала раздался восторженный напряженный вопль:

— Слу-шай на кр-ра-а... ул!

Брякнули ружья, и полились волнующие душу, слезы исторгающие на глаза, молитвенно-чистые, дивно-прекрасные, спокойные и могучие, тихие и сладкие, как величавый восход румяного русского солнца в широкой степи, приветствуемый пением жаворонков, ржанием коней, мычанием и блеянием стад, звуки великого русского гимна:

Боже, Царя храни...

— пели трубы, и сверху, как голоса ангелов, вторили им голоса певчих:

Сильный, державный,
Царствуй на славу,
На славу нам...

И Дятлов, Демократ Дятлов, анархист, коммунист, независимый, спартакист, член президиума Совета независимых писателей берлинского кружка коммунистической молодежи, Дятлов, знающий и видавший внушительные демонстрации протеста на улицах столицы, почувствовал, что стал он маленьким, растворился в эфире воздуха и глядит на прекрасный зал, и не понимает, что в нем происходит. По щекам Коренева и Демидова текли слезы, Эльза откровенно плакала, вытирая слезы платком, глаза Клейста странно блеснули, мисс Крегг поднялась на носки, оперлась обеими руками на балюстраду из цельного зеленого малахита и смотрела, нагнувшись вниз, и американиканская душа ее ничего не понимала, и казалась ей страшно сложным то, что так просто отражалось в русских сердцах...

В зал входил государь император, русский царь...

XIII

Государю Михаилу Всеволодовичу было тридцать шесть лет. Его отец Всеволод Михайлович женился в 19.. году, то есть тогда, когда уже успокоена была вся русская земля. Его женой, императрицей всероссийской, была юная и прекрасная единственная дочь атамана Аничкова, выведшего его из дебрей Среднеазиатских гор и честно доведшего его до Успенского собора. Исполнив свой долг, очистив родину от воров и разбойников, Аничков удалился в Среднюю Азию и там тихо дожил свой век на границе Небесной империи — Китая.

Михаил Всеволодович был много выше среднего роста, красив, статен. Густые, русые, чуть выющиеся волосы его были убраны по-русски, он носил усы и небольшую широкую красивую бороду. У него были ясные голубовато-серые романовские глаза, и особенностью их было то, что, когда он смотрел на кого-нибудь, он смотрел прямо в глаза и видел душу говорившего с ним. И тот, кто смотрел в эти продолговатые, густыми ресницами оттененные глаза, видел

столько прекрасной любви христианской в них, видел такую высокую душу, что потуплял свой взор и смущался.

Про него рассказывали, что однажды один закоренелый злодей, приговоренный к каторжным работам и так отрицавший свою вину, что судьи, несмотря на все улики, колебались, умолил допустить его до государя, чтобы просить о неосуждении невинного. Государь приказал привести преступника к себе.

— Ты говоришь, что ты не виноват, — сказал государь и устремил грустный, тоскующий взгляд на преступника.

Преступник кинулся на колени, покаялся во всех своих винах и просил смертью казнить его.

Государь отпустил преступника на свободу и приобрел великолепного работника для родины.

Императрица, его мать, была маленькой оставлена в Тибете и воспитана тибетскими мудрецами. Говорили, что она обладала такими знаниями, каких никто не имел в мире. После смерти мужа она удалилась в глухой монастырь на берегу Ледовитого океана, и о ней никто никогда ничего не слышал.

Императрица Искандер Акбаровна, при святом крещении нареченная Александрой, супруга императора Михаила Всеволодовича, была дочерью индийского царя Ак-бара I.

Она шла рядом с государем. За ними шли их дети — наследник престола Александр Михайлович и его старшая сестра Радость Михайловна.

Государь был одет в длинный, ниже колен, темно-малинового бархата просторный кафтан с широкими рукавами, подхваченными у локтя и застегнутыми на круглые золотые пугови. На левой руке была узкая белая перчатка с широким раструбом, расшитым золотым позументом и с вышитым по ней золотым узором. Высокий воротник широко, с косыми углами у горла, поднимался к лицу и был обшит тонкой золотой тесьмой. Низ кафтана был из полосатой материи. Талия была перетянута широким малиновым кушаком, отороченным темно-зеленой тесьмой. Во всю грудь был вышит золотой канителью двуглавый орел с коронами, выложенными бриллиантами, и с небольшим золотым щитом посередине... На щите было эмалевое изображение Георгия Победоносца. На голове императора была надета остроконечная шапка с выступами того же малинового бархата, высоко отороченная драгоценным мехом темного соболя. Сбоку низко висела в золотых ножнах, украшенных драгоценными камнями, кривая старорусская сабля. На ногах были темно-коричневого сафьяна сапоги.

Наряд царский был прост, красив и изящен. Это был наряд старых сокольничих царя Алексея Михайловича, и в этом простом костюме любил государь появляться перед соколами своими, доблестными войсками Российской армии.

Медленно и гордо выступал он вдоль взводов, и глаза его смотрели прямо в глаза каждому солдату. Он здоровался с войсками, стоявшими в зале, и дружные раскатистые ответы раздавались, заглушая музыку и пение хора.

Императрица Искандер была прекрасна в полном расцвете своих тридцати шести лет. Волосы ее были светлые, ударявшие в золотистую бронзу, совсем не видные за высоким жемчужным убором. Матово-бледное продолговатое лицо с прекрасными огневыми глазами, с тонким прямым носом и небольшими тонкими губами изобличало породу, сохранившуюся веками в родах именитых мараджей. На ее голове была шапка, сделанная из жемчужных нитей, переплетававшихся прихотливым узором и поднимавшихся как бы короной на четверть выше ее белого чистого лба. Большой синий сапфир, окруженный бриллиантами, был вставлен в середину шапки. На лоб спускалось узорочье из ниток жемчуга и доходило почти до самых тонких ее бровей. Длинные нити крупного жемчуга каскадами спускались к ушам, закрывали уши и упали через плечи до середины груди. Белого, плотного, тяжелого шелка сарафан был вышит крупными цветами стилизованных хризантем, белыми и зелеными листьями. По плечам шла и спускалась по середине сарафана, а потом обвивала подол широкая полоса, вышитая в четыре ряда жемчужными и самоцветными камнями, между которыми серебром были вышиты виноградные листья. Широкие рукава были схвачены у кистей поручнями, также вышитыми виноградными листьями и уложенными жемчугами. Вся шея была закрыта жемчужными бусами, стянутыми на середине громадным сияющим опалом. На затылок спускался белый, тончайшего шелка плат, доходивший ниже плеч. Бледно-голубая парчовая шубка, вышитая золотыми и серебряными листьями и цветами и отороченная мехом черно-бурой лисицы, была наброшена на плечи.

Сказочно прекрасная в этом старом уборе русских цариц, стройная, изящная, хрупкая, таинственная, женщина и не женщина, окутанная легендами своего происхождения, она мягко и кротко, неземной улыбкой улыбалась каждому, и каждый воин чувствовал на себе ее ясный взгляд и испытывал как бы толчок какого-то волшебного тока и поддавался ее чарам.

Наследник, в голубом старом казачьем мундире, в широких шароварах и в высоком кивере с длинным пером на боку, с кривой казачьей саблей был дивно прекрасен в свои четырнадцать лет.

— Ангел небесный! — прошептала, молитвенно складывая руки, Эльза. — Начинаешь верить в Бога, когда глядишь на красоту. Им созданную.

— Хороший балет не уступит, — проворчал Дятлов, но в звуке его голоса не было прежней убежденности.

Рядом с наследником шла девушка. Простое платье светло-серого бархата было на ней. На расчесанных и в две косы заплетенных густых светло-русых волосах был положен венок из живых белых гвоздик, голубых васильков и пунцовых маков.

Коренев не видал ее лица. Но он понял, что Радость Михайловна была его призрак.

За государем в два ряда, с небольшими острыми топорами на плечах, шли рынды в белых кафтанах. Витой из серебряной ленты с кистями пояс стягивал их талии. На боку висели кривые ятаганы.

— Это что еще за эмблемы? — проворчал Дятлов.

— Эмблема права государя казнить виновных. И, если была в государстве российском казнь, лезвие топора окрашивается красной краской. В нынешнее царствование ни разу ни один топор не был окрашен в красный цвет. В России смертной казни нет, — сказал Демидов.

За рындами стройно, по четыре, шли разрядные дьяки и воеводы.

И когда шел государь по залу, за окном, потрясая стекла, глухо гудели выстрелы. Эльза вздрогнула и оглянулась.

В полукруглое окно, касавшееся самого пола хоров, был виден широкий снежный простор Невы. Мутно-серое небо повисло над ней, и метель крутила и мела белые змеи по ее ширине. Низкими серыми стенами, в переплет черных сучьев, вздымалась над снегами крепость, ветер веял большой желтый флаг с черным двуглавым орлом над ней, поднимался золотой шпиль над колокольной собора и ангел стремился в небо на этом шпиле. Из бойниц крепости выкатывались кудрявые клубы белого порохового дыма, и сейчас же их рвал ветер в клочья и низко нес над снеговым простором. Толпы любопытных стояли на набережной и на мостах.

— Бум... бум... бум... — мерно бухали пушки, а по залу шел государь, окруженный своим народом...

— Пойдемте, господа, — сказал Демидов, — сейчас в дворцовой церкви идет литургия и молебен, а мы пройдем в собор миллиона мучеников на Гороховой. Там будет панихида, а после — обряд братского лобызания на костях невинно убиенных. Народа будет много, но мы сейчас еще займем хорошие места. Все будет вам видно.

Пешком, по расчищенным от снега и усыпанным желто-красным песком дорожкам Александровского сада, где в эту пору, несмотря на вьюжистую погоду, играли и возились дети петербуржцев, Клейст, Коренев, Дятлов, Эльза и мисс Креггс прошли на Гороховую.

Вся улица по ту сторону белого храма была уставлена санями извозчиков. Бравые парни в синих теплых зипунах похаживали вдоль санок, похлопывали руками в кожаных рукавицах, боролись и топали ногами в валенках. Мороз не шутя прохватывал их.

— Вдовы и сироты, — пояснил Демидов причину этого съезда, — в этот день имеют обыкновение после панихиды ездить на места казни тех, кто неизвестно где похоронен.

— А где казнили этих людей? — спросила Эльза.

— По всему городу. На Смоленском поле, в Петропавловской крепости, в Крестах, в частных домах, — отвечал Демидов.

— Кто казнил? Царские палачи? — спросила мисс Креггс.

— Нет, — отвечал Демидов, — социалисты-большевики.

Дятлов хотел войти в собор, не снимая своей белой войлочной шляпы колпаком, но к нему подошел хожалый и вежливо сказал:

— Господин, это храм Божий, и уважение к нему обязывает обнажить голову.

— А если я иностранец, независимый, и не хочу этого делать? — заносчиво сказал Дятлов.

— Тогда я не могу пустить вас в храм, — сказал хожалый, и такой волей сверкнули его стальные глаза, минуту тому назад добродушные и ласковые, что Дятлов поспешно сдернул свою шляпу и вслед за остальными вошел в храм.

В храме шла служба. Громадны были размеры храма, больше собора св. Петра в Риме. Но храм был внутри светлый, белый и радостный, и входили в него из сумрака холодного дня, где задувала метель, как в райское место, как в необыкновенное, неземное жилище. В сумрачном проходе вдоль белораморных стен, покрытых золотым узором, были поставлены кадки с померанцами и лаврами, с елками и миртами, и крепкий аромат вечной зелени спливался

здесь с запахом ладана, сизыми волнами, как туман в поле, стоявшем в храме. И от противопоставления темных сеней храм казался более светлым, чем улица. Белые стены были прорезаны длинными, тонкими окнами. Но окна были покрыты такими стеклами, что они не вносили в храм улицы и улица в них не была видна. Они не были матовыми, но, оставаясь непрозрачными, замыкая храм в какое-то особое уединение, они давали весь свет, который только можно было собрать. Свет лился и сверху, из больших куполов, целиком сделанных из этой прозрачной синеватой хрустальной массы и казавшихся небом, чуть затянутым мягкими облаками. По стенам, между окон, висели написанные в тех светлых радостных тонах, какими писали Васнецов и Поленов, события из земной жизни Христа: воскрешение дочери Иаира, воскрешение Лазаря, явление Христа народу, нигде не было распятия, нигде не было мук, но было прощение и радость вечной жизни. Христос и блудница перед ним, Христос на пиру у фарисеев, Христос в Кане Галилейской, Христос у Марфы и Марии, Христос и Самарянка, Христос среди детей. Лучшие художники писали эти картины. Громадные кусты цветущих живых роз, кипарисы, стоявшие в кадках, сливались с картинами-образами, уносили их в воздушную даль перспективы, и в холодном петербургском храме веяло зноем Палестины. Корнев заметил, что искусно расположенные лампы так освещали эти иконы, что временами казалось, что в раскрытые окна храма видны не хмурые петербургские улицы, но радость азиатского юга, украшенная присутствием Сына Божия.

Иконостас и Царские врата были низкие, и вся служба, совершаемая за ними, была видна. За престолом был громадный образ, искусно написанный на стекле. Стекло было цельное, без переплета, и потому весь образ казался необыкновенной, живой картиной. Чудилось, что и действительно там пылает предрассветное небо Востока и красные полосы лучей еще не видимого солнца прорезали густую голубизну южного небосклона. Еще горит в матовой выси тумана одинокая звезда, и все небо дрожит в истоме утреннего сна. Кажется, что чувствуются испарения земли, и сладкий запах роз, и аромат лилий, волнующих своим невинным блеском. Как живые, откинулись римские воины стражи, и у сотника на лице испуг, восторг и преклонение. Развалились каменные глыбы надгробия, и, не касаясь земли, как бы плывя над ней, движется Христос. В прекрасном лице Его столько восторга победы над смертью, столько благодати и счастья, что без умиления нельзя смотреть на Него. И так была сделана икона, что отдельно от нее, но и сливаясь с ней, как бы говоря о чем-то ином, отдаленном, не похожем на Христа, но тесно связанном с Ним,

мелком по отношению к Христу и великом в мире сем была приделана другая картина. Масса людей — юношей, детей, девушек, стариков в серых изодранных платьях старой походной одежды, в рясах священников и одеждах сестер милосердия, в платьях женщин начала XX века, в черных пиджаках и сюртуках, серых, простых, обыденных, облитых кровью, — тянулась ко Христу, но лица их были светлые, радостные и восторженные. Христос протягивал им руки, пробо-денные гвоздями, и к Нему подходила царская замученная семья.

И ярко горели золотистым пламенем слова над иконой: «Чаю воскресения мертвых».

По широким квадратным колоннам висели мраморные темные доски, и на них были начертаны имена замученных врагами Христа святых русских людей.

Вся левая половина храма была занята женщинами. Больше старух. Черные повойники, черные, монашеского покроя, одежды, седые космы волос, иссохшие в тяжелом неутешительном горе желтые лица. Это было первое горе, которое увидал за чертополохом Клейст. Но горе было о прошлом, горе находило утешение в этом храме, дивно прекрасном, на крови мучеников и мучениц построенном, полном цветов, света, благоухания и радостной веры в будущую жизнь и во встречу с теми, кто принял кончину из рук своих заблудших братьев.

Эти женщины стояли на коленях, молились, крестились, плакали, и легче становилось им на душе. Это были матери, жены, дочери умерщвленных подлыми, трусливыми рабами III Интернационала.

Величаво печальное, страшное и зовущее, как труба архангела в день воскресения, несло по всему храму погребальное «Аллилуйя».

Дятлов передумывал все им только что виденное: парад георгиевских кавалеров, шествие страшных калек, сохранивших в памяти своей ужасы смерти, войны, молчаливые квадраты юношей, жадными глазами глядящих на белые кресты, на черно-желтые ленты, мечтающих о подвиге, о славе и о смерти.

«Гипноз, — думал Дятлов, — гипноз. Религия — опиум для народа. И в сладком задурманенном сне грезится «царь-батюшка», «Микола-угодник», «Божия Матерь» и затушевывается скучная обыденщина жизни, тоскливой, как октябрьский дождик над коричневой пустой нивой».

И представилось ему...

Жаркий июльский день. Площадь, на которую со всех сторон вливаются улицы и улочки, темные здания дворцов и музеев, мутные волны узкого вонючего канала в высоких берегах, обложенных гранитом. Дома, отражающие зной солнца своими стеклами, высокие, мрачные, полные тайн наглухо закрытых квартир, бюро и канцелярий. Тревожно трещат стальные шторы, затягивающие серыми веками глаза окон магазинов. Точно город закрывает глаза на все, что творится в нем. Бешено звонят трамваи, и резко ухают автомобили, продираясь сквозь густую толпу.

Пиджаки, красные галстуки, алые гвоздики в петлицах, ухарски заломленные на затылок фуражки, красные, потные, возбужденные лица, крепко сжатые черные кулаки. Среди толпы, как пена на волнах кипящего водоворота, мелькают группы людей в черных, наглухо застегнутых сюртуках, в алых лентах через плечо и торжественно-мрачных цилиндрах. Над ними реют красные знамена, хоругви с самыми ужасными надписями, призывающими к избиению людей, погрому, насилию и мятежу.

Из скверов и с углов улицы, с высоких мраморных постаментов смотрят зеленоватые фигуры отлитых из бронзы творцов славы и величия этого самого народа. Какой-то молодец в расстегнутой на груди рубашке, ударяя себя в белую впалую грудь, что-то кричит диким голосом, а кругом сгрудилась толпа и орет, заглушая слова уличного оратора.

Толпа громадна. Газеты в тот же вечер писали, что демонстрация была грандиозна, что в ней участвовало 500 000 человек. Газеты ввали. Они не давали себе труда представить, какую площадь заняла бы толпа в пятьсот тысяч человек, и та толпа, которая слонялась с дикими криками по городу, не превышала десяти тысяч.

Навстречу ей, к этим же самым статуям с позеленевшими бронзовыми лицами, точно страдающими от слепоты народной, по широкой улице, по середине которой в каштановом и липовом венке тянется бульвар, движется другая толпа. Большие пестрые знамена, обшитые золотой бахромой, с золотыми надписями девизов тихо и мерно колышутся над головами юношей в маленьких цветных шапочках, заодно надетых набок.

Какой-то нечеловеческий вой раздается в толпе. Летят палки, камни, кто-то помахивает скамьей в саду бульвара и вооружается изогнутой чугунной ножкой. Крики... ругань... Два-три револьверных выс-

стрела... Треск взорвавшейся бомбы, и топот тысячи ног разбегающихся по улицам мимо опустивших стальные веки магазинов.

На площади — поломанные скамейки, вывернутые камни мостовой, разбитое стекло, черная воронка взрыва, обрывки алых и цветных тряпок и десятка полтора окровавленных изуродованных трупов... И скука! скука!..

Обычная демонстрация — восторга, протеста, памяти какого-либо события или «героя» революции — окончена. Гудят, завывая, гудки автомобилей, проносясь мимо накрытых брезентами трупов, звонит трамвай, и снуют репортеры газет... Щемящая тоска на сердце.

Дятлов дернул головой и оторвался от дум. Прямо к нему, казалось, плыл с пылающего восходом неба Христос в белоснежных одеждах, и коленопреклоненные женщины застыли в молитвенном восторге, распростершись на полу. Точно с неба несется рвущий душу напев тихого панихидного пения.

«Молитву пролию ко Господу и Тому возведу печали моя. Яко зоп душа моя исполнится и живот мой аду приблизится...»

Вся правая половина храма наполнена стариками — георгиевскими кавалерами. Они пришли сюда из дворца и стали — здоровые и калекки, «красные», «белые» и «зеленые»... Сподвижники Деникина и Колчака, раболепные угодники Троцкого и Ленина, солдаты и офицеры армий Врангеля и Юденича, Тухачевского и Буденного, раньше братски лившие кровь вместе и побеждавшие австро-германцев в Восточной Пруссии и под Варшавой, бравшие Львов, Перемышль и Черновицы, спасавшие Францию, Италию и Румынию... Они стояли все вместе — и те, кто мучил на этом самом месте, и те, отцов и братьев которых замучили здесь, на Гороховой, и по всей крещеной Руси!..

Дятлов смотрел на них с изумлением. Они стояли вместе. Они молились вместе. Они не поминали старого, не упрекали друг друга кровью, которая в этом храме, казалось бы, должна была проступить из-под пола и по щиколотку, по колено, по шею заливать молящихся.

Что же произошло? Что случилось здесь? Почему овцы и волки стали вместе, и жены замученных, матери изнасилованных молятся с мучителями и насильниками в одном светлом и благоуханном храме?

Ведь несется же с хоров бархатный, страстный напев, заглушая стоны и рыдания женщин: «Вечная память!..» «Вечная память!»

Память ли о том, что вот они, эти серые люди с крестами на груди, мучили и терзали друг друга и пять лет заливали русскую землю кровью? Или память о тех, кто серыми окровавленными толпами стремится под благословляющие руки Христа?

И как совместить несовместимое? И как простить то, чего ни забыть, ни простить нельзя?

Широко распахнулись Царские врата, и из них и из обеих боковых дверей на амвон на смену протодиакону в черном одеянии с серебряными крестами стали выходить в сияющих золотых ризах и митрах епископы. Юноши, прекрасные, как ангелы, метали перед ними круги с изображениями орла на голубом поле, и светом, блеском и радостью веяло от золотого сонма иерархов. Они расступились, и из алтаря вышел среднего роста худощавый старик с темным лицом, обросшим снежно-белой бородой. Кожа иссохла на его щеках, и только глаза, жгучие, темные, лучащиеся любовью и силой душевного огня, горели из-под надвинутой на седые брови золотой тяжелой митры.

Все встали с колен, и подошли к нему — слева женщины в черных одеждах, справа мужчины, старики и калеки в защитных мундирах при орденах.

Старик протянул вперед крест с изображением распятого Христа и отчетливо, воодушевленно и неожиданно громко воскликнул:

— Христос воскрес!

Дрогнули какие-то струны в душе у Дятлова, ему показалось, что от стекла отделился написанный на стекле Христос и поплыл по воздуху. Резче стал запах ладана, роз и лилий, потянуло теплом от благостных картин, и стало казаться, что Кто-то незримый стоит тут, близко.

— Воистину воскрес! — колыхнулось шепотом по всему храму исторгнутое из старых грудей, которые так много испытали в прошлом, чье сердце в муках не знало молодости.

Старая, высокая, прямая женщина с большими, темными, прекрасными глазами, в глубокой синеве печали медленно подошла к старику в генеральских погонах с белым крестом на груди, и они трижды поцеловались. И по всему храму слышались умильные возгласы сквозь слезы произносимых слов: «Христос воскрес!», «Воистину воскрес!» А с хор трепетала молитва покровителю храбрых и носилась под куполами, как стая ликующих птиц:

— Святой Великомучениче Георгий, моли Бога о нас!.. Когда Клейст, Коренев, Дятлов, Эльза и мисс Креггс выходили из храма, на улице был сумрачный день, и ветер мел по беломраморным ступеням, посыпанным песком, холодные ледяные струи блестящего снега.

Извозчики, раскатываясь санями на покато́й мостовой, подавали к тротуару, и в них садились женщины в черном, с белыми узелками с кутей, с зелеными венками вечно живущей елки. В воздухе пахло

морозом, хвоей, благостно-мерно звучал наверху, в сером небе, колокол собора, и ему так же медленно и печально отвечал колокол Исаакия, и гудели откуда-то сзади колокола Казанского собора и всех церквей старого, встрепенувшегося Петербурга.

XVI

Третьего декабря, ровно в половине шестого, в комнату Клейста постучали. Вошел тот самый попыхач начальника разряда военных дел, который встречал его и Бе-рендеева у Шуйского.

— Его высокопревосходительство начальник разряда военных дел тысяцкий воевода князь Шуйский послал меня проводить вас в Боярскую думу, — отрапортовал он, вытягиваясь.

Клейст был совершенно готов. Он был в новом, только что сшитом у ловкого петербургского портного «Доронина с сыновьями» на Невском проспекте, черном немецком сюртуке. Доронин отродясь такого платья не шил, но по старому образцу справился, приспособил пуговицы от старого сюртука, и теперь Клейст перед зеркалом оглядывал свою полную фигуру. И смешон же казался он самому себе в черном цилиндре, белой накрахмаленной манишке с белым галстуком, в воротничке на кнопочках, в жилете, в черных лакированных ботинках! «Нет, — думал он, — русская одежда, архалуки, кафтаны, зипуны, поддевки куда практичнее и красивее нашей черной безвкусной одежды. Какой молодец этот попыхач в зеленой поддежке поверх оранжевой шелковой рубахи, как просты его движения в ней, благородно подхвачена тонкая талия, и как красивы стройные ноги в узких шароварах и сафьяновых коричневых сапогах». Точно рыцарь русской белой зимы стоял перед ним. Белый, румяный, молодой... «А мы кичимся Западом, Европой! Они переняли от нас все умное и отметили глупое. Они тянутся к земле и небу. Мы отошли от земли и забыли небо. Я не видал в этом государстве ни одной пишущей машинки и барышни над ней, с идиотским усердием выстукивающей никому не нужные копии совсем не нужных бумаг. У них часто вельможа сам пишет бумагу своеручно и даже копии не оставляет. А если нужна копия, ее или перебелит писарь, или пишут особым составом и тут же на множительном приборе снимут сколько угодно копий. У них зато блаженствуют дети, окруженные матерями, сестрами, тетями. Я почти не видел ресторанов. Их не тянет туда от семьи. За табльдот громадной гостиницы садятся двенадцать человек — все остальные кого-то имеют и обедают по родным и знако-

мым. Тут страсть пригласить и накормить». Клейста рвут на части. То Демидовы, то Берендеев, то начальник высшей школы, цветовод Бекешин зовут его пообедать. Два раза обедал у Шуйского. Коренев и Эльза живут на государственный счет в Школе живописи и ваяния. Мисс Креггс изучает церковную благотворительность и в отчаянии: все уже сделано, и американцам делать нечего. Никто не ночует на улице. Хожалые этого не позволяют, а при каждом участке есть приемный покой с отличными кроватями. Мисс Креггс сама пробовала нищенствовать и неизменно попадала или к какому-нибудь доброму человеку, или в участок. «Дикая страна, — говорила она Клейсту, — здесь совсем нет хулиганов и апашей, быть социалистом здесь позорно, и слово «подлец» здесь равносильно слову «пролетарий»! Анархистов и коммунистов и в заводе нет». «Были когда-то, — сказала мисс Креггс какая-то старушка, богаделенка, — да тех, почитай, всех поперевешали, а которые к немцам удрали...»

«Да, дикая страна, — думал Клейст. — Здесь великим постом торжественно предадут анафеме бывших разбойников и с ними Ленину, Троцкого, Сталина и всех коммунистов! А у нас это едва не правящая партия! Как доложу я все, что видел, в Германии, когда должен сказать, что это идеальное государство и что тут люди живут, наслаждаясь природой и красотой... Да, дикая, но какая прекрасная страна».

— Я готов, — сказал он, отрываясь от дум.

Он надел подаренную ему Берендеевым шубу на лисьем меху.

Прекрасная пара с пристяжной ожидала их. Они в пять минут промчались Невский и Морскую и влетели в крытый массивный подъезд большого сероватого здания. Попыхач провел Клейста в зал. Здесь с одной стороны висел в тяжелой раме портрет во весь рост государя императора, другую стену занимала великолепная картина художника Репина. Она изображала заседание Государственного совета в царствование императора Николая II. Множество портретов сановников того времени, в кафтанах черных и малиновых, шитых золотом, занимало всю картину, и зал точно отражался в ней. Теперь он был пуст. В правом углу был устроен иконостас, и перед иконами Софии и дочерей ее Веры, Надежды и Любви теплились лампадки. «Да, — подумал Клейст, которому все показывал и любезно объяснял попыхач, — русские любят эмблемы. София — Мудрость, и Вера, Надежда и Любовь — что, как не это, должно быть в думе людей, правящих государством? А у нас...» Он вспомнил партийные споры и тупость вождей крайних партий, вспомнил безбожие и часто намеренную хулу над Богом и над славным прошлым, вспомнил, как

совсем недавно левые партии потребовали, чтобы были сняты памятники великого прошлого германского народа, как несколько раз покушались взорвать статую Победы, вспомнил отчаяние и ненависть, которые сквозили во всех речах независимых.

Он прошел к окну. Зимняя ночь уже лежала над городом густым пологом. Снег заглушал шаги и топот ног лошадей. На небольшой квадратной площади спиной к дворцу стоял темный памятник. Прекрасная лошадь скакала галопом, и на ней сидел всадник в каске с орлом и в кирасе... Рыцарь-всадник, и рыцарское было время, давшее России всю ее славу живого слова. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гоголь...

В мягких туманах зимы стояла громада Исаакиевского-го собора, и звезды блистали, отражаясь в его золотых продолговатых куполах.

«Такой красоты зимы нигде нет, — подумал Клейст. — Как хорошо, как тихо!»

Двери направо распахнулись, и в них медленно стали входить бояре. Они были в высоких шапках, длинных тяжелых парчовых нарядях. Эти шапки показались смешными Клейсту, но вспомнил цилиндры свадеб и похорон, и насмешка исчезла с его лица. Вошли Ахлестышев и Шуйский в стальном бахтерце. Всех бояр насчитал Клейст десять. Только десять человек, вдумчивых специалистов своего дела, а не сотни говорунов решали судьбы государства. И были это все люди старые, за пятьдесят лет. Моложе других был человек, одетый в простой голубой кафтан, светлые шаровары и плотную низкую меховую шапку. Входя в зал, бояре снимали шайки и крестились на образа. Ахлестышев первый подошел к Клейсту и вместе с Шуйским представил его всем остальным боярам.

Боярин в голубом кафтане оказался воеводой разряда морских и воздушных дел Иваном Павловичем Макаровым, боярин в темно-синем, совсем простом кафтане и мягких сапогах был думный дьяк иноземных дел Александр Александрович Рахматов, он поговорил с Клейстом по-немецки, и Клейст удивился великолепному литературному языку Рахматова, боярин в длинном кафтане темно-зеленого цвета, расшитом серебром, был думный дьяк Государственной казны Митрофан Васильевич Кор-маевский. Толстый, седобородый, красноречивый, с маленькими, заплавленными жиром глазками, похожий на католического монаха, как их рисуют старые немецкие мастера, был боярин Лапин — дьяк торговых дел и промыслов, дальше были бояре: наблюдавший за правосудием, разряда железных, каменных дорог и шляхов, народного управления, землеустройства, коневодства, скотоводства и правильной охоты.

Они стали полукругом около образов и перекидывались дружескими, ничего не значащими словами.

Часы на стене мелодично начали бить шесть, когда двери распахнулись и в них вошли государь и с ним патриарх.

Государь был в темно-зеленом, немецкого покроя, кафтане Преображенского полка и в высоких кожаных ботфортах, с голубой широкой лентой через плечо, патриарх в черной монашеской мантии и в белом клобуке с бриллиантовым крестом. Все низко, в пояс, поклонились государю. Государь стал впереди и несколько сбоку от образов, патриарх подошел к аналою и начал читать молитвы. Это продолжалось минут десять. Потом патриарх благословил крестом, все поклонились ему и стали занимать места за столом, на стульях с бархатными сиденьями с высокими спинками. Государь сел в голове стола на некотором возвышении, по правую руку его сел патриарх. Наступило торжественное молчание. Слышно было, как тикали стенные часы. Клейст чувствовал биение своего сердца. Какая-то невидимая рука отодвинула висевший в глубине тяжелый занавес, и на большом матовом стекле появилась великолепно исполненная, четкая карта Российской империи.

Государь, сидевший в глубокой задумчивости, поднял прекрасное лицо и, глядя прямо в глаза Клейсту, начал говорить.

XVII

— Сорок три года, — звучно и отчетливо выговаривая каждое слово, говорил государь, и слова его, как резцом в каменной скале, врезывались в памяти Клейста, — сорок три года государство наше было отрезано от народов Европы и предоставлено самому себе. За эти сорок три года родителю нашему и нам, в сотрудничестве со святым патриархом и народом, волей Господней удалось вернуть древнее благочестие и святую любовь к родине. Имя «русский», дотоле поругаемое и презираемое, снова стало гордо звучать в устах каждого, кто имел счастье родиться на земле нашей. Христолюбивое православное воинство вернуло порядок во всей стране и возвратило престолу нашему отторгнувшиеся от него народы. Тридцать лет мир и тишина царствуют на земле нашей, и Господь неизменно благословляет труды наши. Ныне задумали мы в весну наступающего новолетия снять страшную завесу смерти с границы нашей и войти в сношение с народами Европы, ибо не страшны больше народу русскому ни неверие, ни заблуждения, ни пороки, ни злоба, ни ненависть Запада.

И в первую очередь постановили мы войти в дружеские сношения с народом немецким, с которым связывают нас узы дружбы прародителей наших Петра I, Екатерины I, Петра II, Петра III, Екатерины II, и особенно Александра I, Николая I и Александра II. Связывает и то, что мы соседи!..

Государь остановился и примолк. Глубокая печаль застыла на его прекрасном челе. И когда он снова заговорил, его голос был тих и звучал упрехом:

— Но как забыть нам ту постоянную поддержку, что оказывало немецкое правительство коммунистам? На много лет раньше окончился бы страшный гнет коммунистов, не было бы гибели почти ста миллионов людей, пускай заблудших, пускай скверных, но людей, если бы не преступная помощь немцев III Интернационалу. Мы думали, что немцы хотят братского сотрудничества с нами... Нет... Немцы старались уничтожить Россию и добить истекающий кровью русский народ... Во имя чего? Во имя наживы!!! Ради своих капиталистов они сносили убийства своих посланников, аресты инженеров, постоянные оскорбления. Современная Германия кажется нам столь отвратительной, что мы не знаем, сможем ли мы дружить с ней, как дружили наши предки с Германией Фридрихов и Вильгельмов!!!

Узнав из доклада наших порубежных ратных людей, что вместе с четырьмя русскими, жившими за рубежом, в пределы земли нашей вошли два иноземца и что один из них. Карл Феодор Клейст, намеревается вернуться на родину, мы пожелали, чтобы оный немец, Карл Феодор Клейст, на особом заседании Боярской думы нашей, в нашем присутствии ознакомился с силами и достижениями нашими во всех отраслях государственной жизни и доложил о том, что он здесь услышит, у себя на родине...

Государь опять немного помолчал. Бесконечная печаль лежала на его лице.

— В несчастьи познаются друзья, — продолжал он. — Увы, когда страшное, небывалое несчастье разразилось над Россией, когда ее народ оказался в неслыханном рабстве у слуг III Интернационала, у инородцев, преступников и мировых мошенников, у России не оказалось друзей. Как верил наш народ, как ожидал он помощи от соседей, от немцев! Не только не пришли немцы помочь России освободиться от ига коммунистов, но всячески поддерживали их. И нам это невозможно забыть. Я боюсь, Карл Феодор Клейст, что немцы Штреземана и графа Брокдорфа-Ранцау посеяли в нашем народе такую ненависть ко всему немецкому, что я не в силах буду восстановить хорошие отношения с современной демократической

Германией. Да что говорить! Все... все... так называемые великие державы оказались хороши! Слушайте, Карл Феодор Клейст, что расскажут и покажут вам мои воеводы и дьяки.

Государь посмотрел на Рахматова, и дьяк иноземных дел встал и, обращаясь к Клейсту, сделал краткий доклад.

Он говорил о союзниках. Он сказал, что сделала для Франции, Италии и Румынии Россия в годы Великой войны, он говорил об Англии и Америке.

— Франция... — сказал между прочим Рахматов. — Какая странная ее политика! Она не только не помогла России освободиться от коммунистов, но вот вам характерная черта. В 1928 году, когда в Париже, по почину Америки, подписывали торжественный «Пакт мира», американские газеты напомнили, что первый заговоривший о мирном сожительстве народов был государь русский Николай II, приглашавший на такое же совещание в Гаагу тридцать лет тому назад — Франция в лице Бриана не нашла удобным это упомянуть. Для нее Россия не существовала уже тогда не только в настоящем, но и в прошлом...

Англия... Впрочем, что говорить! Бог неслыханно покарал Англию. Из могущественнейшей, громадной державы, владевшей полмиром, она обратилась в маленькую островную республику с голодным населением, с непрерывными войнами между Ирландией, Шотландией и Англией. Ею правят невежественные углекопы, и былой великой Англии королей уже нет.

Америка ушла от Европы. Она не хотела ни понять русского горя, ни помочь ему. Сейчас с вами приехала американка. Она обила пороги всех наших разрядов, добиваясь разрешения учредить отделение общества снабжения детей пролетариата носовыми платками. Ей нет дела, что у нас нет пролетариата, что наши дети в ее помощи не нуждаются. Америка делает не то, что нужно делать, но то, что ей нравится делать. Она, как сытый барин, балуется благотворительностью, часто не думая, что ее благотворительность несет не добро, но зло. В страшную годину голода Америка приехала помогать голодающим детям, и дети отказывались от ее помощи, потому что не хотели есть на глазах голодных родителей... Ее «У. М. С. А.» — общество христианских молодых людей — сознательно углубляло раскол нашей церкви, следы которого исчезли только теперь. И помогать надо с умом. Увы, этого ума Америка не имела...

У нас осталось чувство благодарности к туркам, не правительству, а народу, к сербам, болгарам и французам за их теплое отношение к несчастным русским, которым пришлось скрываться за границей.

И вот это-то сердечное отношение к людям разных национальностей и заставляет Его Императорское Величество забыть те оскорбления, которые нам наносили их правительства. Но, забывая и прощая многое, что было сделано лично нам тяжелого, мы не можем ни забыть, ни простить там, где обижали, оскорбляли, унижали веру Христову и наше великое отечество. И там мы будем беспощадны... Свое мы вернем... Россия будет великой, единой и неделимой!

Рахматов протянул руку к матовому стеклу с четкой картой Российской империи.

На глазах Клейста зеленая граница поползла на запад, на юг и восток, захватывая Литву, Польшу, Галицию, Бессарабию, отбирая назад Каре и Эрзерум, продвигаясь по Маньчжурии и Монголии.

— Великая, единая и неделимая, — торжественно сказал думный дьяк разряда внутренних дел, — с большой самостоятельностью своих областей, как неразделенная семья с женатыми и замужними детьми, живущими каждый своим домом, но на общем дворе, собирающаяся на общий семейный совет и слушающаяся своих стариков.

Клейст долго смотрел на ярко сиявшую карту, где под одной краской разно отсвечивали места, покрытые надписями: «Великое княжество Финляндское», «Ингер-манландия», «Литва», «Польша», «Украина», «Крым», «Кавказ»...

Он так увлекся, что не слышал, как заговорил воевода морских и воздушных дел — Макаров.

XVIII

— Вы уже знаете, — сказал Макаров, — что наше доблестное войско устроено совсем на других началах, чем ваши народные полчища с трехмесячным сроком обучения, ваши фабрики пушечного мяса, не могущие состязаться с нашими воинами по призванию. Оно, благодаря нашим изобретениям, непобедимо. Я же вам укажу на некоторые наиболее веские особенности нашей морской силы.

— Василий Порфирьевич, — обернулся он к двери, — подайте-ка сюда исследователь глубин.

Из-за двери вышел человек лет сорока, в таком же голубом кафтане, какой был на Макарове, но с большим количеством золотых украшений, якорей на рукаве и с погонами с двумя черными полосками. Он мягко подошел к столу, низко поклонился государю и подал Макарову какой-то довольно большой предмет в кожаном футляре. Макаров взял его у него и сказал:

— Переговорите по дальносказу с Севастопольской гаванью, пусть поставят на дальнотелескоп «Три святителя» и подготовят прибор «Моя воля», да пусть кормчий слушает у прибора, что я буду говорить.

— Есть, — ответил моряк и повернулся к двери. Макаров вынул из чехла размера большого бинокля аппарат, сделанный из латуни, со многими винтами и регуляторами и поставил его на стол.

— Господин профессор, — сказал Макаров, — пожалуйста ко мне.

Он несколько секунд смотрел в аппарат, поворачивая какие-то винтики регуляторов, потом встал и сказал:

— Садитесь на мое место и смотрите в эти стекла. Что вы видите?

Клейст с удивлением увидел перед собой кусок улицы, покрытый снегом. На улице горели фонари. Стоял у панели, посыпанной песком, извозчик, его небольшая лошадка, накрытая попоной, насторожила уши. К извозчику подошел человек в шубе и бараньей шапке, что-то сказал, отстегнул полость, сел в сани, извозчик тронул лошадь.

— Я вижу улицу, — сказал Клейст.

— Если не ясно, — сказал Макаров, — крутите этот винтик.

— Нет, ясно, совершенно ясно. Это какая же улица?

— А вот поворачивайте этот винт, дойдите до угла и прочтете, если разберете, — сказал Макаров, передвигая своей рукой руку Клейста к какому-то колесу, бывшему у основания аппарата.

Перед Клейстом поплыли дома, освещенные и темные окна, угол, железный столб, голубая доска и белые буквы на ней: «Вознесенский проспект, 1-7». Клейст видел то, от чего был отделен людьми и толстыми стенами дома. Он крутил колесо. Показалась площадь, памятник императору Николаю I и подле него часовой роты дворцовых стрельцов в стальном шишаке и кольчуге поверх теплого дубленого полушубка, с винтовкой в руке, почтенный старик с георгиевскими крестами. В аппарат было видно его покрасневшее от мороза лицо и острые глаза в ресницах и бровях, одетых серебряными иглами инея.

— Поворачивайте здесь, — говорил Макаров. Взгляд Клейста углублялся в даль, скользил по ступеням Исаакиевского собора, пробирался между черных стволов Александровского сада, мотнулся к Неве, показались розоватые здания высшей школы, и наконец уперся в серебристый туман зимней ночи, скользнув по крышам домов.

Изумленный Клейст поднял голову. Перед ним стоял Макаров, кругом сидели бояре. Государь о чем-то задумался.

— Представьте себе, — сказал Макаров, — этот снаряд на борту судна. Подводные лодки, мины донные и мины плавучие видны в нем на расстоянии до десяти верст, вы наблюдаете жизнь моря до самого его дна... Вы можете маневрировать так, что ни одна мина вас не коснется, вы можете своей артиллерией и минометами уничтожить подводную лодку тогда, когда она вас и не учует еще в свой перископ. Вы чувствуете, чем это пахнет? Но это цветочки, ягодки впереди.

Макаров подошел к экрану и нажал на кнопку. Карта Российской империи исчезла, и на экране показалось море. Море было теплое, синее. Стояла ночь. Ясно мигали в небе звезды, синие волны тихо плескались в закрытой гавани, виден был лес мачт рыбацких шхун и бригов, но вот ясно выделился ярко освещенный прожекторами большой красивый белый корабль. Мелькнула изящного обвода корма с рядом круглых иллюминаторов, с золотым орлом и надписью золотыми буквами: «Три святителя». Показался на корме часовой матрос в синем кафтане и круглой низкой шапке, и весь корабль выявился на экране.

— Как видите, — говорил Макаров, — наши корабли совсем не походят на дредноуты и сверхдредноуты американского, английского и японского флотов. Это не грязные серые калоши, низко сидящие на воде, закутанные в броню, дымящие громадными трубами, с башнями, из которых, как усы, торчат длинные пушки. Вы скажете, это прогулочная яхта. Да... похоже. Высокий стройный корпус, полный такелаж, стоячий и бегучий, всего две трубы, никакой брони. Несколько бронзовых пушек — только для салюта — вот и весь корабль, но обратите внимание на следующее обстоятельство...

Макаров крутил какое-то колесо подле экрана, и корабль становился больше, заполнил весь экран, вылез из экрана, стал виден частями, показался его нос с длинным бушпритом, и на носу небольшая вышка. На вышке — площадка, рулевое колесо, и подле матроса и офицер. Макаров все продолжал крутить колесо, и скоро весь экран заняла какая-то машина, покрытая чехлом, и от матроса были видны только руки на рукоятке колеса.

— Снимите чехол, — сказал Макаров.

— Есть! — раздалось откуда-то из глубокой дали и прозвучало глухо и сипло, как звучит граммофонная мембрана.

Руки матроса проворно отстегивали пряжки ремней брезентового чехла, и перед Клейстом оказалась наглухо привинченная к площадке какая-то машина из литой стали, окрашенная в белую краску. Какие-то цветные стекла, круглые, в желтой бронзовой оправе, смот-

рели во все стороны. Аппарат походил и на мотор аэроплана, потому что были тут цилиндры внутреннего сгорания, походил и на рулевое колесо с компасом, потому что была магнитная стрелка и картушка с делениями на румбы, было и бронзовое колесо с рукоятью. Как вены и артерии, бежали от него — один наверх на мачту, другие вниз, вглубь корабля, толстые, в синих и красных шелковых обмотках, проволоки каких-то проводов.

— Этот аппарат, — сказал Макаров, и Клейсту показалось, что его голос звучал мрачно и торжественно и слова упали медленно и звучно, отчеканенные и отбитые, как удары молота, — этот аппарат носит название «Моя воля». На тридцать миль распространяется его влияние. И когда он устремит свои «веди-лучи» на какое-либо судно, то рулевое колесо этого судна будет поворачиваться туда, куда я поверну это небольшое колесо прибора. И никакие силы не в состоянии противиться ему. Мало того. Машина будет давать тот ход, который я укажу ей этим электрическим телеграфом, и притом помимо воли механика. Флот державы, которая вздумала бы противиться России, окажется неуправляемым. Наши суда повернут корабли противника туда, куда хотят, дадут ту скорость движения, какую захотят, и выбросят его на мели, разобьют о скалы, загонят обратно в гавани, прежде чем хотя один снаряд будет выпущен по нашим белым лебедям-кораблям. При таких условиях морская война невозможна.

На глазах Клейста таяло изображение прибора, и уже видно было матовое стекло экрана. В блеске люстры был виден стол и за ним десять бояр с бородами, патриарх и прекрасный государь, смотрящий на Клейста, прямо в душу его, своими большими голубо-серыми глазами.

Клейсту стало страшно. В первый раз подумал он о душе. Ему показалось, что глаза государевы, как тот аппарат, что стоял на столе и видел сквозь стены, видят самую душу Клейста и знают его помыслы, ему показалось, что в них заточен тоже своего рода аппарат «Моя воля» и что захочет этот прекрасный, рослый человек, красавец и богатырь, то слепо, безропотно исполнят люди. Выходцами из неведомого царства теней казались ему эти старики с седыми и седеющими бородами, то с кудрявыми волосами, длинными, серебряными прядями спускающимися на лоб, то с лысыми головами. Они прошли через голод, чуму и холеру, они были на краю гибели, они умерли как нация, и они воскресли. Какой великий дух должен был быть в этих людях, что могли они достигнуть таких глубоких тайн знания, которых не знала Западная Европа. Невольно воскликнул Клейст:

— Как же? Как же достигли вы всего этого? И отвечал медленно, чеканя слова, Государь:

— Творчество есть дар Духа Святого. Бога носят в себе Богом отмеченные люди. Вы расплюете это творчество в бездне стеснительных условий, придуманных вами для охраны трудящейся массы от капитала. Вас поглотила масса. Мы ищем людей, носящих искру Бога в душе своей, мы окружаем их заботами и даем возможность им работать. Каменщик, обливаясь потом, работает по восемь часов в сутки, таская кирпичи целыми годами, а архитектора посетило вдохновение на одну секунду, и в тиши и в тепле кабинета, работая мимолетно, он создал план храма, но не каменщик создал храм, а архитектор... У нас — всяк сверчок знай свой шесток.

— Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе своей, — сказал мягко патриарх, на которого взглянул государь.

— У нас, — сказал боярин, наблюдавший за правосудием, — равенство людей перед законом, но мы никогда не приравняем убогого дурачка человеку таланта. И вы не меняете простую лошадь на кровную, но простого рабочего ставите на одну степень с мастером.

— И от того, — сказал опять государь, — ум, талант и способности цветут в нашем государстве, как цветы у хорошего садовника.

— Живем мы по Богу, по святому Евангелию Господа нашего Иисуса Христа, — проговорил патриарх.

— И Господь не оставил нас, — сказал государь, — Кармаевский, расскажи немцу, как велики богатства престола нашего.

XIX

— Вы считаете богатством золото и камни самоцветные, — сказал Кармаевский, хранитель Государевой казны. — Наше богатство — земля и хлеб. Громадные заповедные леса, полные всякого зверя и птицы, тихие заводи сонных рек, кишачие рыбой, степи, необъятные взору человеческому, где в приволье трав живет и плодится лошадь, скалы и кремнистые пристены, поросшие виноградом, буйные заросли фруктовых деревьев в широком Семиречье, нивы золотые, колосом колышимые, — вот казна Государева.

— Мы молимся ежедневно и ежечасно, — сказал патриарх, — об изобилии плодов земных, мы благословляем пшеницу, вино и елей и не воздвигаем алтарей золотому тельцу.

— В каждом уезде, в каждой волости воеводств русских, — продолжал хранитель Государевой казны, — имеются постоянно освежаемые хранилища, где собраны хлеб и все необходимое, до одежды включительно, на десять лет на все население волости — это и есть Государева казна на случай какого-либо бедствия. Золото, серебро и самоцветные камни мы употребляем лишь как разменную монету для торговли и на украшения. Вы знаете, что в 19.. году грабители и разбойники, терзавшие Россию, переправили за границу все золото, все драгоценные камни. В России при вступлении на престол в Бозе почившего государя императора Всеволода Михайловича трудно было найти у кого-нибудь золотые часы или обручальное кольцо. И наш государь венчался деревянной короной, окованной железными обручами! Знаменитые Ленские прииски, по небрежности или злему умыслу комиссаров, были затоплены, и все сложные машины поломаны. Но Господь благословил нас и этим добром. Юноша-геолог Потанин, молодой сибиряк, открыл в 19.. году, что золотая жила, питающая знаменитый Клондайк, имеет начало на Камчатке. Пята этой жилы была обнаружена и оказалась залежью необычайной мощности. Теперь там стоит город Татьяна, названный так в память священноймученицы, великой княжны Татьяны Николаевны. Это уже большой город, с освещением грозовой силой, с проведенной водой и отличными домами. Два раза в неделю туда ходят воздушные корабли... В 19.. году в горах Кунгей-Алатау, к югу от Хоргоса, были открыты богатейшие залежи серебра и платины... С тех пор, как у нас были созданы новые школы и масса познала науку, у нас стало много великих исследователей и если бы нам понадобилось золото, мы могли бы сорвать его цену на мировой бирже...

После хранителя Государевой казны говорили другие бояре, и перед Клейстом открывалась картина упорного труда, где, с одной стороны, шли наука, знание, талант, гений, с другой — строго дисциплинированная мускульная сила почти рабов, но рабов, отлично содержанных, рабов, которые знают пути, как выйти из рабства, как стать господами и управителями. Клейст узнал, что в России каждый юноша по отбытии воинской повинности посвящает себя труду с низших степеней и может, если он талантлив и усерден, очень быстро добиться высших и, напротив, при тупости навсегда остаться в положении покупаемого работника. Он узнал, что Курцов, поступивший работником к Шагину, вместе с тем поступил под надзор десятника, и если о нем будет сказано, что он хороший, не ленивый работник, то ему дадут четыре десятины земли, если он сумеет их обработать,

и сможет купить еще — он может покупать столько, сколько может обработать. Клейст услышал здесь, что правительство всячески поощряет браки, и дети пользуются покровительством закона. Клейст узнал, что Россия опутана железными и воздушными путями, и товары легко перебрасывать с одного места на другое, он узнал, что пассажирское движение незначительно, потому что незачем ездить, ездят, да и то больше ходят пешком, — помолиться святым угодникам, по монастырям и скитам, или навестить родственников. Все дела — юридические, торговые — можно было завершить, не выезжая из своего воеводства.

Вставала перед Клейстом подлинно святая Русь, с ее тихими реками и тихой жизнью, с ее глубокой тысячелетней думой, накопившая особую мудрость. Не была это Азия, потому что блистала она живым умом, острым словом, играми молодецкими, сверкала изобретениями ума человеческого и громадной техникой, не была и Европа, ибо застыла в религиозном обожании Бога, природы и красоты, в тихой созерцательности туманных зорь и розовых закатов, лунной мечтательности философов Востока и богоискательстве. Это была именно Евразия — та середина двух великих древних миров, где в странной гармонии слились пытливые философии мудрецов Тибета и Китая с отрицательным умом далекого Запада. Почувствовал Клейст, что чья-то единая и суровая воля дисциплинировала этот высокоталантливый, но расплывчатый народ. Он слышал о дисциплине армии, где за малейшее возражение следовало наказание, он слышал о каторжных работах в угольных коях за воровство, убийство, за неповиновение законам. Он чуял, что здесь полная свобода, не знаемая в демократической Европе, для добрых дел и жестокая узда для злых.

Было за полночь, когда государь закрыл заседание Боярской думы.

Опять была молитва, после которой государь подошел к Клейсту.

— Когда уезжаешь? — спросил он.

— Когда Ваше Величество разрешите мне, — сказал Клейст.

Государь нахмурился.

— У нас люди, не делающие зла, свободны. Ты мой гость, но знаю, что у тебя есть родина, свой дом, а как в гостях ни хорошо — дома лучше.

— Я бы поехал завтра.

— Быть по сему, — сказал государь. — Табачным зельем бапуешься, куришь?

— Курю, Ваше Величество.

— Поди, тяжело было. У нас, где иконы и лампадка теплится, не курят. Ну ничего — дома накуришься.

Государь крепко пожал руку Клейсту и еще раз в самую душу его заглянул своими прекрасными глазами... Он вышел вместе с патриархом из зала. Все бояре последовали за ним.

Клейст видел, как государь сел в одиночные сани, запряженные великолепным серым рысаком, и один поехал от дворца. Часовой у памятника стал смирно и взял на караул, сани завернули на Морскую и скрылись за домом.

Бояре поздравляли Клейста с монаршей милостью, с тем, что государь удостоил его ласкового слова. Ему желали счастливого пути. Попыхач воеводы военного разряда усадил его в сани, и они поехали в Северную гостиницу.

Крепкая забота была на душе у Клейста. Легко было сказать государю: «Я уезжаю завтра», а как подумал о чертополоховом поле, душа застыла. Как перейти его зимой, когда и летом два раза отчаяние нападало на него? Да и тогда он был не один, а теперь одному... «Пожалуй, что я и совсем не выберусь отсюда», — подумал Клейст, входя в свой номер.

XX

На другой день Клейст рано поднялся. Было еще совсем темно. Он отдернул тяжелую портьеру. Мутная, долгая зимняя ночь висела над городом. Шел снег, ветер наметал сугробы, и в хороводе блестящих снежинок неясно виднелись улицы, обвешанные гирляндами фонарей. Дворники целой шеренгой, весело переговариваясь, скребли и мели метлами занесенную снегом панель. Сани с большими койками, обтянутыми рогожами, стояли у панелей, и в них накладывали большие комья снега, белые, квадратные, точно гигантские куски русского сахара. Клейст открыл форточку. Вместе с пушинками снега, красивыми звездочками садившимися на рукава его черного сюртука, в комнату ворвался запах озона, снега, русской зимы и чистоты слегка морозного воздуха. Внизу раздавались голоса, шуршанье метел и визг скребков. Скрипели сани, и лошади ржали. В церкви Знамения горели желтыми огоньками свечек большие окна в железных решетках. На Николаевском вокзале свистал паровоз. Извозчики стояли ровным полукругом подле памятника, ожидая утреннего поезда из Москвы. Город жил своей жизнью, и никому не было дела до того, что член германского рейхстага Карл Феодор

Клейст собирается ехать в Берлин, и ему предстоит бесконечно мучительное путешествие. Представил себе деревню Большие Котлы, занесенную снегом, поля за лесом, все в снеговых сугробах, и чертополоховое поле, к которому приник снег вышиной в два роста человека.

«Эх, неладно: я задумал», — подумал Клейст, и ему показалось холодно, жутко и одиноко в теплом номере гостиницы.

Ударил колокол, и разлился его медный звон по зимнему воздуху. Точно кто камень бросил в воду, и пошли дрожащие круги по воздуху, и долго гудели в ухе, чуть колеблясь. Клейст прислушался. Колокол ударил еще и еще раз, чаще, ему ответил нежным тенорком другой колокольчик, дважды хвативший между ударами большого колокола.

— Бла-го-вест, — раздельно произнес Клейст новое слово, которое узнал в России. — Вчера, — мне говорил Шуйский, — жена его именинница. Варварин день сегодня. В Петербурге много именинниц. В сластечных Иванова, Кузнецова, Кочкурова, Абрикосова он видел вчера много пирогов и конфет. Вот почему и благовест. Вар-ва-рин день.

Клейст вздохнул, захлопнул форточку, задернул портьеру и позвонил пологового. Потребовал кофе.

Половой принес на серебряном подносе прибор и чашку и, закинув салфетку под мышку тем отчетливым движением, каким умеют закидывать только русские половые, сказал:

— По дальносказу из дворцового разряда спрашивали, изволили ли вы встать и до которого часа будете дома?

— Передайте: до одиннадцати.

— Слушаюсь.

«Вероятно, какая-нибудь формальность с отъездом. Не могут же они меня так просто отпустить, не провизировав паспорта, не взяв какого-нибудь Steuer'a за мое пребывание здесь», — подумал Клейст.

— Счет готов? — спросил он.

— Не извольте беспокоиться, по повелению государя императора приказано счета ваши для оплаты переслать в дворцовую избу.

Клейст молча посмотрела на пологового. Он ничего не понимал.

— Больше ничего не прикажете?

— Нет. Ничего.

Пил кофе в глубоком раздумье.

«Да, особенное царство. Особые нравы. Не Европа и не Азия. Евразия или... или... Россия».

Что-то теплое послышалось в этом слове, ласковое, милое, сердечное и любящее. Вдохнул... Хорошо стало на сердце.

В половине одиннадцатого к нему постучали. Половой почтительно пропустил статного молодца в малиновой рубаше и темно-зеленом кафтане, на котором был вышит золотыми нитками государственный герб — двуглавый орел.

— Сокольничий Его Императорского Величества, — сказал вошедший, — князь Никита Павлыч Купетов.

Сзади него шел дворцовый стрелец в малиновом кафтане с желтой тесьмой, с большим, аккуратно увязанным пакетом в руках.

— Жалует-ста вас, господин профессор, — сказал сокольничий, — царь-батюшка высочайшим своим подарком на память о России.

Он вынул из кармана кафтана небольшой пакет, завернутый в тонкую бумагу, развернул изящный темно-синий кожаный футляр и, открыв его, подал Клей-сту.

В футляре лежал тяжелый, темного золота, превосходной работы портсигар. Двуглавый орел из бриллиантов, рубинов и сапфиров был выложен на его крышке. Большой темно-синий кабошон был у закрывавшей его пружинки.

Сокольничий взял от стрельца пакет и поставил его к ногам Клейста.

— А здесь десять тысяч папирос русского табаку крымской государственной посадки.

Клейст смотрел на сокольничего. Сокольничий был красивый мужчина лет тридцати. Маленькая русая борода была аккуратно подстрижена клинышком, усы блестели, и открыто смотрели большие глаза, опущенные длинными, загнутыми вверх ресницами. «Сноб, должно быть, — подумал Клейст, — малый не дурак выпить и покушать».

— Какой подарок! — воскликнул Клейст. — Но что же я должен делать? Чем я заслужил?

— Молить Господа Сил о здравии государевом. А заслужили? На то царева воля, — улыбаясь, сказал сокольничий.

— Но, князь... — смущенно проговорил Клейст — Его Величеству неизвестны условия путешествия. На западной границе самый тщательный обыск, такой же обыск у въезда в Польский коридор. Ввоз золота и камней воспрещен — все это достояние государств... Там, с позволения сказать, грабит пассажира всякий, кому не лень. В этом гербе с эмблемами императорской власти усмотрят целое преступление. Ящик с брошюрами самой безнравственной, возмутительной

литературы легче провезти, чем вещь, от которой пахнет контрреволюцией. И я боюсь, что эта вещь попадет в недостойные руки, а меня запрут в одну из мрачных тюрем подозрительной ко всему Германии. И я, как я донесу сквозь чертополохи этот громадный тюк с папиросами? О, князь! Князь, велика милость его Императорского Величества, но вы совершенно не знаете жизни в демократическом свободном государстве, где всякий непрерывно заглядывает в ваш карман, считает куски хлеба у вас во рту и папиросы в портсигаре. Меня оберут и мало того, что оберут, — жестоко оштрафуют за то, что я превысил трудовую норму своего профессорского пайка!

Сокольничий тонко улыбался.

— О таможне, господин профессор, не извольте беспокоиться. Его Величество приказал предоставить в распоряжение ваше воздушный корабль Его Величества «Светлану», и вы будете высажены у самого подъезда вашего дома. Что касается дальнейшего, то, полагаю, что доклад ваш в рейхстаге оправдывает получение вами подарка. Я заеду за вами в четверть восьмого и доставлю вас до самой вашей квартиры.

— О, князь... Но я вижу, что я попал в страну чудес, что старая сказка разворачивается передо мной, — проговорил Клейст.

— Вы находитесь просто в государстве, где обожествленная воля одного лица заставляет прилежно трудиться всех верноподданных, — изящно сгибаясь, сказал сокольничий.

— Могу ли я передать Его Величеству те чувства благодарности и глубокой преданности, которые я испытываю, то умиление, которое охватывает меня здесь?

— Я передам Его Величеству все, что вы мне скажете, — сказал сокольничий.

XXI

Около восьми часов вечера Клейст с князем Купетовым, Кореновым, Эльзой и Демидовым на широких санях, запряженных парой караковых рысаков, выехали в предместье города. Снег стал гуще, местами на улице были ухабы, и сани ныряли в них. Освещение было беднее, вместо домов потянулись каменные сараи, и Клейст читал вывески: «Торговый дом Сытина с сыновьями», «Курицын и сын. Склад готового платья. Существует с 1732 года», «Склад торгового дома Елисеевых. Бакалейные и фруктовые товары. Основан в 1708 году», «Савва Морозов и сыновья»...

— Все старые наши купеческие семьи, — сказал Ку-петов. — Пощипал их неистовый бунт, ну да оправились. Талантливый народ.

— Посмотрите, доктор, на небо, — сказала Эльза. Клейст поднял глаза и сначала не мог понять, что там такое. В мутной темноте зимнего неба (вьюга не унималась) показались какие-то темные предметы. Облака не облака, цеппелины не цеппелины. Темные продолговатые, белые небольшие, черные громадные предметы висели в воздухе на высоте семизэтажного дома. От них тянулись к земле прочные канаты, и они были вытянуты ветром в одну сторону и чуть колебались в воздухе, как колышется поднятый ветром бумажный змей. Но у них не было стремления вверх, как это бывает у воздушных шаров, а казалось, они плавали на каком-то уровне. И странная нелепая мысль пришла в голову Клейста: они едут в санях по дну какого-то прозрачного моря, а над их головами стоят на поверхности моря корабли, которые они видят со дна.

— Доктор, — сказала Эльза, — точно мы на дне моря и над нами пароходы. Как жутко! Та же мысль пришла и ей.

— Это, — сказал Купетов, — воздушный флот у Новодевичьей гавани. Мы подъезжаем к пристани.

Высокое, со сводами внизу, семизэтажное белое здание надвинулось на них. Несколько извозчиков стояло перед ним, с ломовых саней носили тюки. Видны были флаги бело-сине-красные с эмблемами в углу белой полосы. «Добровольный флот», «Русское общество пароходства и торговли», «Русско-Азиатское общество», «Камчатское общество», «Диамантиды с сыновьями», «Шитов», «Общество Самолет» — мелькали вывески.

Сани обогнули это здание и подъехали к боковому подъезду, над которым реял белый флаг с двумя голубыми широкими диагональными полосами. У подъезда, возле будки, стоял часовой матрос в полушубке с черными погонами и в меховой низкой шапке. Он сделал знак не идти дальше и нажал пуговку у будки. Из подъезда выскочил молодец в синем морском кафтане. Купетов на ухо сказал ему какое-то слово.

— Есть! — сказал молодец. — Пожалуйте, ваше сиятельство. Порох! Запечалов! Помогите забрать вещи, — кликнул он в глубь здания.

Два матроса вышли оттуда и забрали чемодан Клейста и тюк с папиросами.

— Все? — спросил молодец.

— Все, — отвечал Клейст. — Мои друзья могут проводить меня?

— Пожалуйте, — сказал матрос и распахнул двери. Они вошли в тускло освещенный коридор. Но сейчас же ярко вспыхнули элек-

трические лампочки, и они увидели красивый зал, выложенный мрамором. В глубине, в нише, была икона. Христос, шествующий по водам. В зале было холодно. Вправо и влево были решетчатые двери. За ними — лифт.

Они поднялись наверх и оказались в ярко освещенном холле. На окнах висели портьеры, стояли диваны, стол с письменным прибором.

— Обождите одну минуту, — сказал сокольничий и вышел в двери.

Пахнуло крепким морозом, снежинки ворвались в щель и легли белой полоской на мягком ковре. За окнами бушевала вьюга. Слышно было завывание ветра, снег ударял струями в стекла и звенел ими. Жутко становилось Клейсту.

— Прошу вас, — сказал, входя с офицером в синем кафтане, Купетов. — Корабль у пристани. Позвольте познакомить: атаман корабля, есаул Перский.

— Очень рад, — сказал Перский.

«Настоящий морской волк», — подумала Эльза, глядя на широкое красное лицо Перского, обрамленное неровными клочьями рыжей бороды.

Они вышли на крышу здания и остановились.

Яростный ветер со снегом захватил их дыхание, закрутил полы шуб около ног, ослепил глаза. Над головой трепетал и грозно хлопал большой флаг. Крыша дома казалась громадным молом. Длинная, узкая, заставленная кое-где ящиками и тюками, с узкими рельсами вагонеток, с тяжелыми чугунными причалами по краям. Часовой, занесенный снегом, ходил взад и вперед по краю. Иллюзия была так велика, что Клейсту почудилось, что он слышит грозный грохот волн. Но там, где должно было быть море, свистал ветер, неслись снежинки и в мутном белом зареве чуть светились огни города.

У крыши, причаленный канатами, стоял и чуть колебался белый продолговатый корабль. Приветливо светились окна иллюминаторов, и в них видна была обстановка салона, столовой со столом, накрытым для ужина. Наверху была рубка, совсем такая, как на морском пароходе, с компасом и двумя указателями со стрелками. Корабль чуть колебался от порывов ветра и терся мягкими веревочными боканцами о края пристани-крыши. И было непонятно, какая сила его держит. У него не было крыльев аэроплана и не было обширных размеров цеппелина. Правда, вместимость кают не отвечала размерам. Какие-то особые камеры скрывали его бак, и ют, и трюм были особого устройства. За кормой висел большой, красиво изогнутый винт.

— По русскому морскому обычаю, — шепнул Купе-тов Клей-сту, — войдя на палубу, снимите шапку.

Жутко было Клейсту идти по мостiku. В щель между кораблем и крышей мелькнули огоньки улицы внизу. Стояли их сани у подъезда и казались маленькими игрушечными санями.

Корабль не колыхнулся от тяжести Клейста. На нем еще сильнее ощущалась выюга. Ветер вихрем раздул его длинные седые волосы и затрепал над головой. Снег слоями лежал на палубе.

— Пожалуйте в каюту, — сказал Перский. — Вам из окна будут видны ваши друзья.

Купетов уже вошел в салон.

Снаружи, заглушаемые ветром, раздавались команды. По крыше здания бегали матросы, отодвигали сходни, снимали причалы. Несмело зашумел винт и сейчас же стал работать тихо и неслышно. Звякнул звонок зрительного телеграфа. Эльза, махающая платочком в изящно, по-немецки, выгнутой руке, Коренев и Демидов отделились и поплыли мимо, стали ниже... Прямо против окна мотался громадный белый флаг, еще раз звякнул мелодично телеграф, кто-то наверху сказал мрачным басом:

— Право руля!

И другой бас ему ответил коротко, точно икнул:

— Есть.

— Еще право руля!

— Есть.

Корабль чуть заметно покачнуло, звякнули в столовой стаканы.

— Так держать! — пробасили наверху.

— Есть, — отвечал голос.

Дверь распахнулась, и с коричневым от мороза лицом, засыпанный снегом, вошел в каюту атаман Перский с седой от инея бородой.

— Ну и погода, — сказал он. — Ничего не видно. Огней города не видать. Пойдемте, господа, ужинать, а потом и спать.

XXII

Ужинали вчетвером: Клейст, Перский, князь Купетов и старший офицер корабля, молодой человек, толстогубый, с большими глазами, безусый и безбородый, очень застенчивый и молчаливый. Звали его Антон Антонович, а Перский звал отечески Антошей. За окнами яростно выла выюга, и весь корабль временами потрясался и вздрагивал от порывов ветра. Внизу, в машинном отделении, мерно и почти

бесшумно стучал мотор и что-то шипело, и Клейсту казалось, что он идет на пароходе по реке, и шипят волны, и шумит ветер в прибрежных лесах.

— Скажите, — сказал он, когда после сладкого матрос-вестовой внес стаканы с оранжевым дымящимся чаем, поднос с графинчиками коньяка и рома и вазочку с фруктами и печеньем, — если это, конечно, не тайна, каким образом вы достигли такой устойчивости, прочности и громадной подъемной силы ваших воздушных кораблей? А главное, что меня удивляет, что они плавают на любом уровне так же свободно, как плавают пробка по поверхности воды.

— Вы, конечно, знаете, — сказал Перский, — этот опыт, когда в стеклянный сосуд наливают пополам воду и спирт, а потом впускают каплю масла, и масло находится посередине жидкости и принимает шарообразную форму. Задача наших химиков была в том, чтобы открыть такой газ, который по отношению к атмосфере был бы как масло к спирту с водой — то есть свободно плавал бы в любом слое. Этот газ открыли. Это димитрилий, названный так в память Дмитрия Ивановича Менделеева, знаменитого русского химика конца прошлого столетия. Теперь осталось сделать его таковым, чтобы он мог держать не только себя, но и значительный тоннаж. Случайное открытие химика Пашуткина, который, отыскивая водий, внезапно был поднят с целой избой на воздух, причем изба была вырвана из фундамента, и Пашуткин несомненно погиб бы, если бы не был задержан ветвями могучих дубов и не догадался открыть окна и двери и выпустить открытый им новый газ пашутий, подъемная сила которого в пятьсот тысяч раз превосходит подъемную силу водорода, дало дальнейший толчок к работе. Эти два открытия сделали то же самое, что изобретение двигателя внутреннего сгорания для создания аэропланов, или самолетов. Остальное — техника.

— Из чего построен корабль? — спросил Клейст.

— Из самой прочной стали, причем обвод его и килевая балка сделаны из целого куска. Помните катастрофу в Англии в 1921 году с цепелином, полученным от немцев? Тогда погибло около сорока человек. Люди того времени не рассчитали, что воздух — не вода. Вода позволяет строить стальные громады на клепках, она их держит, но и то — помните катастрофу с «Титаником», который переломился от удара о льдину в северных широтах Атлантического океана в начале нынешнего столетия? Нам пришлось выработать особенно прочные сорта стали, которые позволили бы громадными кораблям висеть в воздухе, не ломаясь.

— Где же помещен газ?

— Внутри корабля три отсека: один для пашутия, силы толкающей корабль вверх, другой для димитрипия, силы, держащей корабль на одном уровне, и третий для прибора, образующего воду и тянущего корабль книзу. Посередине — машинное отделение. Если вы войдете в него, вы увидите большие бидоны, наполненные белыми и чуть синеватыми порошками, напоминающими муку. При соприкосновении с воздухом, особым образом продуманным сквозь них, каждый дает соответствующий газ в резервуаре. Делается это механически, и забота кочегара только наблюдать, чтобы в соответствующих емкостях был всегда насыпан нужный порошок. Если не боитесь страшной вьюги и мороза, поднимитесь на минуту на атаманскую рубку.

— С удовольствием, — сказал Клейст. Они поднялись по железной лесенке, занесенной снегом, на мостик со стеклянной коробкой. Там в белом сумраке неподвижно стояли три фигуры. Вахтенный офицер смотрел в окно рубки, матрос с паклей непрерывно протирал от снега стекла, другой матрос стоял, положив руки в кожаных перчатках на рулевое колесо, и не спуская глаз смотрел на ярко освещенную картушку компаса. Впереди компаса в мутной игре снежинок виднелась носовая часть, засыпанная снегом, и белый флагшток, на котором, как звездочка, горела лампочка. Стрелка компаса, не колеблясь, смотрела на север, линия корабля была обозначена черной стрелкой, совпадавшей с его осью и указывавшей Ю.З.234. За компасом, на небольшом столе, лежали карта северной части Европы, линейка, были нарисованы румбы, и карандашная линия соединяла Петербург с Берлином. Линия эта была Ю.З.234. Правее компаса был большой барометр высот в медной оправе со стрелкой, неуклонно стоявшей на одном делении, левее был циферблат воздушного телеграфа в машинное отделение с надписями: «Вверх», «Вниз», «Ровно», «Вперед», «Мал.», «Полн.», «Стоять», «Назад», «Мал.», «Полн.», «Стоять» — все, как на всех пароходах.

— Мы идем очень низко, — сказал Перский. — Ветер наверху слишком силен, и нас сносило бы в сторону, много снега налипло на палубу, и корабль отяжелел. Мы идем со скоростью всего 20 английских миль в час, и в данное время должны находиться над озером Пейпус. Иван Иванович, — обратился он к офицеру, — видно что-нибудь?

— Ничего не видно, Семен Петрович. Идем, как в молоке.

— Огней Нарвы не видали?

— Никак нет.

— Думаете увидеть огни Юрьева?

— Если вьюга не стихнет, ничего не увидим, хоть идем на высоте семиэтажного дома. Одно время мне казалось, что внизу лес шумит, да и то не уверен. Вьюга сильна.

Клейст подошел к поручням. Ледяной ветер обжег его лицо и захватил дыхание. Кругом была белая мгла, и невозможно было понять в хаосе снежинок, идет или стоит корабль и где он — на воздухе, на земле, на воде? Морские часы отбили склянки, и опять только вой ветра, медленные движения рулевого колеса и все такой же острый напряженный взгляд матроса вдаль, на огонек и белую линию палки флагштока.

— Ничего интересного, — оказал Перский, — идите, господин профессор, спать. Утро вечера мудренее.

В маленькой теплой каюте, куда спустился с атаманского мостика Клейст, было две койки. На одной уже крепко спал Купетов, и его лицо выражало сладкий покой. Клейсту жутко было раздеваться. Смущенно подумал, что он несется в хаосе снежинок над лесами и озерами, и замерло от страха его сердце, но посмотрел на Купетова, на застланную свежим бельем койку, потянулся, закутался с головой в одеяло и крепко уснул под неистовый вой ветра, стук вьюги в окно и равномерное дыхание машины, нарушаемое каким-то шипением, похожим на тяжелые вздохи.

XXIII

Клейст проснулся поздно. Купетова на койке не было. Низкое северное солнце бросало лучи на белую занавеску с вытканными на ней двуглавым орлом и надписью «Светлана» славянскими буквами. Отдернул занавеску. Вьюга стихла. Кругом была необычайная голубизна. Далеко внизу виднелась белая земля, подернутая розовым туманом, и за ней что-то синее, прозрачное сливалось с небом. Ветер завывал в вантах корабля, потряхивал окном, в углах которого набились снежинки, тихо и мерно стучала машина. Клейст оделся и вышел в столовую. Купетов пил чай. На столе стояли белые булочки, сливочное масло, ветчина, холодная телятина и яйца.

— Заспались, дорогой профессор, — сказал, здороваясь с Клейстом, Купетов. — Одиннадцать часов уже. Да и правда, нигде так не спится, как на воздушных кораблях. Я раз в такую же вьюгу до самой Казани проспал, а это больше суток пути. Вы что пьете по утрам — чай или кофе?

— Кофе, — сказал Клейст.

— Вестово-ой! — молодое, заодно крикнул Купетов. — Кофе его превосходительству.

— Есть, — ответил появившийся снизу матрос с чисто вымытым блестящим румяным лицом, оскалил ровные белые зубы в веселой улыбке и сейчас же исчез на витой лестнице, ведущей в буфетную.

— И подумаешь, — щуря глаза и истомно потягиваясь, проговорил Купетов, — эти молодцы живьем топили наших дедов, издевались, резали кожу, бросали в машинную топку! Сумасшествие какое-то!

В час дня завтракали. Был розовый борщ в больших чашках, с маленькими зубчатыми ватрушками, бараньи котлетки и пунш глясе. Перский и молодой офицер, стоявший ночью на вахте, завтракали вместе с ними. Завтрак приходил уже к концу, Купетов раскуривал батум-скую сигару, которой угостил и Клейста, когда вниз спустился румяный круглолицый Антоша. Его круглые глаза вертелись, а волосы непослушно торчали ершиком. Он внес с собою редкий дух мороза, синего неба и бледного зимнего солнца.

— Либавы нет, Семен Петрович, — с тревогой в голосе сказал он.

— Я так и думал, что нас несет южнее, — сказал спокойно Перский и встал из за стола.

— Мне можно с вами? — спросил Клейст.

— Пожалуйста. Только одевайтесь потеплее. Мороз, солнце и ветер, а ведь зимнее-то северное солнышко не греет, а пуще холодит.

Наверху было жестоко холодно. Корабль плыл на высоте полутора верст над землей. Внизу был необъятный простор зеленоватого-синего моря, по которому белыми пятнами носились льдины. Корабль неся к этому морю, оставляя за собою белую полосу земли, на которой кое-где чернели и краснели крыши селений.

Влево, на самом горизонте, виднелась группа домиков побольше, и темная полоса дыма облаком стояла над ней.

— Может быть, это Либавы? — робко спросил Антоша, указывая на дым.

Перский внимательно смотрел в бинокль. Он тяжело дышал, и пар густыми струями шел из его рта.

— Оборони Бог. Ничего подобного. Видите темную косу? Это Куриш-гаф, а город — Мемель. Ну конечно... Мемель... Однако почти на 50 миль к югу нас снесло за ночь.

Он подошел к карте.

— Юго-запад, — сказал он, — 234.

— Есть, — мрачно сказал заиндевелый матрос и заворачивал колесом.

Черная стрелка пошатнулась и подалась к магнитной стрелке, корабль изменил курс.

— Как думаете, нас снизу не видать? — спросил Клейст.

— Машина идет без шума. Ведь самолеты или ваши цеппелины почему видят? Потому что они шумят. Услышат шум винта, задерут головы кверху и ищут, кто шумит. А нас не слышно. Да и летим над морем. А что, французов боитесь? И когда вы сломите этот нелепый коридор?

— Ох, уже и не знаю, когда, — сказал Клейст. — А вы бывали здесь?

— Бывал ли я? — сказал Перский. — Вы, господин профессор, играете в шахматы?

Клейст понял, что вопрос его был некстати, и согласился сыграть партию с атаманом. Игра затянулась, наступили сумерки. В окно каюты видно было море густого синего цвета, берегов не было видно.

В 6 часов обедали.

— А вы не приляжете, господин профессор? — сказал Купетов. — В Берлине будем около четырех часов утра. Это время, когда рабочий Берлин еще не встал, а гуляющий уже лег, а ведь нам надо спуститься в город так, чтобы нас никто не видал, а то пойдут разговоры, запишут газеты, а я этого пуще всего боюсь. Наврут такого!

Но Клейст не лег спать. Он был слишком взволнован. Уже очень необыкновенно это все было. Вчера в это время он с Корневым, Дятловым и Эльзой были на прощальном обеде у Демидовых. Вчера он сидел в уютной столовой на Офицерской улице, за столом, накрытым скатертью и уставленным яствами, вчера говорили тосты и пожелания, а сегодня он приближается к бурно-кипящему политической жизнью Берлину. Вчера на все государева воля, царь, обоженный народом, приказ свыше, кучка разумных старых людей, ведущих политику страны по старине, чтобы сытно и тепло было, а сегодня... Клейст покинул Берлин с министерством из левых социалистов, кого застанет он теперь? Правые партии стремились захватить власть в свои руки. Марка снова катастрофически падала. Английский фунт дошел до стоимости трех тысяч шестисот марок, наверху спекулировали на валюте банки, внизу умирали от голода рабочие, Steuer достигал восьмидесяти процентов заработной платы. Ожидали переворота. Кого застанет он теперь в Берлине? Бравого шуцмана в имперской каске или «товарищей-коммунистов», обмотанных пулеметными лентами?

Клейст сидел над книгой, взятой им в каюте. Книга была Евангелие. С самого далекого детства не читал он эту запрещенную в Западной Европе книгу и поражался глубоким смыслом учения Христа.

— Если бы мы шли за Ним, — прошептал он, — если бы шли!..

— Подходим к Берлину, — сказал кто-то за дверью. Спавший одетым на койке Купетов заворочался и сел.

— А? Что? Уже к Берлину подходим? Который час? — спросил он.

— Три минуты четвертого, — сказал Клейст, оделся и вышел на мостик.

Громадная полоса огней занимала весь горизонт. Мировой город медленно надвигался из тьмы. На корабле были погашены огни. Окна каюты наглухо задраены суконными занавесами. Винт работал бесшумно, и корабль, как птица, парил над городом.

На столе в рубке поверх морской карты Европы лежал большой Pharus-Plan* Берлина. Желтые улицы резкими полосами бежали по нему.

— А, очень кстати, господин профессор, — сказал Перский, бывший наверху. — Покажите совершенно точно, где ваш дом.

Клейст отыскал Uhland-Straße и показал ее Перскому.

— Отлично. Если я не ошибаюсь, эти три темные пятна среди зелени лесов — это Вейсен-зее, Оранке-зее и Обер-зее.

— Совершенно верно, — сказал Клейст.

— Мы идем вдоль Грейфсвальдер-штрассе?

— Да.

Корабль заметно опускался. Зеленые медные крыши собора, шлосса, музеев, изгибы реки уже намечались среди фонарей. Улицы были пусты. Ни трамваев, ни такси нигде не было видно. Штадтбан не ходил. Город спал глухим предутренним сном.

Перский рукой указывал направление кораблю, и так же молча матрос вертел рулевое колесо. Корабль шел почти над крышами домов. Широкое Унтер-ден-Линден было пусто. Два извозчика дремали на углу Фридрих-штрассе. Какой-то подвыпивший человек в цилиндре шел по середине бульвара. Золотая статуя Победы, как живая, неслась навстречу, показалась широкая аллея с разрушенными коммунистами памятниками королей и императоров, от которых остались только белые постаменты да груды мрамора. Корабль плыл над темными ветвями дубов, лип и каштанов Тиргартена. Он шел так низко, что Клейсту казалось, что он касается днищем их вершин. Высокие шпили колокольни Гедехтнис-Кирхе прошли мимо в уровень

* Многоцветный план (нем.).

с палубой, и видны были ажурные просветы ее. Большие дома Курфюрстендamme стояли темные, точно нежилые. Ни одно окно не светило в них. Вот и Уланд-штрассе. Корабль круто повернул направо. Машина остановилась, корабль стал как бы тонуть в воздухе, плавно опускаться вниз. Перский не снимал руки с ручки воздушного телеграфа. То и дело мелодично звенел колокольчик, уведомляя, что приказ дошел до машины, внизу что-то шипело и вздыхало, винт стоял неподвижно. Мимо Клейста снизу вверх проплыли окна его квартиры с опущенными занавесами, потом кабинет зубного врача, сквозь стекла показалось кресло, накрытое белым чехлом, и какие-то машины. Корабль дрогнул и остановился. Шурша, развернулась лестница. Два матроса с вещами Клейста сбежали по ней на улицу и натянули ее.

— Прощайте, дорогой профессор, — сказал атаман.

— Прощайте! Прощайте, — торопливо говорили Купетов, Антоша и Иван Иванович.

Они были взволнованы и торопились.

Клейст, путаясь в полах шубы, спустился по лестнице, и едва он ступил на мостовую, матросы проворно взбежали наверх, лестница свернулась, и корабль быстро, с легким шипением, взмыл вверх и исчез, точно растаял в небе.

Все было как сон. Все четыре месяца были как сон.

Клейст перенес свой чемодан и пакет с папиросами к подъезду и надавил пуговку звонка.

Пакет с папиросами не был сном.

Два человека бежали к нему.

— Черт, — крикнул первый, хватая Клейста за грудь, — откуда вы взялись?

— Как откуда, я звоню у своей квартиры, — отвечал порядком перетрусивший Клейст.

— А воздушный шар? — воскликнул второй.

— Какой шар?

— Мы от самой Гедехтнис-Кирхе бежим за ним. Он завернул сюда.

— И вдруг человек!

— Проснитесь, товарищ, вы хватили лишнее.

— А это что за вещи?

— Не ваше дело, товарищи. Мои вещи.

— Украли, поди-ка.

— Отродясь этим не занимался. Я член рейхстага — Клейст. Это и привратница подтвердит.

Клейст, освободившись из рук держащего его, неистово стучал в окно.

— О! Доннер веттер*, — послышалось наконец оттуда. — Кто еще помится сюда? Нур фюр хершафтен, мей-не херрен**. Все жильцы уже дома.

— Фрау Фицке, разве вы не узнаете меня? — сказал Клейст, нагибаясь к окну.

— Ах, херр профессор, но откуда вы взялись?

— Пришел пешком с вокзала Зоо, — говорил Клейст.

— Ах, ах, как же так? Устали, поди-ка.

— А шар? — сказал настойчиво первый. — Вы прилетели на шаре.

— Вы очумели, товарищи, — сказал, протискиваясь мимо закутанной в платок привратницы, Клейст. — Вы очумели. Где же он?

— Но я не пьян. Я видел, как он летел.

— Ну, куда-нибудь в другое место, — сказал Клейст и протащил пакет с папиросами на лестницу.

— Ах, господин профессор, а мы думали, вы совсем пропали...

Гуляки отошли от подъезда.

— Я видал, — говорил один.

— И я видал, — сказал другой.

— Мы видали оба.

— И нет ничего.

— Чертова затея.

— Надо донести в Совет. Профессор Клейст! Запомните, товарищ.

— Да, товарищ. Хорошо только, если не какая-либо французская штука.

— Или новый путч баварских монархистов.

— Надо было схватить его!

Доннер веттер! Доннер веттер!

XXIV

— Но, господин профессор, — моргая заспанными глазами говорила фрау Фицке, — вам нельзя идти на вашу квартиру.

— Почему?

* Черт возьми! (нем.)

** Только для господ, господ (нем.).

— Ах, господин профессор! Вы так долго отсутствовали... Ваша виза была только на три месяца... Вонунгс-амт* ввиду жилищной нужды вселил в вашу квартиру хер-ра Кнобеля, фрау Перш и семейство Шпукферботен с восемью маленькими детьми. Все ваши комнаты заняты.

— Но кабинет... Там мои бумаги...

— Я знала, господин профессор, и я сохранила ваши бумаги. Только немного успели взять на растопку печей. Товарищ Кнобель — такой спартакист.

— Что же мне делать?

— Я уже не знаю, господин профессор. Не иначе, как вам придется подать заявление в Вонунгс-амт. Вонунгс-амт должен озаботиться подысканием вам соответствующего помещения. Он отыскал же для этих господ.

— Но, позвольте, фрау Фицке, ведь вы же знаете, что это моя квартира. Как же я не могу войти и занять мою квартиру?

— Господин профессор, увы, у нас теперь нет собственности. Закон о социализации всех имуществ обнародован два месяца тому назад.

— Кто же теперь у власти?

— После октябрьских беспорядков спартакисты стоят у власти.

У Клейста опустились руки. Ему казалось, что портсигар своим двуглавым орлом с коронами жжет его ногу.

— Что же мне делать? — вяло спросил он.

— Уже и не знаю что, — сказала старуха.

— Пойдите... Если мне telefonировать к Кореневу, или на квартиру Эльзы Беттхер, или в Американское общество «Амиуазпролчилпок»?

— Теперь, господин профессор, по телефону можно говорить, только подав перед каждым разговором письменное заявление в Ферншпрехер-Амт.

— Что за чушь такая?

— Такое распоряжение. — Старуха понизила голос до шепота. — «Они», господин профессор, боятся. Ожидают восстания правых партий.

— Но куда же мне деваться? — сказал Клейст.

— Ох! Уж и не знаю куда, господин профессор.

— Ну вот что, фрау Фицке, — решительно сказал Клейст, — я ночую у вас.

* Жилищная комиссия, распределяющая свободные квартиры (нем.).

И он направился к дверям ее каморки.

— Господин профессор, — застонала старуха. — Но как же это возможно? Это же моя каморка. Я принуждена буду жаловаться.

— Ничего подобного. Аусгешлоссен*, фрау Фицке! Собственность отменена. Надо же, наконец, и мне где-нибудь ночевать?

Невеселую ночь провел Клейст. Старуха ворчала до самого утра, лежа на своей кровати под пуховым одеялом. Клейст сидел на стуле и, облокотившись о стол, дремал и думал, как при теперешнем правительстве ему передать все то, что поручил ему передать император Михаил Всеволодович и его думные бояре.

XXV

На другой день Клейст отправился на квартиру Коренева. Пожилая фрау Тонн, любившая Коренева, как родного сына, сумела отстоять его комнату, его мольберты, полотна и краски от социализации и охотно пустила к себе профессора Клейста, о котором много слышала от своего постояльца.

Она поила Клейста кофе и слушала его рассказы про чудесную страну, из которой Клейст только что вернулся.

— Что же, — сказала она, — и у нас, рассказывала мне моя мутти**, не хуже ихнего при кайзере было. Довольство, порядок. Ну и теперь, — прошептала она, таинственно оглядываясь и закрывая рот рукой, — сказывают, тоже скоро опять кайзер будет. Сумасшествие-то это проходит.

Клейст вспомнил, что была среда, и пошел к пяти часам к госпоже Двороконской, чтобы рассказать русским друзьям о России.

Клейсту казалось, что прошла целая вечность после той июльской среды, когда горячо говорил Коренев и ему возражали Дятлов и Виктория Павловна, и потому ему было странно найти всех на тех же местах, нисколько не постаревшими, нисколько не изменившимися. И гости были те же, профессор русской истории и словесности, тот же юрист, так же приветливо смотрела Виктория Павловна, а Екатерина Павловна стремилась прийти на выручку всякий раз, когда слишком обострялся спор. Только теперь над чайным столом горела лампа, шриппы стали еще меньше, вместо вишен на маленьких блюдецках был наложен клейкий мармелад и самовар заменила буль-отка.

* Все кончено (нем.).

** Мамочка (нем.).

От отсутствия самовара в столовой Виктории Павловны стало еще более пусто и холодно.

Клейста встретили восторженными криками. Виктория Павловна усадила его в кресло против себя.

— Ну, дорогой Карл Федорович, рассказывайте нам, как погибли ваши спутники и как и почему вам удалось спастись.

— Но мои спутники и не думали погибать, Виктория Павловна. Они все, слава Богу, в добром здравии...

— Рассказывайте сказки, Карл Федорович. Не далее как полторы недели тому назад была помещена в «Голосе эмигранта» обстоятельная статья Лермана под названием «Гибель безумцев». Там же была корреспонденция из Дерпта, описывавшая, как вы пошли с топорами в чертополоховое поле, как вас повел какой-то мужик... Кур... Курятин, что ли...

— Курцов, — сказал Клейст.

— Да, да, Курцов... Как он оказался большевиком, завел вас в чертополоховый лес и всех перебил. Ваша смерть была описана такими трогательными чертами. Вы вспоминали свой Фатерланд.

— Моя смерть... Но вы видите меня живым и здоровым, — сказал Клейст.

— О, это ничего не значит, — загадочно возводя глаза к небу, сказала Екатерина Павловна.

— Как ничего не значит?!

— Но есть, знаете, различные флюиды...

— Но, позвольте, господа... — начал Клейст.

— Называйте нас лучше товарищами, это по данному моменту будет безопаснее, — сказал профессор права.

— Но, позвольте, господа, — упрямо сказал Клейст и вынул из кармана портсигар, набитый папиросами, — показать вам эту штуку и угостить вас русскими папиросами.

— А!.. О!.. — раздались возгласы пораженных гостей.

— У моего отца был такой портсигар, — сказала Виктория Павловна. — Его ему пожаловал Николай, последний царь. У нас его отобрали социалисты при Керенском.

— Из настоящего золота! Какой тяжелый!

— А камни! Камни! Такие камни можно найти теперь только у шиберов в перстнях и у их жен на брошках.

— Удивительно!

— Товарищ профессор, позвольте попробовать па-пиросочку.

— И мне!

— И мне!

— И мне!

— Пожалуйста, господа, — сказал Клейст.

— Смотрите, товарищ Двороконская, на каждом мундштучке двуглавый орел и надпись: «Императорский завод».

— И короны.

— Не попало бы нам за это!

— А дым какой!

— Вкус, вкус, товарищи, настоящий Дюбек!

— А не попадет нам за то, что мы курим такой монархический табак?

— Товарищи, прошу мундштучки потом сжечь, чтобы следа не было!

— Ах, давно я не курил таких папирос!

— Да рассказывайте же, товарищ профессор!

— Извольте, господа!

— Тес... тес!.. Ахтунг*.

— Не называйте только нас господами, Карл Федорович, кругом спартакисты! И моя Паша — большевичка.

— Виктория Павловна, убедительно прошу вас позвать и ее послушать...

— Что вы, что вы, товарищ профессор, — кричали одни.

— Напротив, — возражало большинство. — Если войдет кто, это будет так демократично. Прислуга — и среди господ...

— Ай, что вы, Екатерина Павловна! Разве можно такие слова!.. Товарищ, прислуга!

— Господа, я начинаю, — сказал Клейст.

— Опять! Господи!.. Пощадите!..

— Внимание.

— Начну со старших. Бакланов женился.

— Женился!.. Как?.. На ком?..

— На крестьянке селения Большие Котлы, Аграфене Шагиной, венчался православным браком в прекрасной сельской церкви.

— Там есть церкви?.. Остались священники?..

— Нет, товарищи. Не мешайте, — сказала Виктория Павловна. — Пусть товарищ Клейст расскажет нам с самого начала. Во-первых, как же вы получили визы, когда бывшим русским запрещено выдавать куда бы то ни было визы? Я даже в Карловы Вары не могла поехать этой осенью.

* Внимание (нем.).

Клейст начал свой рассказ. Он пояснял его прекрасными цветными фотографиями, изготовленными по усовершенствованному способу русского изобретателя Про-кудина-Горского. Гости госпожи Двороконской внимательно рассматривали виды Петербурга, формы русской армии, сцены жизни крестьян.

— Смотришь на все это, — задумчиво сказала Виктория Павловна, — точно старые фотографии рассматриваешь. Россия времен Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. У моей матери долго, еще здесь, в Германии, хранились фотографии одного придворного костюмированного бала, в котором принимали участие сливки петроградского общества и царская фамилия. Вот такие же костюмы были, как у теперешних бояр и знатных женщин.

— Да, все это было, — сказал седенький старичок-немец. И у нас в Германии при императоре Вильгельме было не хуже. Какой был блеск жизни, какое довольство! Куда все это ушло?

— Я узнал, и узнал твердо, — сказал Клейст, — узнал в России, что есть две силы — христианство и социализм. Христианство — сила созидательная, социализм — сила разрушительная.

— Ах, — сказала Екатерина Павловна, — я всегда любила Евангелие. Иисус Христос был моим любимым философом.

— Иисус Христос был Богом, Сыном Божьим, — твердо, с убеждением в голосе, сказал Клейст. Никто ничего не возразил.

— Что за удивительное лицо, — сказала Екатерина Павловна, разглядывая фотографии, — смотришь на него, и какая-то радость вливается в душу, будто теплее становится и не гноятся старые сердечные раны. Таких девушек здесь нет. Она земная и неземная. Красота земная, а взгляд синих глаз!.. Да ведь точно вечная бессмертная душа ангела смотрит на вас из этих темных зрачков. Кто эта девушка, осыпанная каскадом белых жемчугов, точно слезы, бегущих к ее плечам?

— Это... это великая княжна Радость Михайловна.

— Радость... Какое странное имя...

— А скажите, товарищ профессор, мы могли бы туда вернуться? — сказал профессор права. — Не теперь, конечно. Мы не можем получить так ловко визы и не пролезем через чертополохи, как вы, а тогда, весной, когда повалится эта страшная полоса чертополохов и пойдут самолеты и прямые вагоны «Петербург — Вержболово — Берлин»...

— Как это было раньше.

— Нас пустят?

— О, конечно, пустят, — сказал Клейст. — Вас примут, как евангельский отец принял блудного сына.

— И я надеюсь, — величаво сказала Виктория Павловна, — что мне вернут мои тамбовские и пензенские имения и мой дом на Фурштатдтской улице.

— Вот этого, глубокоуважаемая Виктория Павловна, я боюсь, что и не будет.

— Как так?.. Почему?..

— Прошла давно законом установленная десятилетняя давность. Ваши земли отобраны в государственную казну и отданы тем, кто их обрабатывает теперь. Ваш дом тоже, вероятно, передан или вашим наследникам, или объявлен выморочным и продан с аукционного торго в пользу государства.

— Но... но это невозможно... Это тот же большевизм. Государь обязан нам, дворянам, вернуть наши имения.

— Товарищ Двороконская, — подчеркивая слово «товарищ» сказал профессор Клейст, — а что сделали вы, дворяне, чтобы вернуть своего природного государя? Худородный казак Аничков, текинцы и бухарцы, казаки и русские офицеры, собравшиеся со всего света и с необыкновенными лишениями добравшиеся до Тибета, помогали государю спасти Русь, тогда когда вы спокойно благодушевствовали в Западной Европе и отрекались от всего русского!

— Что же нам остается делать? — спросила Екатерина Павловна.

Клейст не сразу ответил, и веско, точно тяжелым молотом вбитый большой гвоздь, прозвучало его великое слово, значение которого он так понял и так оценил за дни, проведенные в императорской России. И слово это было — работать!

XXVI

В рейхстаге появление Клейста на трибуне вызвало бурные овации. Уже кое-какие слухи проникли в газеты. «12 Ур Миттаг» поместил обширное интервью с профессором. В нем, однако, Клейст умолчал о том, какой образ правления сейчас в России и как сильна еще обида, а вместе с ней и ненависть к немцам в русском народе за прошлую поддержку большевиков. На все вопросы расспрашивавшего его газетного сотрудника он заявил, что о подробностях он доложит только перед главой правительства в рейхстаге.

Его доклада особенно нетерпеливо ожидали левые партии и коммунисты. Их газеты написали, что в России продолжает оставаться

власти III Интернационал и что ему удалось, отгородившись от капиталистических стран, устроить действительный рай на земле. «Теперь, — писало «Rothe Fahne», — настал день, когда Германия должна перейти навсегда и бесповоротно во власть коммунистов и соединиться с красной Россией».

Рукоплескания, приветствовавшие Клейста, смолкли. В полном молчании обширного зала Клейст с двумя помощниками-студентами расставлял какие-то мудреные приборы и налаживал проекционный фонарь особенного устройства. Все привезенное им из России.

Теперь его разглядывали.

Почему он был без красного банта? Даже не было красной гвоздики в петлице его черного сюртука. Почему не шустрые, лохматые немецкие «комсомольцы» помогали ему, а работали скромные студенты в шапочках цвета Deutsche National Partei? В петлицах у них были проти-вомасонские значки.

В левой, большей части рейхстага, сначала послышался шепот. Задавали друг другу вопросы, шептались. Этот шепот стал переходить уже в довольно громкий ропот, когда в ложе правительства появился президент — кожевник, и члены правительства, и соседняя ложа наполнилась представителями иностранных держав.

Председатель рейхстага встал и позвонил в колокольчик. В установленном тишине прозвучал его торжественный голос:

— Слово принадлежит товарищу профессору Карлу Феодору Клейсту, члену Deutsche National Partei, депутату Шарлотенбурга. Он доложит нам о своей поездке «за чертополох» и о том, что он там нашел.

Вместо ожидаемой речи в зале было погашено электричество, тихо зашипел проекционный фонарь, и на экране одна за другой стали появляться, как в кинематографе, оживленные раскрашенные картины.

Село Большие Котлы, крестьянская изба — полная чаша, поездка новой системы с крылатыми вагонами, храм — памятник на крови, рыбный рынок на Сенной, толпы нарядного народа, богато одетые войска в Зимнем дворце — все это шло, сменяясь одно другим и показывая довольную, сытую, красивую и счастливую жизнь. От глаз левой стороны рейхстага, однако, не ускользнуло, что на домах не было красных флагов, но тихо реяли бело-сине-красные национальные русские знамена, не могли не заметить они, что перекрещенный серп и молот, так похожий на еврейский иероглиф, везде был заменен двуглавым российским орлом с тремя императорскими коронами. И стали раздаваться недовольные возгласы:

— Довольно!.. Долой эти детские игрушки!..
— Что нам кинематографические макеты показывают!
— Мы не в Ufa-Palast'e, а в рейхстаге.
— Будет морочить ерундой. Мы и не такие чудеса в «Метрополисе» видали...

Шум становился громче и грознее. Клейст дал свет. Он был бледен, но спокоен. Он достал с пола большой чемодан, и его помощники понесли в депутатские ряды мешочки со вновь открытыми в России полезными элементами. Клейст начал серьезную, почти ученую речь о достижениях русского ума. Он говорил о «водии», которым будут орошать пустыню Гоби, обращая ее в плодороднейшие земли, он рассказывал об огнеупорных составах, покрывающих крестьянские избы.

— Под ними не горит и солома... Россия полна чудес. Я привез вам показать лишь одну тысячную тех великих изобретений, что мне пришлось повидать за мою поездку.

Его перебил голос с места. Лохматый, черный еврей, депутат от лейпцигских рабочих, спросил:

— Чем объясняете вы, товарищ, что там так опередили в научной технике Европу? Что же, мозги у них другие?

— Там работают... Там не мешают работать... Там не дети, а взрослые, — сказал Клейст.

— Что же, таки по-вашему, у нас пустяками заняты? Печальная улыбка легла на лицо Клейста.

— Господа, — сказал он. — Чем занимались Европа и Америка после Великой войны? Матч между Карпантье и Демпсей, — то есть простое мордобитие, — волновал весь мир более полугода и привлек миллионы зрителей. Состязание футбольных команд раздуваются до мирового значения событий. Каждый год в память Сакко и Ван-цетти, простых грабителей и убийц, устраиваются грандиозные митинги и шествия, громят магазины, бьют стекла, дерутся, избивают друг друга. Масоны крутят головы народным толпам, придумывая idiotские состязания автомобилей или гонки велосипедистов, и толпа, тупея на них, становится их послушным оружием. Наши герои! Кинематографические артисты, голые танцовщицы, велосипедисты-гонщики, автомобилисты-рекордисты, победители футбольных и лаун-тенисных состязаний. Наши государственные люди помешаны на бридж и на хоккее, наша молодежь — на танцах и кинематографе... Мы живем нездоровой жизнью городов, и города у нас полонили деревню. Мы вымираем. Мы создали какой-то больной демократический снобизм, и этот снобизм захватил весь народ.

— Правильно!.. — раздался голос с правых скамей. — Что дала нам демократия?

— Где новые Шарнгорсты, Мольтке и Бисмарк?

— Кого дала на смену Шиллеру и Гете наша литература?

— Где наши изобретения? Человек-ракета, полетевший на Луну и не вернувшийся, — вот наши изобретения!

И опять, заглушая нараставшие возгласы с мест, прокричал еврей:

— Что же их так переменяло? Почему же при товарищах Сталине, Троцком и Бухарине они ничего не имели?

— Там произошла коренная перемена образа правления, — сказал Клейст.

Несмотря на то, что в рейхстаге стоял шум от разговоров, перебранки депутатов и выкриков с мест, эти слова заставили сразу всех насторожиться, примолкнуть, и в наступившей тишине сначала раздался настойчивый выкрик еврея-депутата:

— Какая это перемена?

— Нынешней Россией, — чеканил слово за словом Клейст, — самодержавно правит Его Императорское Величество государь император всероссийский Михаил II Всеволодович, поручивший мне...

Но дальше Клейсту не пришлось продолжать. Все поднялось с мест, все кинулось к трибуне, проекционный фонарь был смят, Клейсту угрожала смертельная опасность. Свистки, вой, крики, револьверные выстрелы, шум драки, падение тел — никогда еще заседание рейхстага не обращалось в такую дикую свалку, в такой грозный ропот недовольства. Председатель неистово звонил, наконец надел цилиндр и вышел из зала. Заседание было прервано.

XXVII

Лишь много-много позже, уже глубокой ночью, когда убитые и раненные в свалке депутаты были вынесены, зал прибран от обломков пюпитров, и все левые разошлись, чтобы созывать митинги протеста, в присутствии небольшой группы членов Deutsche National Partei, баварцев и католиков, Клейст закончил в мертвой тишине свой доклад.

Он не скрыл, что сначала безумное объявление России войны императором Вильгельмом нарушило вековую традиционную дружбу русского и германского народов, потом присылка большевиков в запломбированном вагоне заставила содрогнуться всю Россию, но вера в силу немца все еще была сильна. Русские надеялись, что

немцы поймут сущность большевизма и помогут России освободиться от интернациональной сволочи, правившей Россией. Этого не случилось. Напротив, Германия до последних дней поддерживала и помогала большевикам.

— Вряд ли русский народ когда-нибудь это простит, — сказал Клейст и замолк.

Тишина царила в зале. Тускло горели, точно усталые, лампочки. Долгая зимняя ночь была над городом. В окна виднелись зарева пожаров. Телефон передавал, что коммунисты столкнулись с отрядами Stahlhelm'a*.

Клейст поднял голову.

— Меня обнадеживает и меня ободряет одно, — наконец сказал он. — Все государства Европы и Америки, все без исключения, сделали так много зла России, что там общая ксенофобия. Мы не хуже других. Но мы, как сказал мне государь император, — соседи. Это соседство дает нам возможность надеяться на то, что нам удастся столкнуться с русскими, если...

Он опять замолчал. Звуки оружейной и пулеметной стрельбы, треск ручных гранат на окраине города становились сильнее.

Старый депутат Ганновера попросил слова и взошел на трибуну.

Ему было восемьдесят лет, но он был крепок и тверд, как дуб. В дни своей молодости он сражался в армии Гинденбурга против русских и был участником знаменитой битвы у Танненберга. Он был аристократом по рождению и правым по убеждениям, но его уважали за горячий патриотизм и прямоту и твердость убеждений.

— Я договорю мысль почтенного доктора Клейста, — сказал он. — Никогда народ не может сговориться и дружить с народом. Слишком много мнений, слишком много голов. Дружить и жертвовать своими самолюбиями во имя общего дела могут только коронованные монархи. И Германии надо искать такого.

Старый воин прислушался к шуму боя.

— Германия ищет его сейчас. Stahlhelm заговорил!.. Он найдет нужное имя, он скажет то великое слово, которое спасет и возвеличит Германию...

Он поклонился и тяжелыми шагами сошел с трибуны при полном молчании рейхстага.

Депутаты ждали, чем кончится война Германии с III Интернационалом.

* Стального шлема (нем.).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Луна была еще высоко, но уже чувствовался рассвет. Беспокойно шевелились птички в кустах под горой, где неугомонно, точно рассказывая какую-то сказку, вдоль каменных утесов журчал арык со студеной водой. Вся долина, широкая и душистая, обращенная в сплошной фруктовый сад, клубилась туманами.

На высоте двух с половиной верст, на том месте, где некогда стояли убогие, глинобитные постройки Коль-джатского казачьего поста, у подножья величайшей горы мира Хан-Тенгри, на небольшом плоскогорье стоял прекрасный мраморный, местного мрамора, императорский дворец. На высоком флагштоке неподвижно, как складка тяжелого платья, висел золотисто-желтый императорский штандарт, и луна серебрила его. По краю горы шла веранда в помпейском стиле, обвитая плющом и розами, только что опушившимися нежной листвой. На веранде, на плитном каменном полу среди шкур тигров, медведей и волков, на пестрых аксуйских коврах стояли легкие столики с разбросанными принадлежностями рукоделья, лампы в красивых абажурах, кресла и кушетки с цветными подушками в вышитых прозрачных наволочках. За верандой громоздились высокие горы, были дикие, угрюмые, неприступные утесы, сверкал, точно шлифованный, базальт, и граниты лепились острыми пиками и зубцами. И эта дикость Терской-Алатауского хребта так странна была рядом со стройными линиями дворца, прямоугольными колоннами, красотой ламп, мебели и ковров, что казалась нарочно поставленной декорацией.

С веранды во все стороны открывался вид поразительный, ошеломляющий своей воздушной красотой, незабываемый, волнующий душу восторгами преклонения перед широтой Божьего мира и громадностью русского гения. Но теперь, при лунном свете, страшными казались на запад уходящие горы с их ледниками. При луне могучая ширь и даль громадной Илийской долины замыкалась серебристым

кругом тумана и казалась тесной. Журчание тысячи арыков, стремившихся по определенным им человеком путям и орошавших миллионы десятин фруктовых садов, сливалось в звенящую песню.

Если раньше, когда тут лежала мрачная пустыня с желтыми, как дно моря, гладкими лессовыми отложениями, с сухими карагачами, камышами и пряно-душистой джигдой, у пристена громадных, накрытых снеговыми шапками гор умолкал громкий разговор, обнажались головы и горные киргизы тихо слушали несвязный рассказ о том, что на снеговых высотах, никем и никогда не посещенных, с вечными метелями, где лишь иногда на восходе солнца из темного покрова туч показывается опало-розовая вершина великой горы, обитает Бог, стоит Его трон, никем не виданный, и оттуда глядит Господь всевидящим оком на весь Свой мир, то теперь, когда ожила великая пустыня и вместо мутных потоков желтой и пустынной реки Или прямоугольным узором арыков среди кустов ежевики и барбариса, между стройных камышин зазвенели и запели воды, когда тучная земля, точно ждавшая этого, стала выпирать из недр сереброцветные деревья, когда густыми темно-зелеными квадратами, покрытыми цветами, точно хлопьями снега, появился хлопок, а в промежутках росла пшеница и ячмень, этот край у высокой горы стал казаться еще более близким к Господу Богу, Творцу вселенной.

На веранду из внутренних покоев вышла прекрасная девушка. Ее светло-русые волосы были разобраны на две стороны и двумя тяжелыми косами упали на спину. На ней была длинная серебристо-белая, во многих складах, рубашка с открытой шеей. Ворот был вышит узким золотым узором. Такой же узор шел по подолу и терялся в складках. Маленькие ноги были обуты в легкие кожаные сандалии, опутанные голубыми шнурками. Белые руки, обнаженные по плечо, были бессильно опущены вдоль тела, и тонкие длинные пальцы, чуть розоватые, украшенные перстнями, висели безжизненно-прямо.

Голубые глаза были устремлены вдаль, туда, где темное небо ширилось и меркли тихие звезды.

Серая дымчатая кошка с длинной пушистой шерстью и зеленовато-синими глазами послушно шла за ней, подняв свой мохнатый, как у лисицы, пышный хвост. За девушкой шла желтолицая дунганка с темными косыми миндалевидными глазами, с черными, как деготь, волосами, убранными узлом на затылке, в такой же длинной рубашке, как у девушки, но цвета пыли, серовато-желтой, и расшитой по вороту и подолу черным шнурком. Она несла на руке темно-синего плюша шубу на густом дорогом меху.

Девушка, выйдя на веранду, поежилась всем телом. Глаза ее потемнели, зрачок заливал темным блеском синеву райка.

— Какая дивная ночь! — сказала она грудным глубоким голосом. — Скоро рассвет.

Она подошла к балюстраде, оперлась руками на мраморные плиты перил.

— Вам холодно, Ваше Высочество, не изволите ли накинуть шубу? — сказала дунганка.

Девушка, казалось, не слышала ее голоса. Дунганка повторила.

— Холодно... Да, ханум... Мне холодно... Дайте шубу. Она надела широкую шубу, сейчас же мягкими, заботно-ласковыми складками окутавшую ее стройное тело.

— Не оттого мне холодно, ханум, что свеж этот предрассветный воздух и дыхание ледников коснулось моих щек, а оттого, что на сердце холодно. Ах, ханум, вы не поймете этого. И Мурлыка этого не понимает, — сказала девушка, лаская вспрыгнувшего на перила котика. — Вот так же, — сказала она, обращаясь куда-то вдаль, — цвели вишни, и белый свод цветов ажурным потоком навис над желтым песком. Охваченная чарами, я спустилась к темному стволу и позвала его. Он подошел. Смущенный, трепетный, ничего не понимающий, прекрасный... и смешной в европейском костюме, с открытой, как у женщины, шеей и в башмаках...

Она долго молча глядела, как зеленело небо на востоке и золотились края земли, а по туманам, точно тихое сонное дыхание, пробежал ветерок и заколебал прозрачные струи.

— Любимый, — повторила она и умолкла, опустив голову.

Когда она подняла глаза, весь восток пылал пламенем пожара. Небо меняло краски, туманы таяли и уносились, и внизу, сколько глаз хватало, стояли белые цветущие деревья, и вершины их были подернуты розовым налетом лучей, идущих от неба. По посиневшему небу поползли высоко вверх золотые, прозрачные лучи, далекие-далекие, неведомые, страшные и притягательно-ласковые. Расплавленным металлом, обжигая глаза, блеснул обод солнца, и оно поплыло вверх, омытое росой, жгучее, благодатное, обожествленное многими народами во многие века, и сразу стала видна вся ароматная, бело-розовая долина цветущих садов.

— Любимый, — снова сказала девушка. — Как могла я полюбить его, чужого, незнаемого, далекого. А вот позвала и знаю, что придет, и знаю, что ляжет у моих ног, и будет смотреть на меня, и молиться на меня, русскую царевну, как молятся все они! Ханум, — сказала она, — позовите мне Ван-Ли...

— Но, Ваше Высочество, — робко, складывая на груди коричневые руки, сказала дунганка.

— Позовите мне Ван-Ли! — сказала девушка, и глаза ее сверкнули.

— Слушаюсь, Ваше Высочество, — и низко, в пояс поклонившись, дунганка прошла во дворец.

II

Хор маленьких певчих птичек приветствовал солнце. Пели короткую песенку красношейки и пестрые с коричневатой грудкой и темными спинками щеглята, пели зеленые чижики и желтые овсянки, непрерывно чирикали крошечные, пухлые, точно ватные шарики, голубенькие, с хохолком, синички-рисовки, задорно кричали воробьи, и лил певучие трели из узкого горлышка скромный, длинный, как сельский учитель старой немецкой школы в коричневом фраке, чаровник и кудесник соловей.

Было еще рано — пять часов утра, и было еще весело, жизненно и радостно-шумно в далеком низу долины. Там ожила восхищенная восходом солнца природа, и птицы, и цветы приветствовали Бога таким дружным ликованием, что воздух трепетал и клубился голубыми нитями, стремясь вверх, где уже темно-синим пологом простерлось жаркое синее среднеазиатское небо. На веранде было тихо. И тишину этой высоты, застывшей у подножья угрюмых гор, не нарушало, но лишь подчеркивало томное булькающее журчание горного арыка.

Великая княжна Радость Михайловна сидела на низком соломенном диванчике, облокотясь о спинку с брошенной на нее вышитой подушкой. На ее коленях, томно щуря зеленые глаза, лежал ее прекрасный кот, подарок из Тибета, и тихо шевелил самым кончиком пушистого хвоста.

На веранду вошел и почтительно присел старый китаец. Лысый череп его замыкался на затылке маленькой седой косичкой, похожей на хвост крысы, круглое темно-коричневое лицо было вдоль и поперек изрыто морщинами, узкие косые глаза разделялись тонким, большим, прямым носом, свешивались вниз короткие, жидкие седые усы, небольшая седая борода торчала на подбородке. Он был одет в темно-фиолетовую юбку и такую же курму. Поверх был просторный темно-синий шелковый жилет с вышитым на нем блестящими шелками белым лебедем, распластанным на груди. На лысом черепе

была черная шапочка с темно-синим прозрачным шариком. Он был очень стар, но не дряхл, очень худ, но прям и походил на иссохший коричневый тростник с обитыми ветром сухими и желтыми листьями. В маленьких руках с длинными пальцами он нес пестрый шелковый платок. От него пахло дурманящими духами, и казалось, что это его иссохшее тело, обтянутое ветхой кожей, пахнет тлением и древностью, как пахнут мумии Египта, сохранявшиеся многие тысячелетия.

Он еще раз присел перед великой княжной и подошел к ней.

— Здравствуйте, Ван-Ли, — ласково сказала Радость Михайловна. Ван-Ли поклонился.

— Вы меня требовали, Ваше Высочество, — сказал он тихим голосом, и голос его был как шелест листьев, падающих в саду в осенний безветренный день.

— Да, Ван-Ли. Я хотела попросить показать мне еще раз то непонятное. Вы помните, в прошлом году вы научили меня отделяться от земли и давать ей нестись подо мною до того места, где я хотела снова стать. И под моими ногами неслись горы и степи, леса и реки, города и села, и с земли я казалась снежинкой, подхваченной ветром, пока призраком не опускалась на землю. Ван-Ли, я это сделала тогда, чтобы увидеть того, кто в моем прошлом играл такую большую роль. Ван-Ли, я хочу опять услышать прекрасную сказку и хочу узнать наконец, кто он такой.

— Он был вашим братом, Ваше Высочество, — прошелестел Ван-Ли.

— Братом? — сказала Радость Михайловна, и лицо ее залилось румянцем, точно заря отразилась на ее щеках. Тяжело колыхнулась молодая грудь. — Если бы братом, — прошептала она, — не те чувства лежали бы в моем сердце... У меня есть брат Александр, и я его люблю, но это не то чувство, которое волнует меня при виде этого человека.

— Во тьме веков, — проговорил Ван-Ли, — этот юноша был братом вашим, и узы крови и родства, но никакие иные, связывают вас. Я говорю то, что вижу.

— Ван-Ли... А будущее?

— Будущее мне неясно. Но, Ваше Высочество, вы знаете, что как великая княжна и дочь императора всероссийского вы обречены на безбрачие.

— Хорошо, — порывисто сказала она. — Покажите мне прошлое. Опять то самое покажите мне, что показывали в прошлом году.

Китаец покорно сел у ее ног и стал развязывать пестрый шелковый платок.

На веранде дворца было так тихо, как бывает только ранним утром, сейчас после восхода солнца, когда прошли первые восторги приветов дневного светила и вся рать тысячеголосых певцов займется добыванием хлеба насущного, и природа замрет, отдаваясь нежному теплу солнечного света.

Ван-Ли раскинул на тигровой шкуре платок. Он оказался с изнанки черным, покрытым какими-то странными, непонятными линиями и чертежами. В платке было около двух десятков камешков, отшлифованных временем и морской волной, круглых и неровных, черных, оранжевых, желтых, красных, прозрачных и непрозрачных. Китаец встряхнул их на платке, собрал все вместе в кулаки обеих рук, прижал к губам и стал шептать на них, как будто бы молясь. Он раскачивал свое тело, и колебания его становились все более быстрыми, наконец внезапно, с жестом как бы отчаяния и с легким свистящим вздохом он высыпал камни на платок, и они рассыпались по нему причудливым узором. Ван-Ли долго смотрел на них, как будто угадывая что-то в узоре камней, медленно сгреб их своими тонкими коричневыми пальцами, опять шептал на них, молился и опять бросил и опять смотрел на их узор.

— Ты! — быстро кинул он, тыкая пальцем в маленький снежно-белый кусочек мрамора, прижавшийся к большому, совершенно черному куску порфира. — Он, — сказал Ван-Ли и показал на розовый камешек, лежавший на краю платка, и камешек, движимый какой-то непонятной силой, вдруг сам покатился к белому камню, подошел близко, остановился и потом, точно белый камень оттолкнул его, он подкатился к другому желтоватому камню, слился с ним вместе и откатился на край платка, а белый камешек растаял, как ледяшка на солнце, и исчез.

— Вот что будет, — сказал Ван-Ли. — Ты сама, повинясь долгу, укажешь ему другую.

— И умру, — тихо, с невыразимой печалью проговорила Радость Михайловна.

Ван-Ли промолчал, порывисто дернул платок, так что камни подпрыгнули в воздух и остались в нем висеть, как будто бы какие-то нити прикрепляли их к потолку. Они поднялись до роста человека. Ван-Ли смотрел на них пристальным, сосредоточенным взглядом. Они повернулись под его взглядом, поднялись над Радостью Михайловной и внезапно упали на нее, так неожиданно, что она вскрикнула. В ту же

секунду она почувствовала, что туман застилает ее глаза, что куда-то низ проваливается соломенная кушетка веранды кольджатского дворца, и вместо ропота струй арыка она неясно слышит вой бури и треск ломаемых сучьев. Ужас охватил ее.

— Закрой глаза! — повелительно сказал Ван-Ли. Радость Михайловна повиновалась.

— Теперь открой!

Видела она что-нибудь или только ощущала, как ощущает человек во сне, когда лежит с закрытыми глазами? Она, например, как бы видела и предметы, бывшие позади нее и которых глазами видеть не могла. Она чувствовала, что вся она холодная, мокрая, что грубые веревки, сплетенные из древесной коры, режут ее тело, что на ней только жесткие звериные шкуры, что она лежит, привязанная к громадному суку дуба-великана, что дуб шумит над ней листьями, плещет дождь, и молнии прорезывают сумрак ненастного дня. Ее сознание неясно, и ум не отдает отчета в том, что происходит: ей только больно, холодно, мокро, и чувство ужаса перед чем-то непреодолимым и неизбежным охватывает ее и заставляет временами издавать дикие животные крики. Это она — Радость Михайловна, и это не она. И Радости Михайловне стыдно, что она так кричит, и Радости Михайловне жалко, что ей больно и холодно, и в то же время она сознает, что это уже не она, и тогда ужас был так велик, что не было стыдно и не было больно.

Кругом воющая и стонущая толпа полунагих, худых, с оттрепанными бородами мужчин и женщин, круглолицых, толстых, грязных, со всклокоченными волосами, космами, как гривы лошадей, падающими на голые плечи, увешанные бусами из ягод и цветочными венками.

Хлещет холодный крупный дождь, глухо, непрерывными раскатами, гремит гром, сверкает молния, толпа на широкой поляне скачет и воет, потрясая копьями и щитами, и поет какой-то дикий гимн неведомому божеству. Радость Михайловна или та, привязанная к дереву, женщина, сознает, что она жертва для умиловления страшного змея-чудовища, появившегося в их местах.

Мелкий, сплошной сосняк обступил поляну. Седыми переплетами тонких и хрупких сучьев, покрытых серым налетом, сплел он густую паутину ветвей, и так близко подошли тонкие стволы друг к другу, что невозможно продрасться среди них, что только вершины покрыты бедной жесткой хвоей, а внизу сплошная стена веточек, голых, черных и безобразных. Над соснами опрокинулось черными, влажными, с непроливаемым дождем, тучами небо.

Против дуба стоит старик. На нем длинная высокая шапка из берестовой коры с черным рисунком странно родных иероглифов, на нем овчинный кафтан, мехом на тело, весь испещренный какими-то пестрыми символическими знаками, на нем ожерелья из раковин, белых, блестящих, и гладких, и тонких, желтовато-зеленых, завитком, с белой вершинкой. Ожерелья эти висят на шее, спускаются на грудь, на живот, висят пестрыми браслетами на ногах и руках и глухо звенят, когда старик движется.

Старик бегаёт, танцует около дуба, и кричит хриплым гортанным голосом, и каждый крик его трепетом проносится по всем жилам и нервам Радости Михайловны.

— У-а-а-а-а! Ой-йух! Ой дид-падо! й-ух!

Радость Михайловна знает, что он призывает этими криками Змея Горыныча, который появился в их местах, поедает скот и людей и требует для умиловления своего жертвы. Ее постановил народ принести в жертву чудовищу.

Странные мысли скользят в затуманенных мозгах девушки. Как хватит чудовище? За голову или поперек, как потащит? И чудится Радости Михайловне, что она слышит хруст своих костей на крепких белых зубах страшного зверя.

Погнулись, как от вихря, сосны, раздался треск ломаемых молодых деревьев, повалились, попадали они и на поляну. В ужасе метались люди. Выбежало чудовище. Оно было длинное и большое. На туловище, круглом, шарообразном, величиной как две добрые лошади, с белым, скользким, как у змеи, животом, на спине была прочная темно-серая, как черепица, большая чешуя, отливавшая под струями дождя в черную прозелень. Чешуи распространялись и на длинный хвост, длиной как три взрослых человека. Из живота росли безобразные перепончатые лапы — передние подлиннее, задние, приземистые, короче. Длинная шея, гибкая, как у гуся, несла большую, прочную, покрытую костяным панцирем голову с большими круглыми черными глазами с желтым обводом. Хищный рот был открыт, и из него торчали громадные острые зубы.

Змей остановился, как бы ошеломленный видом множества людей. Он заворачивал своей головой во все стороны, издал свистящий звук и зашелкал зубами. Желтые глаза его бегали по поляне. Радость Михайловна почувствовала, что змей увидел ее. Он издал йокающий звук, приподнялся на задних лапах и щелкнул хвостом. Большие, с крупное яблоко величиной, глаза его устремились на Радость Михайловну, и она почувствовала, как обмякло ее тело, лишились силы руки и ноги, и туман стал застилать глаза.

Сквозь пелену тумана она увидела, как выбежал прекрасный юноша. На его теле небрежно висела овечья шкура, ноги были обуты в липовые лапти. Русые волосы растрепались по шее и, мокрые от дождя, прямыми прядями висели к плечам. Прекрасное, с тонкими чертами, лицо его было бледно. На поясе в деревянных ножнах, обшитых кожей, висел меч. Юноша выхватил его и бросился на чудовище. Чудовище смотрело на него и, казалось, не понимало, чего хочет от него этот маленький человек. Оно нагнуло голову, точно хотело рассмотреть его поближе. И в тот же миг сверкнул меч, и закрутилось чудовище, ломая хвостом сосны и сметая людей, как мух. Кровавая река полилась из шеи змея к корням дуба, где была привязана Радость Михайловна. Голова хватилась о могучий ствол этого дуба и в предсмертном движении так щелкнула зубами, что прогрызла в дубе громадное дупло в рост человека.

Прекрасный юноша отбросил нож, вложил его в ножны и, быстро влезши на дерево, стал отвязывать Радость Михайловну. Кругом вышла толпа, и угрозы сыпались на голову героя. Боялись, трусливые, мести и кары за убийство Змея Горыныча. Старик, увешанный раковинами, в бешеном танце носясь среди людей, призывал к убийству обоих.

Трепещущая и бессильная, как ветка белой акации, сорванная с тонкого стебля, склонившись к широким плечам, покрытым овчиной и едко пахнущим бараньим мехом, шла Радость Михайловна. Близки были черные жилистые кулаки людей, гневно горели глаза и искажены были изрытые глубокими морщинами лица. Ее спаситель свистнул могучим посвистом, и затрепетал дуб, и пролил капли воды с листов своих от молодецкого посвиста.

Мягкими громадными скачками подскочил к молодцу серый волк-великан. Дыбилась густая косматая серая шерсть, поленом тянулся назад пушистый прочерненный хвост, остро торчали треугольные уши, и черные глаза из зеленоватого обвода смотрели мудро и ласково. Великан был волк, с лошадь величиной, и вскочил на него верхом ее избавитель, схватил поперек стана Радость Михайловну, прижал крепкими руками к груди, усадил боком на спину волка так, что утонула она белым телом в длинной и теплой шерсти, и помчал их волк из толпы.

Мелькали перелески, поросшие розовым вереском и желтеющими папоротниками, гриб мухомор выставил из зелени мхов ярко-красную острую шапку, клюква тянулась тонкими нитями и прятала алые ягодки среди блестящих темно-зеленых листков, зайцы в испуге носились, удирая от серого волка, белка чмокала на вершине березы и скребла лапками, точно бранилась, и виден уже был горизонт

степей за лесом, стихал дождь, узкая розовая полоса легла под темным пологом туч, и показалась избушка в раздолье степей, частоколом окруженный двор и колодезный журавль.

Радость Михайловна вздохнула и закрыла глаза. Когда открыла — увидела яркое счастливое солнечное утро, синеву неба, блеск сияющих на солнце горных ледников, теплый ветерок донес до нее из долины душистое дыхание фруктовых садов. Против нее на тигровой шкуре сидел, поджав ноги, старый Ван-Ли. Лицо его было утомлено, смертельная бледность сделала лоб и щеки серыми, и крупные капли пота катились по ним и падали на грудь, где был шелками вышит распластаный лебедь.

— Это было? — тихо спросила Радость Михайловна.

— Да.

— Он спас меня?

— Спас.

— Кто он?

— Брат твой.

— Он и тот русский, которого указали вы мне в Германии, одно и то же лицо?

— Одна душа.

— Где он теперь?

Ван-Ли опустил голову, стал смотреть в середину живота и остался неподвижным. Высокие часы в деревянном футляре, показывавшие дни и числа месяца и фазы луны, мелодично пробили семь, потом отбили четверть. Ван-Ли сидел, не шевелясь. Пробили половину восьмого, и Ван-Ли поднял голову. Он так тяжело дышал, что Радость Михайловна с трудом могла разобрать слова, которые он выговаривал едва слышно, хриплым усталым голосом:

— В Санкт-Петербурге... Он ждет вас... Знаменитый художник... Вы... скоро... увидите... Вам... вам... не скажу.

— Говорите, Ван-Ли, — спокойно сказала Радость Михайловна. — Вы знаете, что я ничего не боюсь. Я дочь императора русского!

Ван-Ли медленно, с усилием поднялся с пола. Лицо его, старое, ветхое, точно лицо мумии, с кожей, прилипшей к костям черепа, без намека на мускулы и жир, было печально, жутким блеском горели его глаза. Они точно прожигали время и видели будущее.

— Вам... счастья нет, — чуть слышно прохрипел старый китаец и, шатаясь, точно боясь, что он упадет, не успев выйти, пошел, шаркая войлочными туфлями.

Радость Михайловна истомно потянулась к соломенному плетеному столику, где под фарфоровой вазой, наполненной цветущими

ветвями японской вишни, лежала маленькая пуговка электрического звонка, выточенного из розового орлеца, и позвонила.

Вошла старая дунганка.

— Ханум, — сказала Радость Михайловна, — прикажите подать мне чаю. И пусть думный дьяк Варлаам Романович пожелает ко мне с докладом о нуждах таранчинских школ.

IV

В тот же день вечером Радость Михайловна, верхом, в сопровождении постельничей Матрены Николаевны Перемыкиной и двух вестовых, семиреченских казаков, поехала в заросшее фруктовыми садами и виноградниками село Илийское ко всенощной.

По окончании всенощной она выразила желание исповедаться.

Прихожане, крестьяне и крестьянки Илийского расходились из храма. Причетник гасил свечи и лампы, и яснее вступал тихий сумрак весеннего вечера под своды каменного храма. Гулко отдавались шаги последних прихожан.

Девочки хора, ученицы Илийского училища, уходили за своей учительницей и, проходя мимо Радости Михайловны, кланялись ей и говорили:

— Здравствуйте, родная царевна!

— Здравствуйте, Ваше Высочество!

— Добрый вечер. Радость Михайловна!

Их свежие лица сияли восторгом. Радость Михайловна знала, что где бы ни появлялась она, царская дочь, исчезало горе, улыбались уста, и глаза начинали сверкать. Она знала, что говорили про нее: «Посмотрит — рублем подарит».

Вспыхивали щеки Радости Михайловны, как зори вспыхивают по туманному утру, и сурово сжимались ее губы. Не радовал ее чистый лепет детских уст. Недостойной она чувствовала себя этих детских ласковых слов.

Опустела церковь.

Причетник вынес на клирос аналой. Высокий худощавый священник вышел с крестом и Евангелием и ласково нагнул голову, приглашая Радость Михайловну подойти к нему.

Радость Михайловна поднялась на ступеньки амвона и приняла благословение священника. Епитрахиль, пахнущая ладаном и розовым маслом, жестко накрыла ее голову. В сумраке под ней появилось

строгое лицо с глубоко запавшими серыми глазами, и глаза эти заглянули в самую душу Радости Михайловны.

Она открыла ее священнику. Немногими словами сказала она, что искушала Бога. Сказала, что еще раз, мучимая непонятной тоской, призвала ночью колдуна-китайца и приказала вызвать тени прошлого. Просила простить ее тяжкий грех, снять заботу и усмирить биение молодого сердца, все чего-то ищущего, жаждущего какой-то иной жизни, жизни не только для других, но и для себя.

— Опять! — сурово прошептал священник. — Опять бесовское наваждение, жажда проникнуть в тайны Господа Сил тревожили и смущали тебя, чадо Радосте!

Радость Михайловна вздохнула.

— Нехорошо! Чадо Радосте, нехорошо. Неподобно райскому блистанию красоты твоей... Есть, чадо, тайны и тайны. Господь открыл верующим в Него людям величайшие тайны для прославления Его могущества, но познание смерти и ее тайн Он скрыл от людей. Ты, чадо, занимаешься греховным делом, мучающим душу и ослабляющим тело, ты открываешь душу и заставляешь ее метаться в прошлом, и это грех великий.

— Батюшка, — тихо сказала Радость Михайловна, — но это еще не то главное, что тяготит меня. У меня на совести более тяжкий грех.

— Ну, — сказал священник и не поверил. Какой грех могло еще иметь столь совершенное в красоте своей создание?

— Я люблю, — сказала Радость Михайловна, и глаза ее наполнились слезами.

— Любишь? Но любовь есть красота жизни, и любовью живем мы. Ибо, если бы не было любви в мире сем и царстве нашем, погибли бы мы лютой смертью.

— Я люблю земной любовью... Непонятное творится во мне, и жажду я, жажду видеть и говорить с одним человеком, жажду дать ему всю силу любви так, что ничего никому больше не останется, и погибну я... Погибну...

— Но, чадо мое, духовная дочь моя, не знаешь разве ты, что царской дочери не дело любить? Не знаешь ты, что царская дочь обречена на безбрачие, ибо всю силу любви своей она должна отдать народу и быть в его глазах образцом чистоты, святости и самоотречения?

— Знаю, — прошептала Радость Михайловна.

— Ты — красота, — говорил священник, сам поддаваясь прелести Радости Михайловны. — Ты — ангел во плоти. Разве не видишь ты, как горе и заботы сходят с лиц людей, едва приближаешься ты? Разве

не слышала ты, как приветствовали тебя дети? Сияние молодости, сияние счастья исходит из очей твоих, и Бог, творя тебя как женщину и царскую дочь, создал совершеннейшее создание свое, и равной тебе нет в мире. И дана тебе любовь неземная, та любовь, которая красит, но не та, которая сжигает в страсти. .. Да... Материнство есть счастье, но дочь императора не может иметь детей — таков закон, выведенный из опыта прошлого. Гони эти мысли, дитя мое. Будь сильна духом, покажи свою волю. Да и любишь ты неведомого иноземца, и не знаешь ты, кто он.

— Он здесь. В Санкт-Петербурге, — прошептала Радость Михайловна.

— Колдовство сказалось? — спросил священник. Радость Михайловна нагнула голову.

— Чадо мое, — сказал священник, и под епитрахилью его глаза заблестали тихим светом, — не бойся ничего. Се ангел Господен сказал мне! Не бойся. Иди смело, и знаю, что сумеешь ты соблюсти достоинство государя, отца твоего, и сумеешь остаться вся для народа. Гряди смело по страдному пути твоему, ибо знаю, что Голгофа страстей и мук уготовлена сердцу твоему, ибо знаю, что не поддашься ты искушению, ибо ты — дочь русского царя. Аминь!

Тихим движением старческой иссохшей руки священник приподнял епитрахиль, и Радость Михайловна увидела в сумраке храма на черной покато́й доске аналоя крест и раскрытое Евангелие. Она поцеловала святые слова и крест и преклонила колени. Священник накрыл ее голову епитрахилью, и слова отпускну́й молитвы прозвучали над ее головой, как слова последнего привета умершему. Грех отпускаясь ей, но и сладость греха уходила от нее.

Опустив голову, она сошла с амвона и медленно прошла по темному храму. На воздухе она вздохнула. Была теплая свежесть духовитой весны, сияла луна в темном небе, и тишина была такая, что, когда упал листок вишневого цвета, он долго стоял в воздухе и потом тихо опускался по отвесу.

Радость Михайловна шагом ехала в гору среди цветущих садов к кольджатскому дворцу.

V

На большом дворе дворца стоял со сложенными крыльями, точно громадная стрекоза, вестовой самолет. Радость Михайловна поняла, что из Петербурга прибыл вестник.

— Кто прибыл? — спросила она у сенной девушки, помогавшей ей раздеваться.

— Сокольничий Ендогуров с докладом Вашему Высочеству, — сказала, нагибая голову, девушка.

— Накормили его?

— Угощали пирогом, пивом поили, сидит в приемной горнице.

— Хорошо. Просите ко мне.

Радость Михайловна прошла в свою рабочую горницу и села в кресло за стол.

Большая дверь распахнулась, и в комнату, мягко ступая по коврам, вошел молодой человек в синем кафтане с аксельбантом. Под мышкой у него был кожаный мешок с бумагами. Чубатое, усатое лицо его было красно от воздуха, веки глаз набрякли от утомления долгого полета, но он был бодр. Он поклонился в пояс гибким движением, откинул смелым кивком головы волосы, набежавшие на лоб, и, приблизившись к столу, за которым сидела Радость Михайловна, сказал:

— По государеву, цареву и великого князя Михаила Всеволодовича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России государя, указу прибыл Федор Исаакович Ендогуров челом бить Вашему Императорскому Высочеству и представить бумаги на утверждение собственной ручки Вашей.

Радость Михайловна протянула руку, которую вошедший, почтительно согнувшись, поцеловал.

— Садись, боярин, — приветливо сказала Радость Михайловна, — чай, устал?

— Устал, Ваше Высочество, и милостию вашей уже и оправился, а стал перед светлые очи ваши и усталость забыл, — сказал, стоя, боярин.

— Садись, садись. Сколько времени летел?

— Два с половиной дня.

— Что Волга?

— Стоит еще.

— Перевоз есть?

— Люди ходят, а езды нет. Аж почернела у берегов.

— По какому делу прибыл?

— Допрежь всего передать привет Вашему Императорскому Высочеству от августейших родителей ваших и брата вашего, государя наследника-цесаревича.

— Спасибо, боярин, — сказала, вставая и склоняясь перед приездом, Радость Михайловна.

— Еще челом бьют Вашему Высочеству ахтырские гусары, офицеры и служилые люди с полковником Панаевым во главе, и в полковой праздник пили за здоровье ваше чару зелена вина.

— Спасибо, боярин.

— Еще привет от начальника Высшей школы живописи и ваяния в Санкт-Петербурге и просьба пожаловать на освещение картин выставочных, имеющее быть в воскресенье на первой неделе Великого поста.

— Что, есть что-либо примечательное на выставке, боярин?

— Примечательного, как всегда, много. Ваше Высочество, но примечательней всего картина, выставленная новым художником Кореневым, этой осенью прибывшим из немецкой земли. Никогда не видав Вашего Императорского Высочества, этот художник сумел написать образ ваш так, что, как живая, стоите вы.

Румянец смущения покрыл щеки Радости Михайловны.

— Что еще предстоит мне, боярин?

— Конские состязания в Михайловской ездовой избе. Начальник конницы нашей, воевода Липец, просить хоть раз осчастливить их занятия.

— Кто скачет от моего полка?

— Сотник Ефимовский и хорунжие Петлин и Арзамасов.

— Хорошие лошади?

— Дюже хорошие. У Ефимовского государственного завода кобылица Надежная, у Петлина — Подкопаевского завода жеребец Статный и у Арзамасова михалю-ковская Горынь.

— Что пишут в ведомостях про чужие земли?

— В немецком городе Берлине доклад немца Клейста о нашей земле в ихнем рейхстаге вызвал бурю. Самого Клейста чуть не убили, по германской земле идут волнения.

В Баварии католических священников призвали в церкви, восстанавливают алтари и жаждут вернуть короля.

— Что за бумаги привез мне?

— Свидетельства девицам школы вашего имени об окончании ученья на раздачу.

— Давай, боярин, оставь, я ночью подпишу, пока ты почивать будешь. Когда обратно?

— Когда повелите?

— А как полагал?

— Полагал, — кладя перед Радостью Михайловной кипу листов толстого картона с золотым государственным орлом наверху, сказал окольничий, — полагал завтра до света лететь обратно, чтобы успеть

доложить начальнику Школы живописи и ваяния, будет Ваше Высочество или нет.

— Буду, боярин. Что, много девиц окончило?

— Семьдесят две.

— А сколько поступает в высшую школу?

— Три девушки.

— А остальные?

— Выходят замуж. Все просватаны еще на масленичных школьных посиделках. Легкая рука у Вашего Императорского Высочества.

— Да, легкая, — задумчиво сказала Радость Михайловна, и такая грусть разлилась по ее лицу, что молодой боярин с удивлением посмотрел на нее.

Но сейчас же светлая улыбка снова появилась на лице Радости Михайловны. Она поднялась, протянула руку для поцелуя и сказала:

— Ну, спасибо, боярин, за добрые вести. Ступай, откушай нашего хлеба-соли, опочивай мирно под кровом избы нашей, а завтра постельничая наша, Матрена Николаевна, передаст тебе все бумаги в полной исправности.

Боярин глубоким поклоном поклонился в дверях и вышел из горницы великой княжны.

VI

На письменном столе мягко горит грозовой силы лампа. Большой бронзовый медведь держит в зубах кольцо с матовым, льющим неясный свет, фонарем. Это работа Императорской Екатеринбургской фабрики по образцам, составленным в Московском Строгановском училище. Радость Михайловна залюбовалась художественно сделанным медведем. «Настоящий наш костромской мишка», — подумала она, но сейчас же тучкой нависли на ясной синеве прекрасных глаз заботные думы. Локон сорвался со лба и упал на брови. Мешал. Досадным движением оттолкнула его, подняла голову и задумалась. В широкое окно с долины лился свежий воздух необъятной шири садов, и громко шумели наполнившиеся за день арыки. Ночную пели песню. Ни один людской голос не доносился из дворца. Люди затихли по покоям.

Радость Михайловна взяла с верху кипы, принесенной боярином, лист и стала разглядывать. На плотном листе гладкой александрийской бумаги красками была изображена сельская жизнь. Девушка в длинной рубаше кормила домашнюю птицу, внизу паслись стада на зеле-

ной траве, выше стояла колыбель и прятка. Мирный женский труд среди семьи, среди детей, был изображен кругом, а над всем парил мощный государственный орел, и под ним, между портретами ее отца и матери, был ее портрет в русском уборе царевны.

«Императорское женское училище для девиц служилых людей имени Е. И. В. великой княжны Радости Михайловны», — прочла Радость Михайловна, откинула голову и мысленными очами увидела громадный зал и в нем до восьмисот девушек в белых платьях, в белых платках, откуда глядят розовые, румяные лица и счастьем сверкают серые, голубые, карие и темные глаза. Как волны моря, склоняются они в низком поклоне, еще и еще раз улыбаются розовые личики, и весельем дышит эта толпа детей.

— Радость Михайловна! Радость Михайловна! Ваше Императорское Высочество, — восторженным лепетом несется по залу.

«Свидетельство об окончании ученья девице Елене Петровне Башкировой, дочери крестьянина деревни Ни-колаевка Дудергофской волости Санкт-Петербургского воеводства.

Девица сия на испытаниях, произведенных в феврале 19.. года, показала успехи: по знанию Закона Божия — отличные, русскому языку — отличные, русской истории — отличные, земледелию Российской империи — отличные, домоводству, садоводству, огородничеству, птицеводству, скотоводству, лечению детей, лечению животных, искусству печного и яственного, заготовлению впрок припасов, шитью и кройки, воспитанию детей...»

«Все для семьи», — подумала Радость Михайловна и вздохнула. Взяла голубую, из ляпис-лазури, ручку с пером и подписалась внизу. Взяла следующий лист:

«Дано девице Екатерине Павловне Сухомлинской, дочери полковника российской Императорской гвардии...»

Подписала. Взяла дальше.

«Дано девице Маланье Сергеевне Зотовой, дочери урядника Санкт-Петербургской городской стражи...»

Подписала.

«Девице, светлейшей княжне Елизавете Михайловне Гривен...»

Подписала, тяжело вздохнула и подняла голову. Все они — крестьянки, дочери солдат и офицеров, светлейшие княжны — имеют право на семью и счастье. Все они — блондинки и брюнетки, хорошенькие и дурнушки — выйдут замуж. Из семидесяти двух у шестидесяти девяти уже есть женихи. У нее одной нет и не может быть жениха, как бы она ни любила. Царская дочь не может выйти замуж — таков закон. Суровый царь Всеволод Михайлович, ее дед,

вступая на прародительский престол в разоренную и погибающую Россию, раз навсегда отрекся от личного счастья, отдав все родине. Он может иметь только одного сына — наследника, и ежели родятся раньше сына дочери, они обрекаются на безбрачие, «дабы, — как говорилось в законе, — не иметь ни зятьев, ни племянников, ни племянниц». У него родился сын Михаил, и больше детей не было. Сейчас вся царская семья состояла из бабушки Радости Михайловны, удалившейся в монастырь, ее отца и матери — императора и императрицы, Радости Михайловны и ее брата Александра, наследника престола. Личного счастья царская семья не имеет. Радость Михайловну воспитывали так, чтобы она сеяла радость по всему крещеному миру. И, когда окончено было орошение Илий-ского края и надо было селить в глухой край людей, ей построили дворец среди угрюмых Алатауских гор. Не для нее строили этот дворец и создавали красоту садов, а для тех, кто жил кругом. Сказкой о прекрасной царевне, мк-люющей и дарящей всех и всех освещающей своей лаской, старались скрасить жизнь садоводов и земледельцев в новом, еще глухом тогда, краю.

В ней с детства развивали таинственные силы магнетизма, ее учили напрягать токи души, и она прикосновением руки утишала боль. На ее зов из табунов диких лошадей прибегали лошади, тигры и медведи лизали ее руки и ложились к ее ногам, согревая своим мехом кончики ее пальцев.

Ее обучали магии, и она знала то, чего ни то не знал из этих девиц, отлично окончивших школу. Она была царская дочь, она была божество по понятиям подданных, и божескими силами она была одарена. Но она не знала и не должна была знать семейного счастья, и когда старость похитит ее красоту, когда время наложит морщины на прекрасный лоб, когда иссякнут таинственные силы души, — она знала, что ей придется идти в лесную келью сурового монастыря, чтобы подвигом самоотречения, святостью жизни сохранить в народе великую веру в Божие установление царей.

Раньше она гордилась этим и не думала о другом, теперь, когда залегло на сердце еще смутное чувство любви и покрыло его, как облако покрывает голубизну горного озера, тоска стала закрадываться в ее душу и тогда, точно черная ночь, безлунная и набухшая грозowymi тучами, застила ясный день ее души.

Она кончила подписывать листы школы, и под ними лежала толстая кипа других листов. Всадники на буланных лошадях в коричневых доломанах были нарисованы на них. Золотой штандарт был наверху, а внизу — сцены боев, атак, побед. «Подвиг ротмистра Панаева», —

мелькнула надпись в углу листа, где нарисован был окровавленный офицер, ведущий эскадрон в атаку на пехотинцев в касках. «Свидетельство Ахтырского Е. И. В. великой княжны Радости Михайловны полка». И отметки за знание Закона Божьего, истории и землеведения России, Ратного наказа, стрельбы, езды... Усатые лица молодых-солдат мелькали в ее памяти. На Рождество она была у них на конном празднике и на елке. На Рождество она дарила им золотые и серебряные часы, нагайки и башлыки, они целовали ее руку, и жесткие мужские усы больно кололи ее нежную кожу, и, когда поднимали они головы, слезы стояли на их суровых глазах. Она была царевна. Ее любило с лишком сто миллионов жителей Российской империи, и им она принадлежала, и потому не могла принадлежать одному.

А если сердце действительно просит любви?

Вспомнила слова Христа: «И если око соблазняет тебя, вырви его...» И если сердце соблазнилось, надо вырвать и сердце.

Княжна тяжело вздохнула и сложила подписанные листы. Маленькая морщинка тонкой паутиной легла между бровей. Она позвонила и сказала вошедшей дунганке:

— Попросите ко мне Матрену Николаевну. Когда постельничная вошла, княжна гордо встала, выпрямилась, как тростинка гибкая, и сказала спокойным грудным голосом:

— Когда идет завтра самолет на Санкт-Петербург через Джаркент?

— В восемь часов вечера, — отвечала Матрена Николаевна.

— Закажите мне по дальнотелеграфу отделение на чистой половине.

К шести часам утра подать мою серую тройку, подставку выслать в Илийское сейчас же. Я полечу завтра в Санкт-Петербург, — сказала Радость Михайловна.

— Будет исполнено, — кланяясь в пояс, проговорила Матрена Николаевна.

— Эти бумаги опечатайте и передайте гонцу. Проводите меня в опочивальню... Я лягу отдохнуть.

VII

В воскресенье, на первой неделе Великого поста, во втором часу дня Радость Михайловна с сенной девушкой, княжной Марией Николаевной Благово, ехала в парных санях по набережной Невы. Нева была покрыта льдом и снегом. Во все стороны по ней бежали расчищенные

дороги. Самоедский чум стоял у Дворцового моста, высокие елки окружали его, и дети толпились, ожидая очереди кататься на оленях. Голубой лентой протянулась к красному зданию 1-й воинской школы боярских детей ледяная дорога, и рослые люди в серых вязаных фуфайках перевозили, скользя на коньках, ручные санки. Сани свернули на спуск и покатались по широкой дороге через Неву к лестнице, где мирно дремали на северном солнце каменные сфинксы. Встречные люди узнавали великую княжну. Мужчины снимали шапки, женщины кланялись, и Радость Михайловна, кивая им, видела улыбку счастья на их лицах.

На крытом подъезде Школы живописи и ваяния, у самого Николаевского моста, у высоких дверей, ведущих в сквозные сени, упиравшиеся в стеклянное окно и уставленные статуями, их ожидали начальник школы и учителя. Начальник, Николай Семенович Самобор, ветхий старичок в синем кафтане, расшитом золотом, кинулся шаркающими шагами помогать Радости Михайловне снять шубу.

По лестнице, устланной ковром, они вошли в зал, увешанный старыми картинами, где уже стояла стойка для продажи пропусков, списков и художественных снимков с выставленных картин. Из этого зала широкая дверь вела в полуциркульный зал. Посредине него стояло бронзовое изображение императрицы Екатерины Великой, и уже из-за нее видна была ярко, воздушно написанная картина. Видно было блестящее солнечное синее небо и ветви, покрытые белыми снежинками цветущих вишен.

Радость Михайловна обошла статую и остановилась.

Другая Радость Михайловна стояла перед ней. В густом переплете ветвей цветущих вишен и яблонь, прислонившись к черному стволу, на золотистом песке, покрытом кружками солнечного света, стояла девушка. Она была написана такими воздушными тонами, что нельзя было сказать, реальная это девушка или призрак. На бледном лице призывом горели большие голубые глаза, руки были бессильно опущены вдоль тела. Белая рубашка с золотым узором, босые ноги в сандалиях — тот самый стилизованный дунганский костюм, какой носила великая княжна, когда приезжала в Илийское воеводство, — был выписан с поразительным искусством.

— До сего времени, — шамкая, говорил Самобор, — еще никому не удавалось создать столь прекрасный образ Вашего Императорского Высочества. Мы считаем картину молодого художника Коренева гвоздем нынешней выставки.

Радость Михайловна не слышала того, что говорил старый учитель. Она была поражена. Это была она, такой, какой явилась в немецкой

земле, когда цвели вишни, чтобы позвать того, на кого указали ей тайные силы.

— Я прошу обратить внимание, — продолжал говорить Самобор, — на глубину картины. Это так написано, что, когда задул сквознячок в палате, нам казалось, что ветки вишневых деревьев стали ронять свой цвет. Хотя художник Коренев учился в Немецтине, наш совет постановил наградить его званием художника и выдать ему золотой знак высшей степени.

Радость Михайловна ничего не слышала. Прижав обе руки к груди, она думала, как утишить биение сердца, не выдать румянцем, блеском глаз волнения, не дать прочесть ее мятежные мысли. Она уже знала, что, закрытый толпой учителей, стоит тут, неподалеку, тот, к кому рвалось ее сердце и кого видала она четыре дня тому назад в сонной грезе спасающим ее от Змея Горыныча. Она знала, что сейчас уже не призраком, спустившимся в ночи, не видением, но живая, существующая, станет она перед ним, протянет руку и ощутит на ней поцелуй того, кого звало ее сердце.

— Позвольте представить Вашему Императорскому Высочеству и самого создателя сей знаменитой картины, — проговорил Самобор.

Толпа учителей расступилась, и Коренев оказался перед Радостью Михайловной.

Радость Михайловна подняла на него глаза.

VIII

Одетый в темно-синий кафтан русского покроя, такие же шаровары и высокие сапоги, Коренев ничем не выделялся из множества молодых людей, кого по обязанности видала Радость Михайловна, но почему-то, когда его горячие губы коснулись ее маленькой руки, трепет пробежал по ее телу и краска залила лицо. Но сейчас же она справилась. Она была царская дочь и умела владеть собой. Синие глаза спокойно посмотрели в его глаза, и ласковый, для всех одинаково полный привета, ровный голос прозвучал из ее уст:

— Вы где учились искусству живописи?

— Я... Кажется... Да... Понимаете, — бормотал Коренев и чувствовал, что туман застилает его глаза и в ушах звенят мелкие колокольчики, точно муха, забившаяся в сети паука, пищит там. — Вот в чем дело... Я учился в Берлинской академии художеств.

— Ваша картина прекрасна, — сказала Радость Михайловна. — Она сделала бы честь и любому собранию наших картин. Значит, в Наметчине искусство живописи стоит не ниже нашего...

— Aber gar nicht*. Ничего подобного... Это я писал не по-берлински... Там теперь устремление от природы, искание новых путей, там красками почти не пишут.

— Чем же пишут там?

— Чем попало... Клеят на холст обрывки бумаги, яичную скорлупу, разный мусор.

— Помните, Ваше Высочество, — вмешался Само-бор, — я читал вам об уродливом течении в искусстве в начале двадцатого века, об имажинистах, кубистах, футуристах?

— Боже мой, — сказала Радость Михайловна, — но неужели это сумасшествие еще продолжается на Западе?

— Ах, Ваше Императорское Высочество, — воскликнул Коренев, — но там люди живут совсем не так, как здесь. Радость Михайловна протянула ему руку.

— Сегодня в пять у государя императора во дворце чай. Я прошу вас на нем быть моим гостем.

Она повернулась от картины, толпа учителей расступилась перед ней, и она пошла, улыбаясь светлой улыбкой, в большие залы, установленные зигзагообразными черными щитами, с картинами в тяжелых рамах. Они не занимали ее. «Если Коренев мог так написать ее портрет, значит, он запомнил ее, значит, он полюбил ее». Она с трудом справлялась с собой, чтобы не быть рассеянной. Остановилась у картины, изображавшей конных казаков в серых черкесках с белыми башлыками за плечами, скачущих ночью по полю, озаренному луной и алым заревом пылающей деревни.

— Атака 1-го Волгского Его Высочества наследника-цесаревича полка? — сказала она.

— Так точно, — проговорил, выдвигаясь, пожилой художник с длинными русыми польскими усами. — «Дело у посада Савин, 21 июля 1915 года».

— Здравствуйте, Майхровский, вы только одну эту картину выставили? — сказала Радость Михайловна, подавая художнику руку.

— Только одну. Ваше Императорское Высочество, — тихим голосом сказал художник. — У меня была большая забота. Моя жена была тяжело больна.

— Что же вы мне не сказали? Я бы навестила ее, — воскликнула Радость Михайловна. — А как ее здоровье теперь?

— Благодарю вас. Она уже выходит.

— Пожалуйста сегодня вместе с ней на пятичасовой чай во дворец. Я скажу государю императору о вашей картине. Я уверена, что ее купят для подарка 1-му Волгскому полку.

Рядом висел сплывавший написанный букет розовых гвоздик в большой темно-синей вазе. Художница, розовая белокурая девушка с нерусским лицом, стояла возле полотна. Радость Михайловна скользнула взором по картине и прошла мимо. Только сильные картины, ярко блещущие подлинными искрами таланта, привлекали ее внимание. Она проходила мимо многих пейзажей, изображений леса, зимы, степи и охот с борзыми и вдруг остановилась около маленького полотна, изображавшего уголок двора, петухов и кур, и луч солнца, сверкнувший из-за угла.

— Как хорошо написано солнце! — сказала она. — А самого творца этой милой картинки здесь нет? Каштанов не приехал из своей Богодуховки?

— Ну, разве он может оставить свое имя, — сказал учитель видовой живописи. — Я не знаю, что больше он любит, своих лонг-шанов или свою кисть и искусство?

— Не смейтесь, Бородин. Каштанов — славный старик. У каждого человека есть свои слабости, и его слабость к собакам, кошкам и курам — очаровательная слабость. Я потому жалею, что его нет, что не могу вытащить его к нам. Он так хорошо рассказывает про животных. Он будто знает душу своих дворняжек, котов и кур. Славный старик.

По мере того, как шла она из залы в залу, число приглашенных увеличивалось. Сенная девушка записывала в книжечку золотым карандашом имена осчастливленных, и счастье было не только в том, чтобы попасть во дворец, но в том, что такое приглашение показывало, что картина обратила внимание Радости Михайловны, а это значило, что она действительно прекрасно, талантливо написана.

Из зала с живописью она прошла в зал, где висели работы, сделанные водяными и медовыми красками, наконец в чертежные зодческого отдела. Она шла быстро. Всю выставку, заключающую более шестисот номеров, она прошла менее чем в три часа, но ни одна картина, чем-либо замечательная, не ускользнула от ее взора. И, если это было полотно молодого художника, она находила для него ласковое слово, она приглашала его во дворец своего отца и осчастливливала его на всю жизнь.

* См пер на с 394

Уже темнело. Мартовские сумерки надвигались, когда она спустилась в сени, где казак ожидал ее с шубой.

— Благодарю вас, — сказала она, прощаясь с Самобором. — Выставка великолепна. Мне думается, что она лучше прошлогодней. Искусство русское идет вперед.

— Да, — сказал старик, — таких картин, как «Грезы мечты золотой», где изображены Корневым Ваше Высочество, в прошлом году не было. Это талант, который перейдет в вечность.

— Да, вы находите? — сказала она. — И мне картина очень понравилась. Итак, дорогой учитель, через полчаса во дворец.

— Я ошастливлен выше меры вниманием Вашего Высочества, — проговорил старик и побежал открывать дверь перед Радостью Михайловной.

IX

Каждый день в оранжереях возле Помпеевской галереи Зимнего дворца, в пять часов, на маленьких круглых столиках накрывался чай на триста приборов. К чаю подавались пироги и караваи, сдобная перепечка, вино крымское и кавказское и романея. Во время чая играли музыканты и трубачи и пели песенники. Сюда приглашались люди без различия званий и состояния, и приходили сюда, не стесняясь платьем. Здесь бывали крестьяне, приезжавшие в столицу по делам, казаки зимовых станиц, рабочие заводов, изобретшие какую-нибудь машину или прибор или приготовившие что-нибудь особенно искусно, здесь бывали художники, писатели, стихотворцы, обратившие на себя внимание своими произведениями, воспитательницы детей, окончившие выпуск их, артисты и артистки театров. Здесь государь, переходя от одного столика к другому, знакомился со всеми теми, кто двигал Россию вперед по пути просвещения.

Под раскидистыми платанами и музами, в перистой зелени финиковых пальм, возле мохнатых стволов хаме-ропсов, между газонами, благоухающими пестрыми гиацинтами, ландышами, нарциссами, у искусственных скал и ручьев, где склонялись папоротники, где порхали зеленые и красные попугаи, белые какаду и золотистые колибри, среди детей боярских и бояр находились различные люди, и здесь они видели царя, царицу, наследника и царевну в сказочной обстановке. Отрывки русских опер звучали здесь, широко лилась русская песня, и здесь люди деревни и рабочих слободок учились любить красоту.

Оркестр Измайловского полка играл вальс из «Евгения Онегина», когда Корнев с Самобором вошли на бархатный песок сада. Корнев искал Радость Михайловну. Ему хотелось услышать ее мнение о своей картине и рассказать ей, что она для него. Он сейчас же увидел ее. Она сидела недалеко от входа, откинувшись на спинку золотого диванчика. Снисходительная улыбка была на ее юном лице. Против нее на квадратном мягком табурете, сложенном из двух подушек, неловко расставив ноги в длинных серых немецких штанах, в таком же пиджаке, в рубашке с пунцовым галстуком, олицетворяя собой давно забытые времена демократизма, сидел Дятлов.

Демократ Александрович получил приглашение на пятичасовой чай как автор загадочной поэмы «Обойденные жизнью». В ней было много недопустимо смелого по понятиям тогдашней России, но было в ней и что-то такое тоскующее по родине, переполненное горячей, жадной любви к ней, что о поэме этой задумались, ее дали прочесть при Дворе, читали государь и Радость Михайловна, и кончилось тем, что Дятлов через Демидова получил приглашение во дворец. Он фыркнул, отказался сначала, сказав, что у него нет русского платья, но когда ему сказали, что можно быть в чем угодно, пошел, чтобы «высказать все». А ему многое не нравилось. Он пришел озлобленный, разочарованный, ероша редкие волосы, и плюхнулся на табурет, едва его представили царевне и не ожидая ее приглашения сесть. Радость Михайловна улыбнулась, сказала Демидову, приведшему Дятлова, что она хочет побеседовать с автором поэмы, и уселась против Демократа Александровича на диванчике.

— Как вы устроились в Санкт-Петербурге? — сказала Радость Михайловна. — Чувствуете ли себя дома? Отыскивали ли старых родственников в России?

— Скучно, — сказал Дятлов. — Тут пастиччио какое-то! Абсолютно я тут ничего не понимаю. Все ваши национальные эксперименты мне феноменально не нравятся. Что это за манеры титулования: Ваше Высочество... Извиняюсь, но это же ерунда! Что, возвышает это, что ли, вас?

— Ничуть, — сказала Радость Михайловна. Она вспомнила свои думы в кольджатском дворце накануне отъезда и улыбнулась печально. Точно розовая тучка нашла на солнце и заслонила его, печален показался день. Пропали золотые блески яркого света.

— Мне-то это менее всего нужно.

— А кому же это надобно? — сказал Дятлов.

— Это надобно тем, кто меня так называет. Это не меня возвышает, но возвышает их, отрывает их от серых буден и этими словами вносит их в иную жизнь, и им это нравится.

— Буржуазные предрассудки. Отрывка лакейства. Мне это абсолютно не нравится.

— Но вы меня так и не называете, — улыбаясь, сказала Радость Михайловна.

— Да... Не называю, — Дятлов был сбит с толку. — Не хочу... Не могу... Скучно... Вы понимаете, вот, кон-цепируя реальность меня окружающего, — это блистание, треск, бум, шум, брухаха это, — никак не могу на все это реагировать. Диаметрально в ином аспекте имажинирую я жизнь. Не это надо.

— А что же?

— Борьба.

— Борьба. То есть кровь?

— Да, если хотите... Мы не Пилаты, и мы знаем, что обрести право свое нельзя бескровно.

— Но какое право? Чего вы хотите?

— А вот чтобы все это было не ваше.

— А чье же? Ваше?

— Нет, и не мое. Собственность нам отвратна... Общее.

— Но вы пользуетесь всем этим сколько угодно.

— По приглашению, — насмешливо сказал Дятлов.

— Да, но если бы вы захотели, то вы всегда можете получить это приглашение.

— Вы приглашаете таланты.

— А вы считаете себя талантом?

— Нет... Вообще все люди равны. Радость Михайловна улыбнулась. Этот человек ее забавлял.

— Вы знаете, — сказала она, — что если бы сюда явился и не талантливый человек, а просто самый рядовой и сказал, что он хочет видеть царя, быть у него, — его позвали бы.

— А если бы это был преступник?

— Преступники лишаются прав быть русскими, и потому, конечно, преступник сюда не попадет. Преступники изъяты из общества. Вот почему у нас так мало преступлений.

— Значит, у вас нет равенства.

— Да, преступник у нас не приравнивается к честному рабочему человеку.

— Вот потому-то и скучно.

— Я вас не понимаю.

— Позвольте, я вам это объясню. Я живу здесь больше полугода. Всюду бываю. Бываю среди рабочих, о чем разговоры? «Поставил у себя дальносказ, с женой слушали представление на театрах». —

«Вот скоплю деньги, куплю кровать на пружинах». — «Хочу летом отпуск взять, ко святым местам пойти». — «А хорошую сегодня проповедь священник сказал, умственно, душевно». — «А Сеньку Башкирова хожалый под зебра взял за появление в пьяном виде, и определили два дня улицу мести» — ведь это, вы понимаете, тоска! Это могила, мертвые люди, это смерти подобно...

— Чего вы хотите? По-моему, это и есть жизнь.

— Жизнь... Помнится мне, отец мой в эмиграции рассказывал про купца такой смешной рассказ. Будто бедный человек мечтает, чтобы у него было, как у купца, чтобы домик был в три окошечка, самовар, клетка в окне и в клетке соловей, птичка малая, заливаясь, поет.

— А что же, неплохо, — сказала Радость Михайловна.

Ей казалось, что она разговаривает с ребенком.

— Нет, очень плохо. Ведь это мещанство. Понимаете — мещанство в общем и целом.

— Ничего не понимаю. Что же нужно?

— Нужна борьба и победа. У вас в христианской Руси:

Евангелие и любовь — основа всего. У нас ненависть — страшная, колючая ненависть рабочих к капиталу. Могущественные союзы для борьбы с капиталом. Стачки. А! Вы не понимаете, какая это эмоция — вот только-только установилась нормальная жизнь, только оправились рабочие, только зажирили они, вот тут-то им и преподнести.

Митинг: «Товарищи! Вас обманывают, вы должны победить капитал! Требуйте прибавки!» Повышается ставка заработной платы, ставятся такие условия, что никакое предприятие не может выдержать, и все летит прахом. Крестьянин ломит невозможные цены за продукты потребления, рабочий повышает из-за этого заработную плату — заколдованный круг, а мы в нем кружимся и наускиваем оных на других. А потом попасть в лидеры партии, стать вождем и чувствовать, что можешь миллионы людей обречь на голод и нищету. А борьба со штрейкбрехерами, драки на улице! Жизнь! Жизнь...

— Не понимаю, — сказала Радость Михайловна. Печально стало ее лицо.

— У вас, — продолжал Дятлов, — у вас, если чем недоволен рабочий — уходи на голод, ибо нет союза, который тебя поддержит в борьбе с капиталом. Они запрещены.

— Они просто не нужны, — вставила Радость Михайловна.

— Да! Попробуй тут помешать силой работать, увести с предприятия, прогнать рабочих, явятся опричники, разгонят, посадят в узилища и заставят работать. У нас в тюрьме — одиночное заключение

и ничегонеделание, и потому — думы, думы без конца! Чего не придумаешь! У вас...

В эту минуту Самобор и Коренев подошли к Радости Михайловне...

X

Радость Михайловна обрадовалась их приходу. Ей тяжело было с Дятловым. Как дочь хозяина, как царевна, она считала себя обязанной выслушивать его страстные речи, полные непонятных недоговоренностей, но все, что говорил он ей, казалось таким странным и нелепым, а возражать, спорить она не хотела. Она смотрела прямо в глаза Дятлову, как смотрела каждому человеку, он избегал ее взгляда, смотрел мимо нее, и это ее оскорбляло. С удовольствием она подняла свои глаза на Коренева. И в нем были странности, не было того воспитания, которое и в мужчине ищет и требует некоторой застенчивости перед женщиной, подчеркнутого уважения, но эти странности ей были приятны. Дятлов, сухо поздоровавшись с Кореневым, отошел. Ему хотелось курить, и он искал глазами Демидова, обещавшего показать ему место, где можно курить.

— Вот и привез к вам наше восходящее светило, — сказал Самобор, подводя к царевне Коренева, — у Петра Константиновича колорит Семирадского, письмо Бакаловича, мазок Верещагина и сила письма Репина. Вы не видали его наброски? Ваше Высочество, вам надо побывать в его мастерской. Я должен сознаться, что воспитание в стране упадка имеет и свои хорошие стороны. Наш молодой художник ищет нового, и, я думаю, толкнет наше искусство не только в мир сказок, но и в мир широкой фантазии. Его наброски Ивана Царевича на сером волке, увозящего царевну от Змея Горыныча — полотно в три сажени — полно самого необузданного воображения.

— Вы пишете Змея Горыныча с лапами? — спросила вдруг побледневшая Радость Михайловна.

— С четырьмя, Ваше Императорское Высочество. Он уже поражен Иваном Царевичем. Но народ возмутился и, предводительствуемый жрецами, кинулся на Ивана Царевича, только что вызвавшего серого волка, — отвечал Коренев.

— Поразительно, — сказала Радость Михайловна. — А волк? Он поседлан?

— Нет. Он громадной величины. С лошадь. Красивая лохматая блестящая шерсть.

— Откуда вы взяли эту мысль?

— Мне это снилось.

— Снилось? А кто, по-вашему, Иван Царевич для царевны? Брат?

— Нет. Возлюбленный, жених. Не знаю. По-моему, они только что познакомились. Я пишу картину широким пейзажем. Лес, густой сосняк, и среди него поляна. Громадный дуб. Ветер, буря, дождь, град... Хаос, и тут мятущиеся люди. На первом плане Иван Царевич несет царевну, на ней еще обрывки веревки висят. Серый волк стоит как вкопанный. Он только что прискакал, тяжело дышит, глаза блестя. Пасть раскрыта, язык высунут.

— Эти глаза замечательны, — сказал Самобор.

— Я ездил зимой пять раз в селение Котлы, где у меня крестьянствует мой приятель, тоже из эмиграции, Бакланов, там я был на охоте, с борзыми, и на облавах смотрел волков, снимал этюды.

— Наша школа, — сказал Самобор, — уже привила своему ученику убеждение, что даже фантастическая картина должна быть полна правды. Буря в лесу так передана, что желтые листья, летящие с дуба, кажется, вот-вот уйдут с полотна и упадут на пол.

— Очень интересно, — сказала Радость Михайловна.

— Манера письма удивительная, — сказал Самобор. — Я советую вам посмотреть. Наша княжна сама — большой художник, — обратился он к Кореневу.

— А где ваши картины? — спросил Коренев.

— Они у меня.

— Великие княжны не могут до своей смерти выставлять напоказ свои таланты, — сказал Самобор.

В саду произошло движение. Все встали. Музыка смолкла. Среди гостей от столика к столику переходили государь с государыней... Они подходили к гостям, знакомились с ними, расспрашивая их. Рядом со столиком, где была Радость Михайловна и художники, был крестьянин в смазных сапогах и серой свитке. Государь долго разговаривал с ним. Крестьянин что-то доказывал государю, государь, улыбаясь, кивал отрицательно головой. За соседним столиком шептались любопытные.

— В чем дело? Жалоба?

— Нет. Этот мужик хочет подарить государю какого-то особенного жеребца, выращенного им и забравшего в Москве на бегах все призы, а государь отказывается, не хочет брать.

— Хороший мужик. Конечно, такого коня только государю иметь.

Государь отошел от мужика и пошел мимо Радости Михайловны. За ней, под высоким хамеропсом, стоял Дятлов. Государь посмотрел

на него внимательным и, как показалось Кореневу, строгим взглядом, и Дятлов заерзал и потупил глаза. Уже пройдя Коренева, государь остановился, повернулся к нему.

— Коренев? — спросил он.

— Я, — отозвался Коренев и почувствовал, как жаром обдало его тело, мураши побежали по спине.

— Слышал о твоей картине, — сказал ласково государь. — За недосугом не видал еще. Счастлив, что такой способный человек вернулся на родину. Хорошо живешь?

— Лучше некуда, — пролепетал Коренев, вытягиваясь и робея, как не робел никогда.

Когда государь отошел, он повернулся пылающим лицом к Радости Михайловне... Самобор отошел. Царевна была одна.

— Как хорош государь, — прошептал Коренев.

— Не правда ли? — сказала Радость Михайловна. — И потому так хорошо в России.

Она сделала движение, чтобы уйти.

— Ваше Высочество, — умоляющим голосом проговорил Коренев, — ужели мы никогда больше не увидимся?

— Нет, — сказала Радость Михайловна, — меня заинтересовала ваша новая картина, и я хочу приехать и посмотреть ее.

XI

В просторной казенной мастерской пахло маслом, скипидаром и лаком. Около небольшой печки в кресле сидела Эльза и зябко куталась в шерстяной лиловый халатик, вышитый хризантемами. Она только что окончила позировать. Коренев снял передник и надел тонкого синего сукна кафтан. Он был еще охвачен восторгом творчества. Вторую неделю, не отрываясь, запоем, работал он над своей картиной. Ему хотелось, чтобы великая княжна увидела ее законченной. Он уже не сомневался в своем чувстве к ней. Он понимал, что только любовь может давать такую силу всем нервам тела и такое вдохновение.

Сотни набросков леса, одежды шаманов, снимков со скелетов бронзавров и ихтиозавров, набросков с раненых, живых и убитых волков были развешаны по стенам. На стульях и на полу валялись старые альбомы с набросками толпы на митингах протеста. Были нарисованы обнаженные груди рабочих, черные кулаки, поднятые

кверху сухие, озлобленные лица. Он творил приснившийся ему сон, но каждая мелочь его картины дышала правдой.

Сегодня по дальноказу его уведомили, что ровно в три часа великая княжна желает смотреть картину в его мастерской. Он кончил работу в два и хотел остаться один, но Эльза мешала и не уходила. Она забралась с ногами в кресло, охватила тонкими пальцами колени и смотрела то на картину, где было нарисовано ее тело со следами веревок на плечах и ногах, то на Коренева. Тонкая папироска была в ее зубах, и она медленно, краем рта, выпускала синий дым. Ее возмущало волнение Коренева.

— Эльза, — сказал Коренев, останавливаясь против нее, — я хотел бы, чтобы вы ушли.

— Почему? — спросила Эльза, выплевывая папироску и не изменяя положения своего тела.

— Я хочу быть один с ее Императорским Высочеством.

— Неужели вы думаете, что ее Императорское Высочество, — сказала Эльза, подчеркивая титул, — придет к вам одна? С нею будет целая свита придворных.

— Это другое дело. Но я не хотел бы, чтобы великая княжна видела вас.

— Вздор.

— Эльза, я не только прошу, я требую этого.

— Волнуетесь? Эх вы!.. Вы раб!.. Русский раб, — сказала Эльза, стараясь вложить как можно больше презрения в слово «раб».

— Пускай раб. Мы все рабы, и разница лишь в том, чьим рабом быть.

— Быть рабом Его Величества, — сказала Эльза.

— Величайшее счастье, потому что это значит перевозносить родину-мать.

— Вы давно не беседовали с господином Дятловым, — насмешливо сказала Эльза и спустила ноги с кресла.

— Что скажет мне Дятлов? Что может он мне сказать? Разве в Западной Европе мы не были рабами шибетов, спекулянтов, толпы и ее вождей? А эта так называемая партийная дисциплина, эти смертные казни, убийства из-за угла за измену партии? Помните, как в курорте Орбе в горах убили Гофштетера за то, что он написал статью о том, что при императоре и короле всем жилось лучше и не было голода...

— Это послушание демократии, Петер, это совсем другое.

— Эльза, вы ли говорите мне так? Эльза, Эльза, а помните, мы путешествовали с вами по Германии, Австрии и Венгрии, и где только

была красота, где только был размах творчества, где только была сила, там были могущественные две буквы «К» и «К» — Kaiserliche mid Konig-liche*. Красоты Потсдама создал Фридрих, баварские короли создавали Мюнхен, создавали удивительную поэзию Нимфенбурга с его лебедями, при королях и императорах таланты процветали, а что, что дала нам демократия? Импрессионизм, имажинизм, кубизм? Она таланты обратила в идиотов и гения довела до отчаяния. Гений стал бездарностью.

— Политика, — сказала, пожимая плечами, Эльза, — я о политике не спорю. Я стала монархисткой и признала христианство, но мне противно ваше холопство и лакейство.

— Если бы это было холопство и лакейство, — сказал Коренев, — я бы просил вас остаться, чтобы вашей красотой оттенить еще больше красоту Ее Высочества, но я хочу поговорить с Радостью Михайловной по душе, а вы будете стеснять меня.

— Петер, Петер, — качая красивой головой, сказала Эльза, — что это значит? Ужели призраки Потсдама?

— Молчите, Эльза! — воскликнул Коренев.

— Нет, не могу молчать, не стану молчать, — вставая, сказала Эльза, — с тех пор, как вы стали мечтать о ней, вы забыли меня. Я нужна вам как ваша натурщица, нужна вам как ваша горничная, кухарка, нянька... В угоду вам я одела этот русский костюм, в угоду вам я приняла православие с этим смешным именем Анна и отчеством Федоровна. Все для вас. Я живу вами, Петер, и без вас — какая для меня жизнь!

— Я знаю это, — холодно сказал Коренев, — и я вам благодарен.

— Благодарны... Это не то, Петер. За это не благодарят. Вы не любите меня, Петер, вы любите ее.

Эльза сделала два шага к Кореневу, — он стоял, опустив голову.

— Петер!

— Вы знаете, — глухо сказал Коренев, — что я вас всегда любил и теперь не перестал любить.

— Вы это только говорите! — сказала Эльза. Порывисто подошла к зеркалу и стала надевать на себя шапочку котикового меха.

— Вы говорите и гоните меня. Зачем, зачем, Петер? Вспомните меня, когда так же ответят вам на всю вашу любовь. Вы и Радость Михайловна! Художник, живущий из милости у государства, и — Ее Императорское Высочество, царевна-сказка, обожаемая всей Россией!

— Уйдите, Эльза... Я прошу вас, уйдите.

* Императорские и королевские (нем)

— Я уйду, Петер, и не вернусь... Но помните, вы придете ко мне. Знайте, Петер, что я немецкая женщина, и только я могу дать вам все, что нужно для того, чтобы талант ваш мог шириться и расти.

Эльза повернулась и в дверях столкнулась с входившей в мастерскую Радостью Михайловной. Она остановилась, чтобы пропустить ее, и, сама не отдавая себе отчета в том, что делает, согнулась в глубоком, томном, придворном реверансе.

Этот поклон запомнился Кореневу. Он смягчил его сердце, но он был сильно взволнован и тяжело дышал, когда бросился навстречу царской дочери.

XII

В белой горностаевой шубке, белой шапочке и мягких белых ботах, румяная от мороза, сверкающая голубизной глаз, оживленная, внутренним огнем согретая, совсем новая была царевна. За ней, так же одетая, такая же молодая, но более румяная, пышущая здоровьем, полная, веселая, смешливая, шла сенная девушка, и начальник школы Самобор стягивал тяжелую шубу и, запыхавшись, стоял у входа.

— Какой сияющий сегодня день, — приветливо сказала Радость Михайловна и протянула руку Кореневу. — Совсем весна. На набережной толпы народа. И если бы не леденящий ветер с залива и не Нева в белом уборе, забыть можно про зиму. Но уже мостки на переходах сняли. Проезжая мимо Адмиралтейства, я видела, что там готовят бот для торжественного переезда через Неву.

Она болтала, стараясь скрыть свое смущение. Не понимала сама, откуда оно взялось. Столько раз бывала она в мастерских художников, в рабочих квартирах, навещая бедноту, больных, таланты, врываясь лучом солнечного света всюду, где нужно было ободрить, помочь, приласкать. Всегда сразу находила нужные слова, берегла свое время, не болтала лишнего и в две-три минуты решала дело. Теперь хотелось говорить, хотелось отдалить дело, таившееся в ее сердце. Сенная девушка хотела помочь ей снять шубку. Она уже растегнула ее.

— Нет, — сказала Радость Михайловна, — я останусь так. Я на одно мгновение. В мастерской холодно.

У Коренева было жарко. Только что позировала Эльза, и мастерская была натоплена. Коренев подвинул княжне кресло на то место, откуда картина была видна в лучшем освещении. Она села и стала

смотреть на холст. Да, это было верно. Это было почти точное воспроизведение ее видения.

— На шамане, — сказала она, не поворачиваясь от картины, — были только раковины. Не было птичьих черепов.

— На рисунках шаманов... — начал Коренев, но она перебила его:

— Только раковины больших черных улиток, круглые, зеленовато-серые с белым пятнышком, и белые, согнутые, как рог, длинные, узкие, вот такие, — она взяла тетрадь для набросков и показала карандашом, какие были раковины.

Коренев с удивлением посмотрел на нее.

— Да, — сказал он, — вы правы. Я брал шамана Вятского воеводства.

— Это было в Новгородской пятине, — настойчиво сказала Радость Михайловна. — На царевне были нежные белые заячьи шкурки, а не шкура волка, как написали вы. Она была гораздо более одета.

— Это действительно будет очень красиво, — сказал Коренев, — белый заячий пух на фоне шерсти серого волчка.

— Не красиво, Петр Константинович, а правдиво. Это так было. Картина тогда хороша, когда она правда.

— Но, Ваше Высочество, — сказал севший сзади княжны Самобор, — картины господина Коренева — чистый вымысел. И та картина, которую он выставил, является выдуманным образом, и эта.

— Спросите господина Коренева, — сказала Радость Михайловна, — выдумал ли он первую картину? — и она первый раз посмотрела на Коренева.

Незнакомое смущение охватило ее. Точно две одинаковые струны были натянуты в них. Звучала одна — и другая сейчас же ей вторила. Коренев не смотрел на картину. Он смотрел на княжну. Сенная девушка отозвала Самобора к какому-то наброску. Они были четверо в мастерской, но у картины они были только двое, и Радости Михайловне казалось, что она испытывает снова то ощущение свободы и спасения, которое было в снах.

— Откуда вам пришла мысль написать такую картину? — повысив голос, сказала Радость Михайловна.

— Это сказка, — сказал Коренев. — Я хотел придать ей реальные формы. Змей Горыныч — одно из допотопных чудовищ, скелеты их можем видеть в санкт-петербургской кунсткамере, и образы их ученые сумели восстановить. Обстановка жертвоприношения в лесу взята мной из описаний различных вотяцких, зырянских и вогульских действ конца XVIII века.

— Нет, это не так, — глядя прямо в глаза Кореневу, сказала княжна. — Вы видели это. Вы переживали это когда-то.

— Когда? Как? Как я мог пережить это? Княжна смотрела прямо ему в глаза, и сильно билось сердце Коренева.

— Когда? Как? — повторила она. — Прежде. Вы знаете, кто она? — Радость Михайловна глазами указала на царевну в руках спасителя.

Коренев молча кивнул головой. Сам не понимал — почему.

— Я не посмел придать ей верные черты, — тихо проговорил он.

— Вы правы, — сказала она. — Не нужно, чтобы кто-нибудь знал это, кроме нас... А кто он?

— Не знаю...

— Правда?

— Не знаю...

Под пристальным взглядом Радости Михайловны Коренев покраснел до корней волос.

— Вы знаете, — сказала она, упорно глядя прямо в глаза Кореневу. — Вы знаете меньше меня, но вы знаете многое.

— Скажите, Ваше Высочество, в германской земле меня тревожил призрак...

— Это не был призрак...

— Это были вы?

— Я звала вас как русского вернуться в Россию. Вы уже видали, что мы в нашем уединении достигли многого, чего не знают в Европе. Я отыскала вас.

— Почему меня? — прошептал Коренев.

— Потому что... Потому что, — она не знала, что сказать. — У вас русская душа, и я знала, что вы откликнитесь на мой зов.

— Но почему не Бакланов, не Дятлов?

— Вы... Я хотела именно вас.

— Как вы нашли меня?

— Чары... Не будем говорить об этом. Есть у меня знания... Лучше было бы, чтобы их не было. Лучше не знать. Меньше страдать.

— Вы страдаете? О! Боже мой! — воскликнул, отступая на шаг от княжны, Коренев. — Возьмите всю жизнь мою, весь мой талант, но только чтобы ни тени печали, ни облака сомнения не туманили вашего прекрасного лица. Ваше Высочество — я раб ваш!

— Раб потому, что я дочь вашего императора, или потому, что я — Радость Михайловна и...

— Ваше Высочество, мое несчастье в том, что вы дочь императора, а не простая смертная. Но... талант, работа, подвиг в нашем прекрасном государстве — разве это не все? Разве это не выравняет неравенства рождения? Здесь все так разумно!

— Долг, Петр Константинович, стоит у нас превыше всего. Долг перед Богом, долг перед родиной, долг перед народом. Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее».

Коренев пожал плечами.

— Ваше Высочество, — сказала сенная девушка, — взгляните, какой великолепный набросок раненого волка. Прямо больно смотреть на него.

Радость Михайловна покраснела. Это было первый раз, что сенная девушка напомнила ей о ее долге, о том, что разговор ее с молодым художником излишне продолжителен.

Радость Михайловна встала.

— До свидания, Коренев, — сказала она. — Храни вас Господь. Пятую и шестую недели Великого поста я буду проводить в Петергофе, в Монплеzure. Буду рада вас видеть у себя.

Она подошла к подмалевку.

— Раненый волк, — сказала она. — Да... Сколько муки в этих желто-серых глазах... Но что такое смерть? Смерти нет и для животных. Идемте, Николай Семенович. Большое, большое спасибо вам, Коренев, что доставили столько удовольствия своей картиной. Она будет великолепна. Я уверена: она вам удастся.

XIII

Стояла бледная петербургская весна. На низком солнце млела Маркизова лужа, в синеву ударялись мелкие волны, отражая голубое небо и сверкая на солнце золотистыми переплесками. Было тепло. Иголками показалась из черной земли зеленая трава, и ручьи бежали по ней, извиваясь между деревьев старого парка. Береза выпустила клейкие листочки, опушалась духовитыми сережками и стояла, полная северной тайны, как шаман, увешанный палочками, в берестовом костюме. Осина трепетала розовыми листьями. Точно снегом усеянная, в хлопьях белых цветов стояла душистая черемуха, сирени кругом золотого Самсона были покрыты лиловыми и белыми гвоздями

цветов, и даже черные дубы помолодели и скрыли морщины голых стволов и раскидистых ветвей под нежным налетом молодой зелени. Птицы пели, шептало о камыши море, казалось, земля тихо вышала, открывая объятие небу, и из дыхания ее лиловым паром шли фиалки и белые анемоны и выступали пестрым ковром на белых лужайках.

У Монплезира сотни дворцовых слугителей расставляли столы в саду и накрывали их скатертями — ждали воспитанниц петербургских средних школ на чай по случаю их выпуска. За отъездом императора и императрицы в Москву на открытие Всероссийской промышленной выставки принимать их должна была Радость Михайловна.

Накануне до часа ночи она провела на выпускном спектакле Театральной школы. Она была утомлена. Она чувствовала, что всем нужна, что без нее и праздник будет не в праздник, и если не она раздаст свидетельства и награды, то это будет, как сказала ей одна воспитанница: «Не то, совсем не то».

Но утро у нее было свободно. Она шла по дорожке парка. Справа тихо шептало море, подбегая плоскими волнами к траве, где цвели желтые одуванчики, слева стеной стояли кусты. Впереди, синее, сверкало море, видны были остатки старой пристани, и за ними четко рисовались стены, дома и трубы Кронштадта. Золотом горел обновленный купол Андреевского собора.

Радость Михайловна шла медленно, задумавшись. Она думала о том, как ей принять до восьмисот девиц петербургских школ и каждой сказать ласковое слово, на каждую взглянуть и обласкать улыбкой. Потому что знала, какое горе будет, если кто-нибудь потом скажет: «Меня не заметила великая княжна!» — «Почему на меня не посмотрела?» Знала Радость Михайловна, как уже старые женщины вспоминали этот петергофский чай и повторяли слова, которые им сказала когда-то ее бабушка, государыня Елена Иоанновна...

Миллионы людей — в северных тундрах, в золотоглавой Москве, в раздольной и богатой Украине, на тихом Дону, в Крыму и на Кавказе, на склонах Гималайских гор, в угрюмой тайге, на Камчатских приисках — жаждали видеть и слышать свою царевну, и Радость Михайловна должна была ездить по всей империи и расточать улыбки и слова ласки.

Она была для всех, и менее всего была для самой себя. Каждый жест, слово, одежда, прическа должны были быть обдуманы, потому что знала Радость Михайловна, что тысячи глаз следят за ней и смотрят на нее как на божество. Ей показывали косточку от абрикоса, который она ела два года тому назад в каком-то доме на пути

в Севастополь. Косточка лежала в особой коробочке, на лиловом бархате как драгоценность.

Она шла и думала о том, что, в конце концов, это тяжесть, это крест, который порой тяжело нести. И рада была она хотя час побыть одной, и думать, и смотреть как Радость Михайловна, а не как великая княжна.

— Ваше Высочество! — услышала она у поворота дорожки и вздрогнула.

Корнев подходил к ней. Он писал здесь эту заливку.

Радость Михайловна остановилась. Улыбка осветила ее лицо.

— Здравствуйте, Петр Константинович, — сказала она. — Вы здесь писали красками?

— Да. Ваше Высочество! Мне чрезвычайно нужно поговорить с вами не на людях. Я ждал этого случая.

— Я слушаю вас, — сказала Радость Михайловна и села на скамью под сиреневым кустом.

Корнев стал против нее спиной к морю. Смешны были пальцы, замазанные краской. Но и как милы!

— Ваше Высочество, — проговорил Корнев и опустил голову. — Простите... Простите меня... Это, может быть, дерзко... не по правилам. Я люблю вас... Сердцу ведь не закажешь...

Она хотела остановить его и протянула вперед руку, но он поднял голову и сияющими глазами взглянул на нее. Она потупилась от его взора и промолчала. Он осмелел и продолжал:

— Вы для меня все. Все мои мысли, думы, мечты, все о вас. Олицетворили вы в себе все великолепное царство Российское, и не могу, не могу я жить без вас. Знаю, Ваше Высочество, что не так это делается, особенно в царской семье, да сердцу что скажешь? От избытка сердца, читал я в святых книгах, уста глаголят... Вишь, смутили вы меня, заколдовали чарами, призраком приманили, а теперь уже, простите, не могу... Радость Михайловна, повенчаемся где-нибудь на глухом хуторе, проживем тихой жизнью. Забалую, зачарую голубку свою ласками нежными, сильной любовью укрою, и будем жить, как указал Господь.

— Я царская дочь, — сказала Радость Михайловна, — и мне нельзя слушать такие речи.

— Э, полноте, Радость Михайловна! Любовь не знает рангов и отличий. Знаю, что вы ко мне не зло питаете. Ну скажите прямо и честно, что я такой же смертный, как все люди, или отличили вы меня, выщепили, притянули к себе?

Радость Михайловна подняла на него синие глаза. Небо отразилось в них. Честные, прямые, не знающие лжи, царские глаза устремились под полог ресниц на Корневу, но он не потупился и не испугался. Видел, что любили эти глаза. Любили его.

— Да, — твердо проговорила Радость Михайловна, и звенел ее родной, низкий голос, — да, я люблю вас, Корнев. Я давно отыскала вас в сердце своем, раньше, чем вы нашли меня. Колдовские чары, каких вы не знаете, указали мне на вас, и я поняла, что люблю. Отыскала вас, чтобы спасти и дать счастье вернуться на родину. Но выйти замуж?.. Нет, Корнев! Этого никогда не будет! Царевна русская принадлежит народу, всему народу, а не одному — как бы она одного этого ни любила.

— Радость Михайловна! — воскликнул Корнев. — Не с царевной говорю я, а с возлюбленной. Не славы и почести царского дома ищу, а зову вас разделить тихое счастье русского художника.

— Вы хотите отнять меня от народа? Жестоко, Корнев. Вы хотите жениться на мне и сказать: я не нарушил закона! Я женился не на царской дочери, она отреклась от своего положения. Что Бог определил, того человек не может разрушить. Прадед наш, великому-мудрый государь император Николай II отрекся от престола, и сам за то муки принял и бросил Россию в пучину бед. Христос не отрекся от страстей, Ему назначенных, и пошел на Голгофу. Никто не может отказаться от своего долга! Корнев! Какой пример подам я русскому народу? «Вот, — скажут, — царская дочь, Радость Михайловна, полюбила и бросила нас, полюбила и ушла от нас для своего личного счастья. Так и мы можем: не суровое исполнение долга поставить в угол сердца своего, не жизнь по Христу, но личное счастье». Так, Корнев, и до ужасов большевизма дойдем! Легко, думаете вы, было идти деду моему, Всеволоду Михайловичу, в разгромленную Россию, умирающую от голода? Не мог он разве уехать за границу и жить остатками европейской культуры? Он принял на себя бремя власти, ибо так указал ему Господь! Корнев, Корнев! Не так живи, как хочешь, а так живи, как Бог велит! В этом великая мудрость народа русского! Пусть будет утешением вам сознание, что царская дочь полюбила вас, что она вызвала вас для того, чтобы указать вам путь славы вашей и вашей родины, любите меня так, как достойно любить меня и как всякий может любить меня.

— Всякий... — проговорил с тоской Корнев.

— Да, Корнев. Жена есть собственность того, кто женился на женщине. Там, где страсть сменяет любовь, там есть и ревность. Нет дома в России великой, где не висел бы мой портрет. Сейчас восемь-

сот девиц получают из рук моих портреты и подарки. Неделями и месяцами я должна ездить и дарить улыбки, и говорить слова ласки верноподданным моего государя. Я не могу никому принадлежать, ибо я принадлежу народу. А бросить это все?.. Уйти для личного счастья?.. Нечестно это, Коренев. Ужели вы захотите, чтобы великая княжна, дочь государева, сделала нечестное дело?

— Я люблю вас, — прошептал Коренев.

— Знаю, Петр Константинович, и ценю вашу любовь. Ваша любовь большое для меня утешение.

— Без вас я умру...

— Грех говорить так, Коренев.

— Радость Михайловна! Ужели и надежды не подадите вы мне никакой?

— Я — царская дочь, — сказала Радость Михайловна. — Вы слышите, — она протянула руку по направлению к главной аллее парка, — шум девичьих голосов? Молодая Россия ждет меня. Я — воспитание многих и многих, я — пример!.. И я... — как бы тяжело это мне не было, — худого примера не подам. Довольно прошлого! Настоящее и будущее, Коренев, должно быть безоблачно, и царской семье никто больше не кинет упрека, что она жила для себя и забыла народ.

Радость Михайловна встала и быстро, не оборачиваясь, пошла к аллее фонтанов. Коренев слышал торжественные звуки музыки и голоса сотен девушек. Он пошел на голоса напрямик, по газонам. Увидел высокую, в глубину неба бьющую, струю серебряного фонтана, золотую статую Самсона, раздирающего пасть льва, а кругом все было бело от девичьих платьев, словно масса громадных живых весенних цветов колыхалась на широких лужайках и песчаных дорогах парка. Они покрыли лестницы, они колыхались розовыми головками наверху холма, где под золотой крышей стоял дворец.

— Радость Михайловна! Радость Михайловна! — несло отсюда, как музыка.

Со смущенным сердцем Коренев пошел окольными путями из парка.

XIV

Вечером того же дня Коренев звонил к Дятлову. В щелку приотворенной двери показалось бледное лицо с жидкими взлохмаченными волосами.

— А! Коренев. Очень кстати, — отворяя дверь, проговорил Дятлов. — Я только что о вас думал. Входите, входите сюда.

Он провел Коренева в дальнюю комнату и тщательно запер двери. Здесь, у большого массивного стола, был привинчен металлический перстак, валялись сверла, долота, напильники, пол усыпан был стальными опилками, пахло едким запахом серной кислоты.

— Ну что? — сказал Дятлов, глядя в лицо Коренева, искаженное мукой. — Отказала? Я так и знал. Отказала потому, что царская дочь. Прекрасно, Коренев, прекрасно... Я все думал, кому открыть свою тайну, потому что подленькое-то честолюбие осталось и захотелось в историю перейти, имя свое увековечить этим террористическим экспериментом! Думал, мисс Креггс, но с ее гуманизмом выдаст, разболтает во имя непротivления злу. А вы? Ведь я и вас спасаю... Она не идет за вас потому, что царская дочь, да?

— Да, она не может выйти замуж. Я думаю, что она права, — сказал Коренев.

— Отлично, отлично, — в каком-то нервном возбуждении говорил Дятлов. — А если завтра она не будет царской дочерью — тогда другой оборот. И этим вы будете мне обязаны. Когда-нибудь вы опишете, вы нарисуете мой подвиг в назидание другим революционерам. Пресса всего мира заговорит обо мне.

— Я вас не понимаю. Демократ Александрович, — сказал Коренев. — Как не царская дочь?

— Мерси, Коренев, что Демократом меня называли. Боялся, что по фамилии. Эти полгода я тоже кое-что сделал, кое-что обдумал, обмозговал. Не только «Обойденных жизнью» написал. Хотя и в «Обойденных» есть уже маленькое достижение революции. Демократ! Недаром меня так называли. Вся власть народу! А на пути — царь. Я тут пробовал, изучал, искал помощников. Нет, Коренев, все — лакеи, угодники, идиоты, мерзавцы. Царь — помазанник Божий, да и все тут, вера какая-то дикая. А кругом эта византийщина, блеск, красота и милость, милость!!! А тут, как назло, землей объелись, все собственники, голоду не знают — довольны. Христианская вера подсобляет. Ну, замучился. Сам, один. Думал, думал и нашел. Вся Русь на Царе и Боге... Бога-то не сковырнешь так сразу. И вот изучал я историю. Надо царя... Поняли?

— Ничего я не понимаю, — сказал Коренев и, стоя у станка, разглядывал большой, тяжелый напильник. — О чем вы говорите, чем занимались вы? Что это за инструменты, столь несвойственные вашей мирной профессии?

— Мирной, Корнев? Ошибаетесь. Перо и меч одинаково сильны. Перо подымает меч, и меч опускается перед пером. Слово и дело. Перо — это слово, меч — дело! Я пробовал слово — не слушают. Тут даже евреи, и те благонамеренны. Погромов, что ли, боятся? И я надумал. Я сам сменю перо на меч.

Дятлов был в сильном возбуждении, казался странным, почти сумасшедшим. Он подошел к шкафу и достал из него небольшой круглый предмет.

— Старая знакомая штучка, — сказал он. — Сколько раз метали мы такие в партийных противников во время свалок на демонстрациях. Но эту сам сделал. Без химика Берендеева обошелся. Тринитротолуол — это старая выдумка. Здесь всего полфунта его, но есть и новость. Когда я брошу эту штуку, кругом на сто шагов никого не останется. Ну и я погибну. Но это неважно. Я сделаю то, что нужно человечеству. Я уничтожу мещанское счастье. Я разобью эту кукольную монархию, и вам, Корнев, я дам то, о чем вы мечтаете!

— Что надумали вы, несчастный человек? — сказал Корнев и впился руками в напильник. Лицо его стало смертельно бледно.

— Подвиг разрушения.

— Подвига разрушения нет! Лишь в созидании, лишь в победе подвиг.

— Ерунда... Слушайте, Корнев, слушайте и чувствуйте, что, идя на это дело, я о вас все-таки подумал. Не следовало бы, но по старой дружбе я подумал. Тут, в ящике стола, мое воззвание, вы обнародуете его потом.

— Дятлов! Вы сошли с ума. Я не понимаю, что хотите вы сделать.

— Тише. Тише вы. Здесь могут стены слышать. Смотрите, как светло, и ночи нет.

Дятлов помолчал немного, потом заговорил тихо, с не свойственной ему мечтательностью.

— Белые ночи. Может быть, уже скоро и утро. Как хорошо называли наши предки-большевики улицы города. «Проспект кровавых зорь», — так называли они Камен-ноостровский проспект, идущий мимо крепости. Там зародился настоящий, крепкий анархизм русский. И я хочу, чтобы «Набережной кровавого воскресенья» назвали тот угол Английской набережной, что ведет к новому Адмиралтейству.

— Но, Дятлов. Если воскресенье, то не кровавое. В крови только смерть показывает свое бледное лицо. Только зелень труп гармонизирует с кровью.

— Ерунда! Корнев... Слушайте! В крови погиб русский народ, в крови и воскреснет, и сбросит цепи рабства, сбросит иго царизма.

— Молчите, Дятлов. Вы не сознаете того, что говорите.

— Нет, Корнев. Лукавыми ухмылочками, кивками сладострастными, поганенькими вздохами манит меня смерть на подвиг великий. Завтра... Завтра, ровно в одиннадцать... Я и о вас подумал, Корнев, потому что только завтра так все удобно сложилось. И не сегодня, не послезавтра... Завтра, ровно в одиннадцать — так сказала мне сердце старого революционера... Стукнуло больно. О! Все продумал и все пережил!

Дятлов был чрезмерно бледен. Но бледен был и Корнев, и тяжело дышал. Стали мокрыми пальцы, впившиеся в сталь напильника. Невольно подумал: и это орудие труда может быть орудием смерти.

Дятлов улыбался.

— Неужели не догадались? Завтра спуск фрегата «Радость», в честь Радости Михайловны наименованного. Я все узнал от Демидова. Когда выбьют подпорки, корабль останется держаться лишь силой трения и тонкой голубой лентой, что протянута на корме. Государь, императрица и наследник будут сидеть в большой ложе против места, где перед этим будет отслужен молебен. О, я все предвидел. Радость Михайловна пройдет с атаманом корабля на корму. Ей поднесут золотые ножницы. Она перережет ленту, и корабль по просаленному дну дока покатится вместе с ней в Неву. И вот в эту-то минуту я подойду и брошу бомбу. Чувствуете? И вся ваша монархия к чертям полетит!

— Дятлов, вы этого никогда не сделаете!

— Что? Какой тон!

— Тон приказания. Давайте вашу бомбу.

— Нет, Корнев, вы сошли с ума!

— Давайте сейчас! Или!..

— Что — или? Вы грозите мне? Нет. В самом деле? Вы очумели, товарищ.

— Давайте! Говорю вам.

— Идите вон, Корнев. Надеюсь — не донесете.

— Давайте, Дятлов.

— Корнев, мне это надоело! Я жалею, что сказал вам так много.

Дятлов положил бомбу в шкаф, запер шкаф на ключ, а ключ положил в карман. Он все еще улыбался. Но уже тревога показалась в его глазах.

— Ну, будет, Корнев, пошутили и довольно.

— Давайте бомбу!

Корнев поднял напильник над головой.

— Что вы! — успел только воскликнуть Дятлов и схватился руками за голову.

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Коренев стремительно опустил тяжелый напильник на череп Дятлова.

Дятлов охнул и навзничь упал на пол, обливаясь кровью.

В то же время раздался несмелый звонок.

Коренев посмотрел на Дятлова. Демократ Александрович не шевелился. Из проломанного виска тихо шла кровь, и уже небольшая лужица подтекала под стул. Бледная ночь глядела в окно. Страшно было молчание только что убитого человека. Снова тихо звякнул звонок. Было ужасно присутствие кого-то живого за дверью. Коренев провел рукой по волосам, точно хотел прогнать страшный кошмар. Складки морщин легли вдоль щек. Он очнулся. Положил на стол напильник, невольно заметил, что несколько волос Дятлова прилипли к нему, и подумал: «Улика», но сейчас же лицо его приняло холодное выражение. Даже какой-то оттенок спокойной гордости был на нем. «Не об уликах думать теперь», — он твердыми шагами прошел через маленькую столовую и в передней с пустой вешалкой и двумя простыми деревянными желтыми ясеневыми стульями отомкнул железный крюк, снял цепочку, повернул ключ и открыл дверь на лестницу.

В дверях стояла Эльза.

XV

— Вы что, фрейлейн Эльза? — прерывающимся голосом спросил Коренев.

Он мало что соображал. Он не понимал, что на дворе хотя и светлая, но глухая ночь. Он не думал, почему в этот поздний час Эльза могла звонить к Дятлову. Он трясся мелкой, лихорадочной дрожью, и в ушах его звенело.

— Меня... Радость Михайловна послала остановить вас... Что-то ужасное... Она сама не знала.

Коренев заметил, что Эльза была взволнована не меньше его. Лицо было бледно, глаза блуждали, волосы растрепались.

— Поздно, Эльза... То, что должно было совершиться, то совершилось. Одним сумасшедшим стало меньше.

— Господин Дятлов?

— Его нет.

Со странным спокойствием Коренев взял за руку Эльзу и провел ее в рабочий кабинет Дятлова. Там все так же неподвижно лежал

Дятлов, и было страшно, что он не переменял своей неудобной позы. Кровь перестала течь и темной лужей застыла на полу, впиваясь в доски. И опять Коренев подумал об уликах.

— Что вы наделали?

Коренев не удивился тому, что Эльза не сомневалась, что это сделал он.

— Зачем вы это сделали?

Коренев стоял у притолоки и смотрел на Эльзу. Она нагнулась к Дятлову и дотронулась до его лба.

— Он мертв, — сказала она.

— Вероятно, — глухо сказал Коренев. — Я не этого хотел. Я сделал это невольно. А что Радость Михайловна?

— Она явилась ко мне призраком. Она продиктовала мне адрес господина Дятлова и сказала, чтобы я сейчас же пошла к нему и остановила вас от безумного поступка.

— Как же явилась она? Где?

— Я была на Островах.

— Вы уверены, что призрак?

— Я не видала, как она явилась, она исчезла на моих глазах. Куда, не знаю. Растаяла в белой ночи. Ах, Петер!.. Нам надо сейчас же бежать из этой ужасной страны. Здесь вы не можете оправдаться тем, что убили политического противника, и вас казнят мучительной казнью. Петер! Это ужасно. Сегодня же со скорым поездом в Котлы, там соберемся, и по старой нашей просеке, пока она не заросла, в Латвию и дальше домой.

— А визы? — сказал Коренев. — У нас трехмесячный срок, и нас не пропустят со старыми паспортами.

— Мы скажем, что мы бежим от гнета царизма.

— Нет, Эльза, это не годится. Я не уйду отсюда.

— Но что вы думаете делать? Здесь, как я слыхала, нет даже суда присяжных, никакой надежды на помилование нет.

— Ну что же, смерть так смерть. Пусть будет так. Яркие лучи солнца показались на мокрых от росы железных крышах. Новый день сменял короткую северную ночь.

— Пусть сегодня, — сказал Коренев, — еще будет мой день. Молчите, Эльза. Идите к себе. Успокойтесь. А завтра я знаю, что надо делать.

— Молить великую княжну о заступничестве...

— Никогда, — сказал Коренев. — Верьте, Эльза, что я не хотел делать этого, но я должен был это сделать. Коренев перекрестился и стал на колени.

— Прости меня, Демократ Александрович, — сказал он, заглядывая в холодное, строгое, окаменелое лицо Дятлова. — Прости меня! Видно, так судьба решила! Ты... сам виноват. Со своим уставом в чужой монастырь кинулся. Свои эмигрантские навыки, свои теории, выношенные на немецких хлебах, стал прикладывать... Ну и сорвался.

Прости! Не я, так другие сделали бы то же. Но я освободил тебя от великого греха... Корнев поднялся с колен.

— Русь понимать надо, — сказал он. — Ах, Эльза, многогранная она, многоликая, и нельзя для нее законы написать. Вот так-то, — убийца я, преступник я, ах, Эльза, как посмотреть-то? Может быть, еще я и святой человек, герой? Жизнь в партиях своих стала шиворот-навыворот. Что, по понятиям левых партий, убийство губернатора или чина полиции почиталось ли за убийство? Нет, Эльза, это политическое убийство. Убивая Дятлова, я спасал, спасал Россию... Но довольно... Будет...

— Но, Петер, здесь суд особенный, здесь смотрят просто. Убил, и кончено... Надо уйти так, чтобы никто не увидел. Я возьму все на себя.

— Пустое, Эльза... Постой.

Корнев провел рукой по бледному лбу.

— Постой... Только утро мне дай, только сегодня до обеда... А там... Я уже знаю... Решил... Чиста моя совесть, хотя и руки в крови...

Он заговаривался, путался, был страшно бледен и видимо ослабел. Эльза обняла его. Так и вышли они. Корнев вынул ключ и запер дверь. И опять ему было странно думать, что он запер там, на пустой квартире, человека, того, что был человеком, запер Дятлова.

На утреннем свежем воздухе ему стало легче, он смотрел на синее небо без облака, вдыхал запах влажных камней и шел неуверенными ногами по мокрым от росы тротуарам к себе, в Школу живописи. Эльза поддерживала его под руку.

XVI

День был радостный. Солнце светило по-праздничному, и по-праздничному ярко и солнечно гудели колокола и, казалось, колебали синие просторы бледного северного неба. От Невы пахло водой, смолой и каменноугольным дымом. Слепили воды ее золотыми отражениями солнца, и вся она, желтая, глубокая, синеющая вдали, казалась живой, могучей, властной северной красавицей.

Толпы пестро одетого народа окружали гранит ее набережных. На судах, лодках, яхтах и рыбацких лайбах пестрыми лентами играли флаги и трепетали, ликуя перед ярким солнцем радостного дня. Полки проходили с музыкой туда, где громадными коробками спускались к реке доки нового Адмиралтейства. Там, на Неве, уже стояло шесть больших белых кораблей, и сверху донизу по вантам, по мачтам и по реям они были увешаны флажками и флагами, и теплый западный ветер трепал ими и, набегая на воду, покрывал ее мелкой рябью.

У пестрых рогаток стояли чины городской стражи и пропускали лиц, называвших свои имена. На самый эллинг допускали по особому приглашению, и Корнев имел это приглашение. Вчера он мечтал об этом празднике, мечтал о счастье увидеть Радость Михайловну во всем блеске ее царского величия и знать, что она все это отдаст ему. Сегодня он знал, что этого не будет, что она никогда не изменит долгу, сегодня он шел как преступник и убийца. Места на эллинге уже были полны. Духовенство расставило золотые аналои, сосуды со святой водой, хоругви и иконы, и молодые белые березки стояли кругом и клейкими, круглыми листочками плели зеленое кружево сзади икон. Сквозь него виднелся громадный белый киль и острый обвод корабля с позолоченным краем ватерлинии. Гордо возвышался бронзовый двуглавый орел над самым бушпритом, еще не оснащенным, тупо торчащим тяжелым бревном. По краям большие славянская буквы, почти в рост человека, обозначали название корабля. На корабле стоял в полном порядке, весь в белом, с голубыми отворотами, экипаж корабля, и атаман его похаживал взад и вперед, сверкая на солнце золотом эполет.

Спуск этого корабля знаменовал и начало заграничного плавания. Шесть кораблей были нагружены образцами российских товаров и должны были после спуска своего нового члена поднять якоря и начать плавание. Широкие трубы их чуть дымили. Пестрые ялики окружали высокие борта. Родные и знакомые чинов экипажа собрались проводить уходящих.

Корнев знал, что стоило ему попросить Самобора, и ему устроили бы тут же поездку в Германию с этими кораблями. И прежде, чем трупный запах сказал бы людям о совершенном преступлении, Корнев уже был бы на свободе. Но он не думал об этом.

Внимательными глазами следил он за всей красотой встречи императора и царской семьи и торжественного молебна подле готового корабля. Звуки труб и сигнальных рожков, треск барабанов смешался со стройным пением певчих, потом все смолкло и раздавался только

могучий бас протодиакона. Точно заклинал он страшными клятвами великое божество, потрясал орарем, поднимались широкие плечи, и грива каштановых волос колыбалась за спиной. И снова гремели голоса хора, им вторила музыка, гулко бухали по Неве пушки, и белый дым розовыми от солнечного света клубами катился по реке.

Кругом толпами стоял народ. Жил он этой сказкой, пропитывался красотой и блеском и проникался величием великодержавности России.

Внизу стучали топоры рабочих. В белых рубахах и синих штанах, в высоких сапогах они не походили на рабочих. Рубили подпорки, державшие корабль на стапеле. Наступал торжественный момент. Создание человеческих рук получало жизнь.

Духовенство обошло корабль и окропило его святой водой. Музыка, певчие и барабаны стихли. Войска взяли к ноге.

Народ на эллинге и на набережной колыхнулся и затих.

По трапу, увешанному гирляндами из роз, в полном уборе русской царевны, сверкая самоцветными камнями кокошника и сарафана, на корабль прошла Радость Михайловна. Тысячи глаз сосредоточились на ней. Замер при ее приближении караул матросов, насторожились музыканты. Она шла по гладкому белому полу на корму, где возле больших вентиляторов была протянута широкая шелковая голубая лента с золотыми буквами названия корабля и датами дня спуска. Атаман корабля, чернобородый полковник в белом холщовом кафтане, украшенном золотом, на голубой подушке подал царевне золотые ножницы. Она взяла их и подошла к ленте... Только лента держала корабль на месте.

Царевна перекрестилась и стала резать ленту.

Корабль чуть дрогнул. Раздались команды. Войска взяли на караул, загремели музыканты, играя русский гимн, грохнули пушки на крепости и на всех судах и окутались дымом. Корабль, ускоряя свой ход, катился в воды Невы. Зорко следил за его бегом атаман, стоя у рулевого колеса. Вспенились воды Невы, окутали сине-желтыми волнами борта белого корабля, он покачнулся и плавно поплыл по Неве между своих товарищей. Звякнули цепи якорей, красивую дугу описал корабль и остановился на месте. И в то же мгновение все шесть кораблей эскадры тронулись и пошли один за другим в кильватерной колонне вниз по Неве. Их экипажи стояли на палубах и были пущены по вантам, ревело громовое «ура», махали шапками, и всюду оркестры гремели великий русский гимн.

Краса и гордость России, ее матросы, набранные из лучших людей всего государства, самые честные, самые надежные люди, потрясали

воздух могучими криками восторга, как всегда кричали их предки при виде своих императоров.

Еще гремели пушечные выстрелы и народ, не умолкая, кричал «ура», а музыка продолжала играть гимн, и только что уехал государь император с царской семьей, когда Коренев, покинув Эльзу, подошел к полковнику стражи и, сняв шапку, сказал: «Я имею сделать важное заявление. Сегодня ночью я убил человека».

XVII

Полковник вызвал хожалого и приказал доставить заящика в ближайший участок.

Коренева провели через приемную, где не было никого, и попросили обождать в маленькой комнате с письменным столом, служившей кабинетом приставу.

Пристав сейчас же вышел. Это был человек лет сорока, с умным, тонким, пронизательным лицом. Не подавая руки Кореневу и не прося его садиться, он сейчас же приступил к допросу, делая краткие заметки на листе бумаги.

Когда Коренев сказал, что он убил господина Дятлова в Демидовом переулке на его квартире, пристав подошел к дальнотелу, переговорил с другим участком и, дожидаясь ответа, попросил Коренева сесть и ни слова не сказал с ним. Пристав занимался своими бумагами и писал что-то крупным быстрым почерком протоколиста. Дальнотел загудел, и пристав подошел к нему. Коренев слышал ряд вопросов и понял, что кто-то по поручению пристава уже проник на квартиру Дятлова и сделал осмотр трупа.

— На напильнике волосы? — говорил пристав. — Отпечаток большого пальца... Отлично... Снимите оттиск... Сомнения, по-видимому, нет... Сам все показал...

Отлично... После осмотра к погребению... Да... Мне Коренев говорил, что атеист... Мм... Не знаю... не было примера... Да... Переговорите со священником... Я думаю, нельзя отказать в отпевании... Там разберут... Ага... Вы говорите, бомба... Тринитротолуол... Мм... Хорошо... Что знали вы, Коренев, о существовании у Дятлова ручной гранаты, снаряженной тринитротолуолом?

— Позвольте мне этого вам не говорить, я скажу это суду.

— Как вам угодно... Как угодно... Но тогда до суда мне придется поддержать вас взаперти. Скучновато будет.

— А когда будет суд?

— Как только кончится следствие. Свидетелей не было... Завтра, может быть... послезавтра. Ваше дело, ввиду вашего сознания, не требует длительного расследования. У нас не принято морить преступника зря.

— Что мне грозит? Смертная казнь? Пристав засмеялся.

— У нас, — сказал он, — смертной казни нет. Обыкновенно убийца присуждается работать на семью убитого, на тех, кого убитый содержал. Этим уничтожается самый смысл убийства. Убийца должен до самой смерти своей посылать наследникам убитого определенную, все повышающуюся сумму. Размер ее в зависимости от обстоятельств убийства определяется судом. Смотря по причинам убийства и степени его жестокости, работа, которую заставляют делать убийцу, может быть более или менее тяжела. Но у вас обстоятельства особые. Вы сказали, а пристав Казанской части подтвердил, что у господина Дятлова никого не было, что он всего полгода тому назад пришел из Германии в Россию. Все это изменяет дело. Я думаю, судьям придется вычислить, сколько прибыли и выгоды было бы для государства, если б господин Дятлов продолжал жить, и столько вам придется за него отработать.

Коренев криво усмехнулся и промолчал.

— А впрочем, — сказал пристав, — это все мои предположения. Все решат судьи. Пожалуйте за мной.

Он провел Коренева по коридору и ввел его в небольшую комнату, где были деревянные нары без матраца и подушки, стол и табурет. На столе лежали потрепанное Евангелие и молитвослов. Окно было наверху, за решеткой.

Прошло не более получаса, как дверь камеры отворилась и в комнату вошел священник.

XVIII

Священник очень долго беседовал с Кореневым. Это не была исповедь. Он ни разу не спросил о преступлении. Они говорили о жизни за границей, о днях детства Коренева, о его воспитании, о взглядах на религию у немцев, о том, какое впечатление произвела на Коренева Россия, он говорил о милосердии Божиим.

— Молись, мой сын, — сказал, прощаясь, священник, — великое несчастье постигло тебя. Тебя избрал Господь орудием Промысла Своего, и суд людской поймет сие важное обстоятельство.

Следующий день Коренев провел в полном одиночестве. Даже пищу через особое отверстие подала ему невидимая рука. Пища была простая и грубая, но достаточная. На третий день к нему зашел хожалый и сказал, что отведет его в суд. Его посадили на извозчика, хожалый сел рядом, и его отвезли на Фонтанку, где недалеко от Летнего сада было небольшое здание с вывеской, гласившей, что здесь помещается «Уголовный суд Санкт-Петербургского воеводства». При проходе через одну из комнат он увидел Стольниковых, Бакланова с Грунюшкой, Эльзу, Курцова, мисс Креггс, Демидова, Самобора и несколько художников, с которыми он дружил. Это его удивило. Никто не спрашивал его о них, а они сами для чего-то явились. Из этой комнаты его провели в маленькую каморку и просили обождать. В каморке было полутемно, стояли простой стул со спинкой и стол с графином и стаканом воды.

— Когда услышите стук, — сказал ему хожалый, — откройте эту дверь и идите. Не споткнитесь — здесь три ступеньки, и довольно высокие.

Сильно билось сердце у Коренева. Все было странным, непонятным и грозило нехорошим. Не было защитника, не было следователя, кроме пристава, никто его не допрашивал. Зачем были вызваны все те, кто его здесь знал? Для свидетельских показаний или для того, чтобы присутствовать при его казни и сказать ему последнее «прости»? Они все говорят, что в России смертной казни нет, но сзади царя на Георгиевском празднике шли рынды с топорами, и сказали, что когда бывает казнь, топор окрашивается красной краской. Может быть, казни не было, но она будет.

Вдумываясь во все, что было, и не видел вины. Но говорить не хотел. Стал думать о преступлении. Почувствовал, как сверху какой-то железный колпак, обшитый кожей, навалился ему на голову и охватил весь череп. Похолодел весь, сжался. Пришла в голову мысль, что это и есть казнь, что его сейчас убьет каким-нибудь неведомым током или задушит особым газом. Но ничего не было. Только как-то сразу мысли повернулись назад, и стал он снова переживать то, что было. Беседа со священником. .. Крепче нажал колпак на виски, и в мысли скользнуло: «Не то, нет, не то хочу я, не об этом думать». Вчерашнее утро, блеск весеннего дня, ширь Невы, огневые переплески солнечного света на волнах, корабли, усеянные людьми и расцвеченные флагами... Ах, нет, не то... Сильнее давил винт на голову, и уже не смел шевельнуться Коренев. Поплыли картины страшной ночи убийства, появилось бледное лицо Дятлова, слышались жестокие слова жажды разрушения. Подробно, обсто-

ятельно передумал Коренев все события в Демидовом переулке, и железный колпак на голове точно дышал, то нажимая, то ослабляя давление и, как губка, впитывал в себя его мысли. Холодный пот проступил на лбу Коренева, он был близок к обмороку. Колпак мягко отделился от его головы и, чуть шурша на невидимом в темной комнате блоке, исчез. «Все, — подумал Коренев. — Что же? Это смерть?» Потянулся всеми членами — смерти не было. Была усталость, клонило ко сну, мысли отсутствовали, но тело было живо и тянулось к жизни всеми клочками нервов. Встал со стула. Стоял крепко, слабости не было. В темноте видел белую дверь и номер на ней. Какая же это смерть? Нет, он жив... Но голова была пуста. Ни о чем не думал. Так, какие-то пустяки сидели в голове, и ерунда вспомнилась. Звенел в ушах мотив барабанной флейточки, на которой играли гвардейцы, шедшие на смену караула, и глупые слова вспомнились: «Сашенька гуля-ла-а у себя в са-ду-ду-ду-ду!»

«Сейчас суд, — мелькнуло у него в голове. — Суд, приговор, казнь». Но не было страшно. Трещали в памяти барабаны, свистала флейта, и мерно шли, отбивая тяжелый шаг, солдаты в рубашках, со скатанными по-русски шинелями, а в ушах все стучали глупые слова: «Сашенька гуля-ла-а у себя в саду-ду-ду-ду-ду!»

Вдруг четко чем-то тяжелым ударило в дверь, и дверь сама растворилась. Показалась лестница и мутное пятно света. Коренев встал и пошел по лестнице. Три ступеньки вверх. Зал. Полутемный, длинный, узкий, как лютеранская кирха. Прямо против двери во всю стену распятие, написанное на холсте... Нарисована ночь, три креста, один как бы светится внутренним светом, мрак. Под распятием — длинный стол, старинное золотое трехгранное зеркало с золотым орлом и указами в рамках. За столом — пять человек в черных монашеских одеждах. Седые и серые бороды, иссохшие лица и быстрые глаза. И так живы глаза, что бороды и морщины кажутся гримом. В противоположном углу — два рынды в белых кафтанах с золотыми орлами на груди, с топорами в руках.

Против стола, на стене, какой-то особого устройства щит молочного цвета и перед ним, отверстием на него, тот самый колпак, что охватывал несколько минут тому назад череп Коренева. Он установлен на темном столе, и под ним глухо стучит мотор. Вправо от стола стол с вещественными доказательствами. Тяжелый напильник, ручная граната, разряженная и распиленная пополам, и фотография отпечатка большого пальца на пыли напильника, увеличенная в двадцать раз.

— Повернитесь кругом, — тихо, но настойчиво сказал судья, сидевший левее всех, — смотрите на «претворитель мыслей»...

В зале стало темно. На щите появились мутные расплывчатые пятна. Силуэт человека, обрывки обстановки... Но Коренев узнал их. Священник и камера в участке. Быстро, на секунду, ярко, в красках встали Нева, всплески волн, суда в праздничном наряде флагов и людей, и вдруг показалась страшная комната, и Коренев увидел Дятлова. Демократ Александрович, живой и гневный, говорил что-то, держа в руках бомбу, он саркастически улыбался. И вдруг он побледнел. На череп его обрушился напильник, он схватился руками за голову и упал на пол. Бледный свет весенней ночи был в окне, и фигура Дятлова чуть обозначалась на полу.

Коренев почувствовал, что почва уходит у него под ногами, в глазах потемнело, он ухватился обеими руками за стол вещественных доказательств. На щите было улыбающееся лицо флейтиста, солдатская шапка нажимала на правую бровь, левая была поднята, и губы были прижаты к отверстию маленькой белой флейты. Все исчезло, щит просветлел, невидимые руки отвернули черные занавеси, и вся комната наполнилась спокойным молочным светом, лившимся сквозь матовые стекла. Полная тишина царила в ней, и рынды у двери, и судьи за столом сидели неподвижно и казались восковыми фигурами.

— Господин Коренев, вы видите, что вся обстановка преступления нам известна до мельчайших подробностей. То, что видели ваши глаза тогда и что запечатали в вашем мозгу, осталось в нем, как остается негатив у фотографа. Усилием воли вы повернули негатив обратно и пережили час тому назад событие третьеводнишней ночи. Наш снаряд уловил мысли ваши, снял на пленку через глаза ваши то, что было в вашем мозгу, и показал нам, как представлялось вам убийство.

— Я его не отрицаю, — сказал Коренев. — Я принужден был убить господина Дятлова.

— В этом деле нам все ясно, кроме одного обстоятельства. Это бомба. Убийство произошло из-за нее — это несомненно. Она найдена нами. Она не представляет ничего нового. Такие ручные гранаты, по показанию начальника пушкарского разряда, изготовлялись еще в тридцатых годах нынешнего столетия. Разрушительная сила их огромна. Несомненно, спор между вами и господином Дятловым произошел из-за бомбы. Вы требовали ее, он ее вам не отдавал, он запер ее в шкаф и положил ключ в карман. После этого вы его убили. Так?

— Совершенно верно, — отвечал Коренев. Он почувствовал, что сидевший правее председателя человек в очках, с черной бородой, подернутой сединой, устремил на него глаза и не спускал ни на

секунду своего блестящего взора. Мелькнула мысль, воспоминание о рассказе старого Стольникова о том, что люди, пришедшие с покойным государем, не только умели читать мысли, но и могли передавать свою волю на расстоянии. Он понял, что судьи в России — люди особые, снабженные знанием заглядывать в душу преступника и читать его мысли, и понял, что лгать бесполезно.

— Нам интересно услышать от вас, что побудило вас убить Дятлова. Был он вашим соперником?

— Нет, — глухим голосом сказал Коренев.

— Похитил он ваше изобретение и хотел выдать за свое?

— Нет, — сказал Коренев.

Наступило молчание. Сидевший самым левым судьей вдруг встал и, обращаясь к Кореневу, сказал:

— Для кого предназначалась эта бомба?

— Я не могу сказать... Мне страшно... — прошептал Коренев.

— Говорите. Тайна суда никогда не будет никому известна. У нас нет явного суда, и газеты молчат о преступлениях и приговорах. Говорите смело.

— Для священной особы государя императора и его семьи.

— Какая цель?

— Господин Дятлов хотел ниспровергнуть существующий порядок, передать власть пролетариату и установить демократическое правление.

— Были у него сообщники?

— Никого.

— Почему вы избрали такой способ помешать Дятлову?

— Потому что я люблю Россию.

— Почему не сказали в земскую стражу? Вы избежали бы крови.

— Было поздно. Я узнал об этом ночью, а преступление должно было совершиться утром, во время спуска крейсера «Радость».

— Успеть было бы можно, — сказал сидевший правее председателя.

— Тут есть еще одно место, — проговорил тот, кто смотрел прямо в глаза Кореневу и читал его мысли, — место, нам не ясное. У вас на сердце любовь. Любовь сильная, страстная и непозволительная. Любовь к царской дочери. Скажите, она не ускорила вашего решения самому покончить с Дятловым?

Коренев молчал.

— Дятлов знал, что вы любите Радость Михайловну и мечтаете жениться на ней?

Коренев утвердительно кивнул головой.

— Вы боялись, что это станет известно, если его возьмут под стражу?

— Да. Я боялся, что господин Дятлов станет нехорошо говорить об этом.

— Все ясно, — сказал председатель. — Приступим к прениям.

Сидевший по левую руку председателя встал и оперся на толстую книгу. Сидевший самым правым совсем седой старик, прекрасный лицом, тоже поднялся, снял с себя черную одежду и остался в длинном белом кафтане,

— Судьи праведные, — сказал первый, одетый в черное. — Перед нами — убийца. В запальчивости и раздражении он забыл, что никто, кроме государя и лиц, им поставленных, не имеет права отнимать жизнь у другого, и ударом вот этого напильника убил человека, доверившего ему тайну. Я требую исполнения правосудия и осуждения Коренева Петра как убийцы на каторжные работы в Ленских приисках на двадцать лет.

Тогда заговорил тот, кто снял с себя черные одежды и был в белом.

— Брат, — обратился он к первому, — это верно, что он убил, но во имя чего он убил? Во имя спасения государя императора, во имя России. Он убил — убийцу.

— Это все равно, — сказал черный. — Никто не имеет права убивать людей в России. Дятлов замыслил страшное преступление, но у государства Российского были все средства, чтобы остановить его кровавый замысел.

Так некоторое, и весьма недолгое время препирались они друг с другом — белый, оправдывая Коренева, черный — осуждая его и требуя самого жестокого наказания, чтобы никому не повадно было убивать себе подобных в стране, где смерть может приходить только естественным путем. Не было длинных речей с цветами красноречия, красивых жестов прокурора и адвоката, просто один отстаивал Коренева, как отстаивал бы его отец или близкий человек, другой старался отстоять закон.

— Наконец, — сказал одетый в белое, — мы не можем и не должны забывать того обстоятельства, что Петр Коренев получил воспитание за границей, а там на убийство не из корысти или ревности смотрят иначе. Вспомните дело колонистов Смитов, прибывших двадцать лет тому назад из Англии в Новороссийск и оставшихся у нас. Англичане образовали поселок с разрешения государя императора, и когда там братья Коллинзы стали возбуждать остальных колонистов возмутиться против законов страны, Смиты убили их, не считая этого

преступлением, так как в Западной Европе принято убивать тех, кто не одного с вами мнения. Они даже не понимали, за что их судят, и удивлялись нашему варварству.

— Но, — сказал черный, — Новороссийский императорский суд приговорил их на пять лет каторжных работ.

— Но не на двадцать! Он оказал им снисхождение. Здесь, где действительно все поведение Дятлова было возмутительно и он от слов хотел перейти к делу, я прошу судей смотреть на этот поступок не как на самоуправство.

— Дело ясно, — сказал сидевший посередине, — братие, мы можем удалиться для общего совещания.

Все встали, поклонились Кореневу, друг другу и удалились. Едва они ушли, невидимые руки отодвинули занавесы окон, яркий свет ворвался в комнату, открылись двери, и в зал вошли все те, кого видел Коренев, когда шел в зал из темной каморки. Стольниковы, Эльза, Баклановы, Шагины, Курцов, Демидов — все стали занимать места за решеткой, отделенные от стоявшего в недоумении Коренева. Они тихо переговаривались между собой. Эльза плакала. Бакланов, Грунюшка и Стольников ее утешали, но их лица были печальны, и Коренев понял, что, вероятно, ему не избежать каторжных работ, вопрос только в сроке. Болью сжималось его сердце. Думал о картинах, выставках, шумном успехе своего таланта, думал о Радости Михайловне, о счастье жить в сознании, что свет царской семьи льется на весь русский народ. Теперь он понимал, что права Радость Михайловна, что ему надо искать счастья более мелкого, тихого, на которое он имеет право. Дятлова не жалел. Не тревожил его труп, лежавший в комнате, не вспоминал неприятного ощущения в руке, когда напильник ударился о теменную кость. Думал и о каторге. И на каторге люди живут. Взглянул на Эльзу и понял, что она пойдет с ним и на каторгу. Понял, что в Эльзе он найдет преданную, верную жену, хранительницу домашнего очага, которая везде создаст ему уют... И на каторге тоже. И понял, что Радость Михайловна настолько выше этого, что безумием были его помыслы о том, чтобы с ней создавать свой уют. Грустно было на сердце, грустно и тепло, как грустен и тепел бывает осенний день над озером.

Рынды с топорами на плечах подошли к нему и стали по бокам его. У дверей появился стражник при револьвере и аксельбантах. Священник раскладывал на аналое Евангелие и крест и тяжело вздыхал, глядя на Коренева. Эльза плакала навзрыд, ей вторила, причитая, Грунюшка, и старый Стольников бубнил над ними басом, говоря слова утешения.

Обе половинки широкой двери, ведущей в судебскую комнату, распахнулись. Золотые лучи солнца клубились в ней, и оттуда вышли все пятеро в белых одеждах с цепями на шее. Радостно ахнула Грунюшка и засмеялась легким смешком. «Оправдан, оправдан! Я знала... говорила», — донесся до Коренева ее шепот. Эльза лежала у нее на плече и с обожанием глядела на Коренева.

— По указу Его Императорского Величества, — читал тот, кто заступался за Коренева, — императорский уголовный суд Санкт-Петербургского воеводства слушал дело об убийстве не принявшего Российского подданства выходца из Германии, именующего себя Демократом Дятловым, вольным художником Императорской школы живописи и ваяния, Петром Константиновичем Кореневым, 22 лет, вероисповедания православного...

Мерно и отчетливо звучали слова. Коротко описывались мотивы преступления, и был только намек на замыслы Дятлова, ярко и точно объяснялся поступок Коренева.

— А потому и на основании статей Уложения царя Алексея Михайловича, устава о наказаниях уголовных и исправительных издания 1869 года, устава о судах издания 19.. года постановили...

Он замолк, и бывший в середине старый судья торжественным голосом проговорил, веско бросая слова:

— Подсудимого Петра Константиновича Коренева оправдать, от суда избавить, денежной пене не подвергать, но как пролившего кровь человеческую предать годичному покаянию с заключением на год в Сергиевой пустыни.

Рынды повернулись вправо и влево и, опустив топоры, разошлись в обе стороны, оставив Коренева свободным, судьи медленно удалились, толпа знакомых окружила Коренева, и чувствовал Коренев, что это уже не знакомые, а родные, горячо его любящие люди.

Эльза рыдала, охватив его шею горячими мягкими руками...

XIX

Прошло два года. В русском пограничном городе Калише готовились к открытию выставки русских, немецких и польских художников. Три течения в искусстве должны были столкнуться в огромных залах городской ратуши. Ожидался приезд императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского Михаила Всеволодовича. Год тому назад польские крестьяне свергли разорявшее их социалистическое правительство и просили государя русского принять их

под свою высокую руку. Польская армия, давно усвоившая дух русской императорской армии, прогнала французских инструкторов и комиссаров и восторженно приветствовала русские полки, входившие в Польшу для занятия гарнизонов. Для облегчения военной тягости часть польской армии была распущена, другая, в виде отдельного польского корпуса, вошла в число частей, занявших царство Польское. Сейм был распущен, и польские старосты из лучших и благороднейших поляков стали для управления всеми «старо-ствами» бывшей Польской республики.

Как спелый плод, упала Польша в объятия России. Спустя два месяца после этого события финляндский ригсдаг в торжественном заседании постановил о присоединении к России на старых основаниях. Россия восстановилась в границах 1914 года, расширенных важными приобретениями в Центральной Азии.

Весь Калиш был убран русскими, польскими и немецкими имперскими флагами. На улицах население украшало цветами и коврами дома, ожидая проезда того, кто, наконец, дал покой измученному кровавыми раздорами политических безумцев краю.

Каждое утро с трубными звуками по улицам проходили александрийские черные гусары в барашковых шапках с серебряными черепами. «Бессмертные» гусары готовились к смотру своего шефа — государыни императрицы.

Вместе с немецкими художниками в Калиш прибыл и Карл Клейст. На этот раз он приехал в спокойном экспрессе, в вагоне с белой железной доской с надписью: «Берлин — Варшава — Санкт-Петербург — прямое сообщение через Калиш».

В зале только что закончили развешивание картин. Художники и их знакомые группами переходили от картины к картине. Перед громадным холстом «Иван царевич и Змей Горыныч» стояли Корнев, жена его Эльза, опиравшаяся на коляску, где крепко спал ее годовалый сын Михаил, профессор Клейст и с ними молодой немецкий художник Виртгейм. Разговор шел по-немецки.

— Что дало Германии открытие русской границы? — спросила Эльза.

— Оздоровление во всем, — отвечал Клейст. — Вы не узнаете теперь Германии. Она вся в кипении. Еще держится социалистическое правительство, но оно уже при последнем издыхании. Оно продолжает лишь бороться с церковью и насиловать школу и искусство. Коммунисты объявлены вне закона. Общество Штальгельм ширится и растет. Несмотря на школу, скажу больше, — вопреки школе, — в семье вырастает старый, благородный немец, верующий в Бога и любящий родину.

Клейст бросил ласковый взгляд на Эльзу и продолжал:

— Как многим мы обязаны немецкой женщине! В критическую минуту жизни государства она отстригла остриженные волосы, надела скромный национальный костюм, бросила нахт-локалы, дансинги и кинематографы и, требуя законного брака, стала строить семью. Все наши кинематографические общества прогорели.

— Что теперь танцуют в Берлине? — спросила Эльза.

— Вальс, Анна Федоровна, старый, меланхоличный вальс!.. Вы знаете — Бенц прогорел!

— Да ну! — воскликнул Корнев.

— Теперь немка не говорит мужу, как раньше: «Купи мне ауто», а говорит: «Купи колясочку для моего сына, и будем ходить пешком, наслаждаясь природой...» И наша мечта сойтись опять с Россией.

— Трудно это сделать, — сказал Корнев.

— Мы надеемся на то, что у нас опять будет император и король, Kaiserliche mid Konigliche, — вот в чем видит нынешний немец спасение.

— В Баварии уже королевство, — сказал Виртгейм. — И как там сразу хорошо стало. Так как содержать одного короля много дешевле, чем полтысячи депутатов, там налоги снижены больше, чем в два раза.

— И все-таки я не думаю, — сказал Корнев, — чтобы русский народ забыл войну, присылку Ленина, Брестский мир и страшную работу немцев во время большевиков. В поисках новых видов я в прошлом году посетил Всевеликое войско Донское. Страшно сказать, что сделали казаки с концессией Круппа. В те ужасные дни, когда в крови рождалась Россия, там выжигали живьем немцев. Помощь большевикам — это такое ужасное пятно на прошлом Германии, что его ничем не смоешь.

— Я остаюсь оптимистом, — сказал Клейст. — Если бы одна Германия! Но вспомните, что в это время делала Франция? А Лига наций? А подпись Литвинова под «Пактом мира», начавшим ряд войн? Все хороши! А русский народ отходчив. Притом ведь все это зло делал не немецкий народ, а социалисты... Немецкий народ никогда этого не хотел.

— Но социалисты продолжают быть у власти.

— Пока, дорогой Корнев... Мы медленно думаем, да зато крепко строим. У нас нет императора — вот в чем беда. Мы раскололись. Одни за потомков императора Вильгельма, другие — за сыновей Рупрехта баварского. Идут споры.

— Надо, — тихо сказал Корнев, — чтобы император сам появился вне партий.

— Сошел с Баварских Альп, вышел из лесов Тюрингии, из благо-
словенного Таунуса, — проговорила Эльза.

— Так и будет, так и будет, — сказал Клейст. — А что касается до
дружбы с русскими, то не напрасно же пригласили на эту выставку
немецких художников.

— Боюсь, что вы ошибаетесь, почтенный профессор, — сказал
Коренев. — Вы приглашены для того, чтобы показать всему художе-
ственному миру разницу между искусством в социалистическом госу-
дарстве, находящемся под гнетом партийных программ и лозунгов,
и искусством в государстве, где монарх является покровителем кра-
соты во всех ее проявлениях. И когда вы увидите эту разницу, вы
поймете, почему вас пригласили.

Эльза, желая смягчить жесткость Коренева, спросила:

— А что госпожа Двороконская?

— Смешная женщина! После моего доклада в рейхстаге умчалась
в Рим и там приняла католичество, а теперь рвет и мечет — зачем не
православие. Стремится в Киев и не знает, как попасть. Где получить
визу.

— Но вы говорили ей, что это так просто?

— Говорил... Не верит. Говорит: «Меня обманывают... Я попаду
в лапы чека...» Ах, там все еще так всего боятся.

— Как не бояться, — сказал Виртгейм. — Когда я сегодня, еще
мельком, обошел выставку картин, я понял, в какую страшную тюрь-
му, в какой застенок затащили свободное искусство социалисты.
Жутко смотреть. Сравнение с ними, — он кивнул на Коренева, —
просто невозможно! Плакать хочется. Если хотите, пойдемте.

XX

Когда Клейст, Коренев с Эльзой и Виртгейм входила в зал немец-
кой живописи, там произошло движение. По залу пробежал стряпчий
приказа иноземных дел и сказал по-немецки:

— Господа, сюда только что прибыла дочь русского императора,
великая княжна Радость Михайловна, и идет смотреть ваши картины.

Немцы-художники стали у своих холстов. С бритыми лицами,
у иных, впрочем, под самыми ноздрями были оставлены маленькие
пучки щетины, бледные и худые, кто был молод, одутловатые и крас-
ные, кто постарше, в больших круглых, в черепаховой оправе, очках,
делавших их не похожими на людей, кто совершенно лысый, кто по
тогдашней моде остриженный гладко на затылке и висках, с махром

торчащими волосами на темени, одни в пиджаках, другие в дамских
блузах с открытыми бледно-синими шеями и узкой грудью с торчащи-
ми ключицами — они казались людьми другой планеты, какими-то
выродками людей. По стенам, в рамках и без рам, были развешаны
картины. Первое впечатление Радости Михайловны было, что над ней
смеются, что ее ввели в детскую, где дети шалили красками и клеем.
Прямо против нее висело громадное, сажень вышиной и аршина
полтора шириной, полотно, названное: «*Still ist die Nacht*»* художника
Виртгейма, удостоенное высшей премии от Немецкого союза худож-
ников. Наверху — красное небо. Оно отражается в кроватной луже.
Сбоку — черные развалины какого-то богатого замка, склеенные из
кусков картона и пробки. Подле лужи лежат ободранные трупы
людей. Зеленоватые лица в трупных пятнах, обрывки фраков, лент,
обломки цилиндров, измятые лохмотья бальных платьев написаны
с таким редким мастерством, что видно было, что художник мог
справиться и с иной картиной. На трупы надвигался отряд из шести
скелетов с косами за плечами, сидящих на зеленых лошадях.

Радость Михайловна посмотрела на картину, вздохнула и пошла
дальше. Ярко-желтый треугольник врезался в красный куб. Сбоку
торчал фасад серого каменного дома. Он был крив и изломан. От
него висела вывеска, крюк, и на него был наклеен маленький золотой
кружок, подобный тем, которые парикмахеры вешают на своих
вывесках. Весь низ картины представлял какое-то грязное месиво.
Картина называлась: «Улица в Берлине».

Радость Михайловна шла дальше. Обнаженные лилово-зеленые
женщины плясали на зеленом лугу, за ними был закат, совершенно
голый человек стоял спиной к зрителю и потягивался, а на первом
плане сидела группа одетых людей — старик, женщина с ребенком
и девушка, картина называлась «Закат». Она была написана правдиво,
солнечные лучи были теплы и ярки, мускулы тела, лица и вся об-
становка были отлично вырисованы, но почему художнику понадоби-
лось раздеть мужчину? Всюду видела Радость Михайловна стремле-
ние создать что-то особое, сногшибательное, изумительное, что-то
вроде загадочной картины. Холсты не успокаивали, не давали наслаж-
дения, но мучили и волновали или нелепым подбором красок, или
каким-то особым трюком содержания.

Был написан, например, уютный кабинет. Над круглым столом
светит под красным абажуром лампа. Она бросает полымия пожара
на лицо читающей книгу женщины. Вся обстановка, уют семейного

* Ночь тиха (нем.).

очага великолепно выделаны, но за спиной женщины был нарисован зеленоватый призрак человека, прицеливающегося из револьвера в читающую. Картина называлась «Война дворцам».

Иногда и картины вовсе не было, но был яркий революционный лозунг, и картина оказывалась премированной. Так, какой-то подбор разноцветных лоскутков материи, над которым реял красный лоскут с надписью: «Вся власть рабочим и вора», и называвшийся «Восстание пролетариата в Лустгартене», получил первую премию союза.

Радость Михайловна остановилась перед группой художников. Она была утомлена их картинами. «Гнилой Запад, — вспомнила она изречение китайца Ван-Ли. — Действительно гнилой», — подумала она.

— Фройлейн, — обратился к ней председатель союза художников, юноша шестнадцати лет, автор «Восстания пролетариата», Хаим Гольдфатер, — ну и как, вы очарованы нашей выставкой? Какое богатство тем и красок! Не правда ли, замечательно? Наше искусство идет все вперед, вперед, все вперед.

— Скажите, — сказала Радость Михайловна, обращаясь ко всем художникам, — почему я не вижу у вас ни одной батальной картины? Неужели герои Ипра, Марны и Вердена, неужели бешеные атаки в Альпийских горах, красочные Салоники, борьба флота или яркие эпизоды войны 1870 и 1813 годов никого не вдохновили?

— Aussgeschlossen* — печально сказал седой художник с густой и короткой щетиной седых усов.

— Фройлейн, — воскликнул Гольдфатер, — но это был бы милитаризм, это чистейшей воды милитаризм. А это запрещено правительством. Наше демократическое правительство запретило писать такие картины.

— У нас, Ihre Hochheit**, — сказал маленький лысый старичок, — даже игрушки — оловянные солдатики или ружья и барабаны — запрещены законом.

— Ну и понятно. Милитаризм! — фыркнул Гольдфатер. — Лига наций следит за воспитанием ребенка.

— Ну... рыцари... Ваши замки в высоких горах среди красивых лесов, над быстро несущимися реками — какое красочное прошлое, — начала было Радость Михайловна, но Гольдфатер завопил:

— Ой-ой-ой, фройлейн. Но это феодализм! Два года тому назад, когда у власти были коммунисты и президентом была избрана знаменитая Клара Веткина, ваша соотечественница, большевичка, было

приказано по всей стране уничтожить даже развалины замков, чтобы ничто не напоминало народу мрачных веков рыцарства! Ну и только то, что правительство удержалось всего две недели, помешало до конца довести это великое и прекрасное дело...

— Но почему я не вижу, — смущенно сказала Радость Михайловна, — картин с вашими жизнерадостными католическими монахами, которых так великолепно писал художник Грюцнер?

— Ihre Hochheit, — сказал старик художник, — все то, что касается религии, ausgeschlossen... запрещено трогать.

— Императоры и короли, рыцари и духовенство, солдаты, лошади, охоты, банкеты — словом, все то, что говорит народу о прошлой жизни, о гнете высших классов, запрещено изображать на картинах, запрещено описывать в романах и повестях, — печально сказал Виртгейм.

— Но мне казалось, что у вас... республика, свобода, равенство, братство, — проговорила, запинаясь, Радость Михайловна.

— Швобода народа! Это ми указываем народу, как надо охранять швободу, — захлебываясь слюнями и сбиваясь на жаргон, воскликнул Гольдфатер.

Радость Михайловна печально улыбнулась. Старый художник заметил ее улыбку и тихо проговорил:

— Бог даст, Ihre Hochheit, недалеко то время, когда мы станем так же свободны, как ваш народ. И тогда я напишу картину боев у Козениц, где оба народа — германский и русский — показали громадную стойкость и доблесть своих солдат.

— Шш, шш, — послышалось кругом.

— Товарищ, — угрожающе сказал Гольдфатер, — за одни такие слова мы исключим вас из нашего профсоюза.

Радость Михайловна с изумлением посмотрела на этих свободных людей конца XX века и пошла из зала. В самых дверях она наткнулась на Кореневу, Клейста и Эльзу с ребенком.

XXI

— А, Коренев, — ласково сказала она. — Познакомьте меня с вашей милой женой. Это ваш первенец? Какое милое дитя. А как зовут?

— Михаил, — сказала Эльза, подавая великой княжне ребенка.

— Прелестное дитя, — сказала Радость Михайловна, искренно любясь мальчиком. — У него такие же ясные голубые глазки, как

* Замкнуто, запрещено (нем)

** Ваше Высочество (нем)

у вас, милая Анна Феодоровна. Я счастлива за вас, Коренев. Где вы живете теперь? Я давно не видала вас в Санкт-Петербурге.

— Муж теперь имеет дачу на южном берегу Крыма, сказала Эльза. — Он получил заказ написать иконы для храма, который строится на перекопских могилах в память погибших там русских офицеров и солдат.

— Прекрасный выбор художника. Я уверена, что никто, как вы, Коренев, не напишет так святых икон. Но молитесь, — строго сказала Радость Михайловна, — без молитвы не принимайтесь писать ликов святых. Над чем работаете вы сейчас?

— Пишу икону Донской Божией Матери для притвора, посвященного павшим в боях донским казакам генерала Абрамова.

— Я знаю эту икону, — сказала Радость Михайловна. — Удивительно прекрасный лик. Она была с Димитрием Донским на Куликовском поле!

Коренев трепетал под ее взглядом.

«Ужели все кончено? — думал он. — Ужели призраки, и серый волк, и спасение царской семьи, и разговоры в Петергофе — ничто? Ужели сердце обмануло его и так-таки ничего не было?»

Эльза ревнивыми глазами смотрела на ту, кого считала своей соперницей, и ничего не понимала. Вместо чувства злобной ревности в сердце ее поднималось восхищение перед этой девушкой, к кому, улыбаясь, тянулся пухлыми ручонками ее сын.

— Ваше Высочество, — дрожащим голосом проговорил Коренев, — вот с вас с этим ребенком написать Бо-жию Матерь. Лучше Рафаэля выйдет.

— Не говорите глупостей, — строго сказала Радость Михайловна, положила ребенка в коляску и обернулась к Клейсту:

— Ну что, дорогой профессор, довольны приехать опять в наши края? Будете в Санкт-Петербурге?

— Непременно, Ваше Высочество. Кроме радости повидать воскресшую под императорской властью Россию и моих друзей, у меня есть и специальное, политическое поручение. К сожалению, еще не от правительства, а от нашей самой большой организации Stahlhelm, поглотившей в себе почти все партии. Мы очень надеемся, что Россия за зло, причиненное нами ей, заплатит нам добром.

Клейст оперся рукой на колясочку, где лежал маленький сын Коренева.

— Посмотрите, какой чудный, здоровый ребенок. Это плод союза русского с немкой. И такой же здоровый плод должен дать и союз России с Германией.

Радость Михайловна круто повернулась от Клейста к Кореневу. Ее глаза потемнели.

— Дай вам Бог, Коренев, — сказала она, тихо улыбаясь, — счастья. Растите крепкого русского. Верующего, любящего Россию и ее государя. Пусть тянется к светлому: к солнцу и звездам. Пропasti и чертополохи остались позади... Впереди — свет и мир...

Она протянула обе руки: одну Кореневу, другую Эльзе, и добавила:

— Меня ждут в Польском отделе. Храни вас Господь. До свиданья!

И, не глядя на Клейста, не протянув ему руки, не послав своей обворожительной улыбки старому немцу, она, сопровождаемая сенной девушкой и старшинами выставки, гордо неся красивую, по-девичьи убрannую голову, вышла из палаты с немецкими картинками.

Клейст стоял, понурившись.

— Рано начал, — пробормотал он. — Еще глубока и кровоточива немцами нанесенная рана России.

— Нет, — тихо сказал Коренев, — нет, дорогой профессор... Не дело царской дочери слушать о политике... Напрасно вы ее смущали.

Клейст потрепал по щеке ребенка Эльзы и сказал:

— Так... Очень уж к слову пришлось!..

XXII

Весь заиндевелый, со стеклами, покрытыми матовым узором льда и света, с вантами и поручнями, как из толстого стекла вылепленными, тихо опускался в вечную декабрьскую ночь самолет «Светлана». Нигде не было видно ни леса, ни кустов, ни отдельных деревьев. Снег и льды, льды и снег были кругом в сумраке ночи, нарушаемом трепетными вспышками северного сияния.

На берегу замерзшего океана, с нагроможденными в осенний ледостав синими глыбами льда, чуть светились окна большого белого каменного здания, окруженного высокой оградой. За оградой были небольшие, видимо, с трудом выращенные деревья, осыпанные снегом, с обледелеными стволами. Белые мохнатые собаки, увидав самолет, подняли тупые морды с черными носами и принялись выть.

Самолет, не доходя аршина до земли, остановился у ворот забора, и матросы, похожие в громадных шубах на медведей, спустили лестницу.

Из каюты вышла одетая в белую шубу Радость Михайловна. Атаман Перский провожал ее.

— Благодарю вас, атаман, — сказала княжна. — Ровно через две недели я попрошу вас прибыть за мной. Праздники Рождества я хочу провести у императрицы-матери.

— Есть, Ваше Императорское Высочество, — сказал Перский.

— Спасибо, родные. Не замерзли? — сказала Радость Михайловна матросам, выскочившим на верхнюю палубу.

— Рады стараться государю и родине, — сказали матросы. — Чего замерзать? Одеты способно. Тепло в шубах-то.

— До свиданья, родные!

— Счастливо оставаться, родная царевна! — ответили матросы.

— Отпустите караул, — сказала княжна.

— Отсвистать, — приказал Перский.

Мелодично просвистала флейта корабельного старосты, и караул разошелся.

Перский проводил великую княжну до ворот обители. Там ожидали ее монахини с настоятельницей во главе. Большой градусник у ворот показывал 40 Реомюра ниже нуля. Снег был тверд и гулко скрипел под ногами. Монахини шли за великой княжной и тонкими голосами пели духовные встречные стихи.

— Бабушка здорова? — спросила Радость Михайловна.

— Ожидают вас.

Большой ручной белый медведь, лежавший у подъезда, отошел в сторону и поклонился, прижимаясь мордой к снегу. Собаки с лаем бежали к княжне и махали густошерстными хвостами.

Радость Михайловна вошла в теплые, пахнущие ладаном, воском и деревянным маслом сени и стала снимать шубы.

XXIII

В окно глядит долгая полярная ночь. Северное сияние погасло. Ярко горят большие близкие звезды. Бесконечен синий простор темного неба, лиловым туманом заплыли белые снега и льды.

В маленькой келье полумрак. У иконы Казанской Божией Матери мечется пламя в желтой лампадке. Старое лицо с чертами, точно изваянными из слоновой кости, склонилось к молодому лицу.

Императрица-мать, инокиня Людмила, нагнулась к внучке своей, Радости Михайловне. Она сидит в большом кресле. Радость Михай-

ловна стоит на коленях перед ней и смотрит в старые светло-серые глаза.

— Все любишь, Рада?

— Люблю, бабушка.

— Тяжело, поди?

— Терплю.

— А не похудела.

— Знаю, нельзя красоту потерять. И красота не моя, а народная.

— Верно, Рада. Верно, роднуша моя. Вот и я или мать твоя Искандер, — мы любили мужей наших императоров, а когда видали мы их?.. Идешь на выходе рядом, только и чувствуешь его, любимого. А потом у него свои дела, у меня свои — все для народа. Только тогда народ и ценит, и верит, когда видит, что у царей его своего — ничего. Все простит, все помилует ради дела, а личного не поймет и не оценит. Такой был Петр. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник...» И, когда надо было для России, — сына казнил. Так-то, милая Рада... сына казнил... Зато, когда сказал: «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жива была бы Россия», — ему и поверили, и царские три пули в сердцах русских не умрут никогда. Твой дед, муж мой, и я, твоя бабка, твои родители чем победили социалистов? Чистотой и честностью. Преклонением перед разумным законом и твердой волей. Мы-то знаем твои чувства, мы-то пойдем! А народ — народ не оценит. «Вот, — скажут, — своего хахалю захотела! А нас позабыла!» Народ-то грубый. Ему ласку твою как надо! И то подумай, что у него? Зима — семь месяцев. С октября по самый апрель — вьюга да морозы, да земля распухнет — грязь, одиночество. Ночка-то темная, а тут то ты, то царь-батюшка, то царица-матушка прилетят, ласковым словом одарят бедных, чем ни есть пожалуют, богатых похвалят, хозяйство их оглядят да приласкают. В Семирежье поедешь?

— Поеду, бабушка.

— Ну, ну, и ладно это.

— А потом в Татьянск, бабушка, на прииски.

— Ну спасибо, роднуша! Вишь ты какая! А искренно едешь или так, чтобы тоску развеять?

— Тоску развеять хочу, бабушка. Намедни в Калише на выставке картин увидела его с женой, мальчик у них прехорошенький, видно, счастливы. Еле удержалась, чтобы не позавидовать.

— А народ тебе завидует. Ишь ты — царская дочь! Власть-то какая!

— Власть — не счастье, бабушка.

— Верное твое слово, Рада. Бремя власть и — во какое бремя. Тот царь благословен, что идет во имя Господне.

— Знаю, бабушка. И снесу свой крест, и никто не увидит. Знаю, что моя семья — мой народ, и крепко его люблю. Вот завтра по эскимосам поеду, говорить с ними буду, детей их одаривать. Что, мисс Крегтс работает здесь?

— Работает. Трудно ей было понять, что тут надо. В общество писала, что тут не носовые платки надо, а электрические печки.

— Что же, прислали?

— Нет, американцы тупой народ. Не понимают этого. Ну, я устроила. Монастырскую мастерскую открыли, печи готовим. Силу монастырь дает, а она только ездит и наши печи по чумам распределяет. Довольна.

— Взять ее завтра с собой?

— Возьми, роднуша. Осчастливь ее. Она хоть и американка, а к титулам падка. Все мечтает за эскимосского князя какого-нибудь замуж выйти.

— Пошли ей Бог счастья, — со вздохом сказала Радость Михайловна.

— Что вздыхаешь, родная?

— Так, бабушка. Свое вспомнила.

— А ты не вспоминай. Помни, что своего у тебя нет. Все чужое тебе — как свое. Да молись покрепче.

— Знаю, бабушка. Снесу крест свой. А как ослабну, к тебе навсегда перееду.

— И то. Тут тихо.

Радость Михайловна не отвечала. В маленькие окна глядела синяя полярная ночь, ярко сверкали холодные звезды, бриллиантами отражались в синих глазах девушки. То ли блестели они очень, то ли слезы ненароком забрались в их уголки?

— Баба, — оказала Радость Михайловна. — А хорошо у тебя.

— Хорошо, милая. И везде-то Божий мир хорош. И всякая тварь Господу Сил радуется. Возьми, медведь и полярная собака — уже, кажется, ни зелени, ни лесов, ни цветов пахучих не видали, а славят Господа, Творца вселенной. Один человек недоволен. Все чего-то ему особенного хочется.

Долго молчит Радость Михайловна. Тихо в теплой келье. Пахнет розовым маслом, ладаном, воском, ни один звук не доносился ниоткуда.

— Ты не ворчи, бабушка, — шепчет Радость Михайловна. — Я довольна, всем довольна. Бога гневить не буду. Я справлюсь... справлюсь... бабушка.

Слезы ручьями текут из синих глаз и мочат горячими каплями старые, мягкие, душистые руки.

— Святые твои слезы, Рада милая! Плачь, роднуша. После слез новая сила будет!..

— Будет, бабушка!.. Бу-у-дет... Я спра...влюсь... справлюсь... Я царская дочь... справлюсь... снесу свое личное горе во имя счастья своего народа!..

*Июль — ноябрь 1921 г.
Вальдфрид, подле Дроссена, Германия*

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь, творчество, смерть и бессмертие
(биографическое предисловие Б. Галенина) 5

ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМ

Часть первая 61

Часть вторая 193

Часть третья 281

Петр Николаевич Краснов
ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМ

*Отпечатано по оригинал-макету
и с диапозитивов, представленных
издательским домом «Фавор-XXI»*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года

Подписано в печать 28.02.2002 г. Формат 84х108/32

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная

Объем 11 печ. л. Тираж 3 000 экз.

Изд. № 1816. Заказ № 577

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 5-264-00795-0



9 785264 007958 >